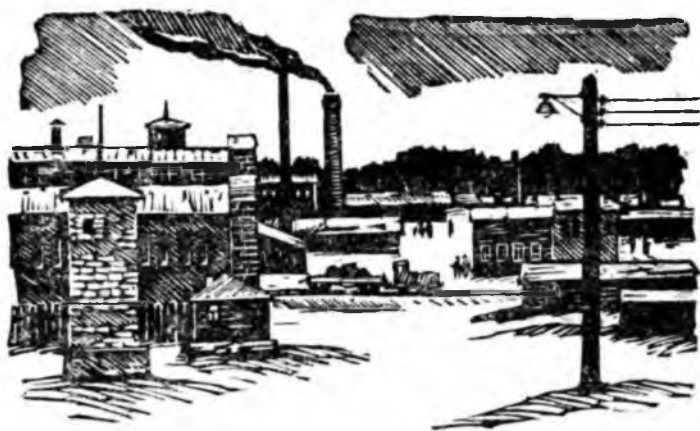


КНИГА ВТОРАЯ

ИСПЫТАНИЕ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В темном вагоне было нетоплено, бледный желтый свет перронных фонарей искрился на замерзших окнах. Люди рассаживались, переговариваясь вполголоса, временами кто-то отчаянно ругался, безуспешно пытаясь поставить на третью полку багаж.

Много лет назад он ехал по этой же дороге, прислушиваясь к голосам незнакомых людей, — юнец, напуганный жизнью, в которой он тогда еще не умел разобратся...

Курбатов, усадил закутанную Таню к окну и оберегая ее от толчков, пытался разглядеть в этом полумраке людей. В вагоне пахло овчиной, дегтем, потом; легко было догадаться, что ехали в Новогорск строители, разный сезонный сборный народ. Тут были и крестьяне, кому не по душе пришлась колхозная жизнь, и «летуны», и сбежавшие в свое время с насиженных мест

кулаки. То и дело пассажиры принимались спорить из-за места, слышался злобный шепот, брань, и Курбатов понял, что дорога ему предстоит невеселая.

Когда в темноте замелькали красные точки сигарок и потянуло едким махорочным дымком, Курбатов посмотрел на Таню:

— Как ты?

— Ничего, — шепнула она.

Кто-то зажег свечу, и сразу же из темноты выплыли котомки, армяки, барашковые шапки, обросшие щетиной лица. В неверном, дрожащем свете люди казались какими-то странными, пугающими, словно готовыми вот-вот вступить в драку. Напротив Курбатова сидел крепкий старик с жилистыми, в узелках вен руками, которыми он всё время теребил лямки положенного на колени мешка. Старик рассматривал Курбатова и Таню в упор, будто удивляясь тому, что в купе появились двое городских, один в хорошем полупальто, другая в пальто с меховым воротником и в добротной шали. Он смотрел на них не мигая, каким-то острым, покалывающим взглядом, и Курбатов нахмурился.

Таня тоже почувствовала себя неловко. Откуда-то она вытащила белый сухарь и сунула в руку Курбатова:

— Поешь. С утра ведь не ел...

Курбатов медленно и шумно откусил кусок сухаря. Старик, сидевший напротив, заметил надтреснутым, скрипучим голосом:

— Вон вы какие! Люди-то с голодухи пухнуть стали, а вы белыми сухариками балуетесь. Из комиссаров, значит?

Таня сжала руку Курбатова, как бы сдерживая его.

— Это по карточке вместо сахара выдали, — сказала она тихо.

Курбатов, спокойно взглянув на старика, отвернулся:

— Оставь, Таня; этот всё равно не поймет.

— Отчего же, мы всё понимаем, — едко засмеялся старик.

«Ну вот, теперь старик до Новогорска не уймется, если не оборвать», — подумал Курбатов. Но неожиданно с верхней полки кто-то сказал:

— Да что ты понимаешь, панихида!

— А вот всё понимаем, — визгливо ответил тот. — Раньше-то сахар запросто головами брали, а теперь большевики так прижали, что ни дохнуть, ни охнуть. Заместо сахару нам намедни в Перми какую-то фрукту выдали — курюк, язви ты...

— Не курюк, а урюк, деревня, — лениво отозвались с верхней полки.

— Ну, пушай будет по-твоему. А разве это порядок, заместо сахару-то? Ни сласти, ничего в нем нет, одно слово — советский сахар.

Курбатов чуть отодвинулся в тень: «Ясно, подкулачник». А старик продолжал, и голос у него начал дрожать от волнения:

— И что это твориться стало? Ране мужик-христианин всю Россию кормил. Гражданская была — терпели: ладно, думали, пройдет... А теперь что? Я опять про себя скажу. Корни-то мои — в деревне, и хозяйство неплохое было, а теперь вот мотаюсь по свету с артелью. В мои-то годы мне бы на печи лежать...

Неподалеку, забившись в угол, сидел, съезжась от холода, щуплый мужик с узким, как на иконе, лицом. Курбатов давно заметил, как тот недобрыми глазами следил за стариком, и поэтому не удивился, когда он оборвал критикана:

— Хватит, всласть полежал! Еще бы тебе не вспоминать деревню, когда пять коров да три лошади было, да лавку на два раствора имел. Конечно, тебя и тянет полежать. А что с деревни сбежал — так испугался в кулацкое поселение попасть.

Старик дернулся и затряс острой, редкой бородкой:

— Цыц ты, языкастый! Забыл, какой промежду нами уговор был? Мы ведь однодеревенские... Распустил язык, ровно хвост кобылий!

— И верно, Евсей, замолк бы ты, всё-таки — артельный наш, — раздалось откуда-то из темноты.

Узколиций мужик еще глубже засунул руки в рукава и прикрыл глаза: мол, ну вас всех, я свое сказал, а там — как хотите...

Старик, желая замять неприятный разговор, перегнулся к Курбатову и спросил, не скрывая ехидной улыбки:

— Вот ты, гражданин хороший, вроде самостоятельный будешь. Так ты мне объясни: слухи тут разные

ходят... — Он замолчал, прислушиваясь, как осторожно стучат на стыках колеса вагонов. Курбатов и не заметил, что поезд уже тронулся и за окнами словно разлили черную тушь.

— ...Вроде, войне быть, говорят, — продолжал старик. — Вроде, те, кто после революции за границу удрали, опять поднимают японца, германца и других разных, чтобы на Россию идти и народ освобождать. Так это, а то, может, болтают?

В самом деле, в то время было беспокойно на дальневосточных границах. Японские самураи хотели развязать новую войну. На защите рубежей стояла Особая Дальневосточная армия под командованием прославленного полководца гражданской войны Блюхера. После вопроса старика в купе наступила тишина. Только постукивал поезд да что-то трещало, скрипело в стенках вагона. Курбатов решил, что пришла пора ответить — и ответить так, чтобы дошло до всех, народ тут тертый.

— По-моему, болтают, — усмехнулся Курбатов. — И потом, учти: уж если нас голых да босых в гражданскую не свалили, сейчас и подавно пупы сорвут. А вот что мы промышленность строим свою собственную, вот это, папаша, не слухи. Сам, наверное, видел...

— Видел, видел, — словоохотливо поддакнул старик.

— Ну, значит, знаешь. Не те мы стали, что раньше, теперь у нас силенок побольше.

— Истинно, истинно, — снова поддакнул артельный.

Курбатова не обмануло это наигранное согласие. Он продолжал:

— Вот едешь ты строить тракторный завод. А что такое трактор? Это ведь сколько земли поднять можно!

— Так, так, так...

— И, значит, всего будет больше, и колхозы встанут на ноги, отменят карточки. Только ведь всё это сделать надо своими руками. Стало быть, время еще какое-то пройдет...

Старик даже руками развел: «Скажи на милость, как разъяснил всё!» А с верхней полки раздался голос:

— Ты вот что скажи: в Москве, говорят, которые ученые супротив колхозов пошли. Трещит, говорят, партия ваша.

Мужик с узким лицом снова открыл глаза и, нахло-

нившись к Курбатову, шепнул, обдавая горячим чесночным запахом:

— Это Микешка, в ТОЗе председателем был, за растрату выгнали...

Курбатов понял, что речь зашла о выступлениях правых. Он ответил:

— Вранье. Конечно, те, кому это выгодно, хотят, чтобы партия раскололась. А рабочий класс говорит: нет, не допустим.

Старик, вздернув бороденку, ухмыльнулся:

— Не допустит, товарищ? Я теперь, как рабочий класс, очень свободно это допущу. Колись, мне што...

Только теперь Курбатова взорвало.

— Не рабочий ты класс, папаша, — отчеканил он. — Верно о тебе тут сказали: вредный человек ты. Кулак!

Таня невольно прижалась к Курбатову, ожидая, что сейчас злобный старик завопит на весь вагон. Но ничего не произошло. Артельный, протянув: «Ну вот, спасибо, поговорили», — начал деловито развязывать котомку, сидевшие на других скамейках опять закурили, потянувшись к свечке и окутывая ее огонек густым, почти коричневым дымком.

— Подъезжа-аем, — равнодушно зевнул кто-то, и с верхних полок неторопливо начали сползать пассажиры, доставая свои мешки. Тягостного разговора словно бы и не было. Но Курбатов его запомнил.

2

Курбатов не рассчитывал, что его будут встречать. Но едва он сошел с подножки, бросил вещи и протянул руки, чтобы помочь сойти Тане, как откуда-то налетел на него Кият, неловко чмокнул в щеку холодными губами, и не успел Курбатов оглянуться, как Кият уже осторожно поддерживал Таню.

Кият! С фотографической отчетливостью пронеслись воспоминания боевой комсомольской юности. Валька и тогда был лучшим другом, искренним и надежным. С тех пор прошло много лет, немало воды утекло, — Валька успел выучиться на инженера, а чувство любви и привязанности к нему не остыло. Курбатов с шутливой грубостью проворчал:

— Ну и перепугал, долговязый! — Ему хотелось обнять Вальку, но что-то мешало, — может быть сознание того, что они теперь люди взрослые и разводить сентименты вроде бы не к лицу. Но он был очень счастлив сейчас: старый друг каким-то образом узнал о его приезде, пришел, да еще, наверное, мерз тут на холодном ветру, ожидая поезда.

Алешин тоже явился на вокзал. Он стоял невдалеке, возле саней, и махал огромной рукавицей.

— А потомство где? — затормошил Кият Таню. — А-а, не успела еще.

— Тебе в этом не разобраться... Ты ведь убежденный холостяк, — ехидно заметил Курбатов.

Кият, перебивая его, закричал:

— Ну, садитесь, садитесь! Рысаки-то чухалинские, сам приказал за вами поехать!

Пока все весело рассаживались, укутывали Таню, Курбатов возвращался всё к той же мысли: старое не ржавеет, здесь у него всё-таки лучшие друзья, лучшие из всех, какие только были за всю жизнь. Уже сидя в санях, он спросил:

— Ну, а сам-то Григорий Михайлович как? Я ж его целых сто лет не видел, соскучился.

Алешин, отстранив возницу и трогая вожжами дымящихся на морозе коней, как-то неопределенно хмыкнул. Курбатову ответил Кият:

— Да так, чудит старик.

Этот ответ сразу насторожил Курбатова. Еще Данилов говорил ему, что Чухалин переменился, но толком Курбатов ничего не знал. По тому, как уклончиво ответил Кият, он догадался: Валька не хочет рассказывать, не хочет портить встречу.

— А в чем дело? — встревоженно спросил Курбатов. — Чего ты темнишь?

Но Кият только рукой махнул и что-то буркнул себе под нос.

Сани остановились. Курбатов, оглядевшись, увидел новый двухэтажный дом: окна были освещены.

— Сюда, — кивнул Валька. — Остановишься пока у меня. Тебе хоромы еще не готовы, а у меня не комната, а зала для танцев.

Внесли в прихожую вещи, разделись. Курбатов вошел в комнату первым и увидел накрытый стол, — на

нем стояли бутылки с вином и какая-то посуда с ви-негретом. Овощи зимой! Там, в городе, Курбатов не видел их месяцами... Кият побежал разжигать плиту и согреть чай, Таня устало села на потрепанный диван, а Алешин, поглаживая поредевшие волосы, ходил по комнате, не зная, с чего начинать разговор.

— Ты, наверное, завтра с утра уже на завод побежишь? А Таня как?

— Я в наробраз пойду, тоже с утра, — улыбнулась Таня.

Опять наступила пауза. Курбатов оглядывал неуютную холостяцкую комнату друга, Алешин всё поглаживал свои волосы. Возможно, не будь здесь Тани, они сразу нашли бы, о чем поговорить. Курбатову хотелось спросить о прошлом, о друзьях своей комсомольской юности, а Алешину — рассказать о себе.

Наконец, вытирая перепачканные руки, вошел Кият.

— Знаешь, ведь Чухалин женился, — сказал он, усмехнувшись.

Курбатов, не отрывая глаз от стены, на которой висела старая коллективная фотография комсомольцев (он тоже был на ней снят), неуверенно произнес:

— Брось меня разыгрывать... Лучше скажи, как мне с Булгаковым держаться. Боюсь старика.

— Булгаков что... А я тебя, между прочим, не разыгрываю.

Курбатов недоуменно взглянул на него, но промолчал.

За столом Алешин выложил ему всё. Он говорил с грустью, болезненно морщась, — видно было, что на душе у него накопело:

— Всё же мы, как-никак, с ним еще в подполье работали, поэтому он считается со мной, иногда даже советуется. — Алешин потер руками виски. — Словом, дней десять назад звонит мне его секретарь и говорит, что «сам» вызывает. Ну, захожу в кабинет, а Чухалин ко мне вприпрыжку. Сияет, словно премию от наркома получил. Сунул меня в кресло: «Садись, Павлуха, — и сам сел напротив. — Бобыли мы с тобой, Павлуха, ох, как надоело быть бобылем». Я смотрю на него и ничего не понимаю. А он говорит: «Помню, сердился я, как узнал, что ты за покойницей Настасьей ухаживал, считал, что не пара она тебе. Да ведь и время-то

тогда другое было». Ну, не понять мне, к чему он это клонит. А он продолжает: «Жениться я, Павлуха, задумал. Варю мою в пятом году на Пресне убили, считай больше четверти века я в бобылях был, — надоело. Да и стареть уже начал. Свернусь — и ходить за мной некому будет. Как ты про это думаешь?» Я аж обомлел, уставился на него и молчу. Только и выдавил из себя: «В твоём-то возрасте?» Потом всё-таки воротился мне голос: «Ну что ж, женись, Григорий Михайлович. Народ-то только что скажет?..» Ведь женился он на Тузовой; может, помнишь, бывшего главного бухгалтера дочку? Эту Тузову весь город знает — кукла размалеванная. Ну, спросил я у него всё-таки. «Кто ж эта баба? Старая, наверное?» А он по кабинету, что козел, забегал: «А вот и нет, тридцать лет всего». — «Да она, говорю, тебе в дочери, почитай, годится!» Тут он такое сказал, что я при Тане и повторить не могу. — Алешин помолчал и скорбно добавил: — Да, сработался, видно, Григорий Михайлович. Теперь до чего дело дошло: жена его звонит и требует, чтобы ей на дом работниц присылали пол мыть, на кухне помочь. Тут уж я не утерпел, сказал Чухалину; он ей запретил эти звонки. Вот так-то, Яша. Дела, между прочим, на комбинате хуже пошли. А Чухалин... Черт его знает, может отошла уже пора «красных директоров», а? Вот Валя изо всех сил тащит воз.

— Ты скажешь, дядя Павел! — вспыхнул Кият.

— А что? Яшка сам это увидит. Я прямо скажу: молодец ты, Валька, действуй и дальше так.

— Ну, Яша, по последней, — поднял стопку Кият. — А то чувствую, в голове уже шумит.

Чокнулись, но Алешин поставил стопку.

— Что ж ты, дядя Павел? — спросил Курбатов.

— Нет, мне хватит. Старик уж я...

— Ты старик? Да ты любому молодому очко дашь! — воскликнул Кият.

— Давай-ка выпьем вместе, дядя Павел. Выпьем за мою жизнь на этом новом месте, — сказал Курбатов.

— Не то важно, Яша, где жить. Важно, на что мы тратим жизнь, — медленно проговорил Алешин и выпил стопку.

...Лежа на неудобном, холостяцком топчане, Курба-

тов долго не засыпал, пытаясь представить себе нынешнего Чухалина, и не мог. Тихо было в доме, только изредка во сне стонала Таня: наверно, шевелился ребенок.

3

Курбатов приезжал в последний раз в Новогорск всего лишь три года назад. Но теперь здесь всё выглядело по-иному. Впрочем, это был уже не рабочий поселок Печаткино, а бурно разросшийся город на обоих берегах быстрой реки.

До начала смены оставалось минут сорок, когда Курбатов и Кият, наспех позавтракав, отправились на завод.

Снег чуть слышно поскрипывал под ногами: за ночь прошел снегопад, потом сразу похолодало, и снежок лежал ровный, пушистый, нетронутый.

Кияту еще рано было идти на завод, но он не хотел отпустить Курбатова одного:

— Покажу тебе заводоуправление. Там же и партком. Такую домину отгрохали!

Курбатов еще издали заметил темное, мрачноватое (или это только так в утренних сумерках показалось) здание и присвистнул:

— Это да! Только от комбината далековато.

— Есть телефонная связь, — ответил Кият, и не понять было, сказано ли это в осуждение или с гордостью.

Из домов, тоже незнакомых Курбатову, — каменных коробок с широкими, но низкими окнами, — выходили люди, они шли к заводу. До гудка было еще далеко, но видимо, их на заводе ждали срочные дела.

— Не узнаешь? — кивнул Кият на сутулого рабочего в ватной куртке, с бумажным свертком под мышкой.

— Нет.

— Догоняй-ка.

Курбатов догнал рабочего:

— Дядя Ваня!

Мелентьев — мастер, когда-то учивший Якова всяческой житейской мудрости, — остановился и, подслеповато щуря глаза, рассматривал Курбатова.

— Не узнал? Неужели не узнал?

— Нет... постой, постой. Нет, не узнаю.

Курбатов, хохоча, сгрёб мастера в охапку, расцеловал, потряс за плечи:

— Да я ведь Яшка. Ну? Курбатов!

Мелентьев как-то недоверчиво оглядел его и, смущенно улыбнувшись, сказал:

— Где же тебя узнать? Вон с какую версту коломенскую вымахал. — И добавил: — А я вот, видишь, к земле стал расти.

— Ну что ты, дядя Ваня! Я ж тебя сразу узнал. Ты мало изменился.

Мелентьев хмыкнул и пошел рядом с Курбатовым, на ходу пожав руку главному инженеру Кияту.

— Не говори пустое — «мало».... На пятый десяток уже повалило, а я не Чухалин, чтоб козлом прыгать. Болею вот, поясница замучила и гнет, понимаешь...

— А чего ж ты в санаторий не съездишь?

— Ишь ты! — проворчал Мелентьев. — А на какие шиши я поеду-то?

— Как это — на какие?

— Да вот так, на какие... У нас в завкоме... — И тут, словно спохватившись, спросил: — А ты-то сюда чего приехал?

— В партком приехал, к Булгакову.

— Сходи, сходи, — Мелентьев сразу заторопился и, переложив свой сверток, начал совать Курбатову руку: — Я-то давненько у него не был: боюсь, кабинет запачкаю.

Курбатов задержал его руку в своей, они снова пошли рядом. Что-то знакомое, уже слышанное вчера в разговоре с Алешиным и Киятом, промелькнуло в словах Мелентьева. Поэтому Курбатов не хотел его отпускать сейчас: пусть выскажется. «Чем больше узнаю, тем лучше: легче будет разговаривать там, в заводууправлении». Услышав горечь в словах «кабинет запачкаю», Курбатов переспросил:

— Ты что?

— Кабинет, говорю, запачкаю. Ковры везде, в сердцах плюнуть некуда. А в кресло сядешь — укачает, уснуть захочется. Чухалин в городе все коммиссионки облазил.

Курбатов повернулся к Кияту:

— Ничего не понимаю.

— Поймешь, — хмыкнул мастер и заторопился уйти вперед.

Курбатов смотрел вслед Мелентьеву, тяжело шаркавшему по снегу подшитыми валенками, и тягостное чувство, возникшее вчера, стало переходить в раздражение. Тряхнув головой, словно отгоняя какое-то навязание, он сказал Княту: «Пойдем», — но тот протянул ему руку:

— До вечера. Я в цехи.

— А-а, ну хорошо. Я тоже скоро приду.

Войдя в дверь заводоуправления, Курбатов остановился: туда ли он попал, может быть это клуб? Прямо, круто вверх поднималась лестница, покрытая ковровой дорожкой. У перил стояли кадки с фикусами. Уборщица, вязавшая носок, равнодушно оглядела Курбатова и, вдруг оживившись, загородила ему дорогу:

— Не полагается, молодой человек, не полагается...

— Чего не полагается?

— А в одежде не полагается. И рано, народу еще мало. Сдайте пальтишко-то на вешалку.

Снимая пальто и шапку, Курбатов спросил:

— Как мне к Булгакову пройти?

— А по коридору налево.

На обитых блестящей клеенкой дверях висела табличка: «Приемная и кабинет секретаря парткома комбината т. Булгакова». Курбатов толкнул дверь, зазвела тугая пружина.

Он вошел в приемную. Первое, что ему бросилось в глаза, — белые, обтянутые чехлами кресла вдоль стен. В этой огромной комнате люди как-то терялись: он не сразу увидел двух мужчин и девушку, стоявших в углу, возле массивного бюро.

— Вы куда, товарищ?

Девушка почти выкрикнула эти слова. Курбатов улыбнулся:

— Как куда? К секретарю парткома.

— Секретаря нет, он у директора. Вам придется подождать, — сказала девушка каким-то виноватым тоном.

— Скоро он придет?

— Вот этого я не знаю, — снова виноватый тон слышался в голосе девушки. Она даже отвернулась от Курбатова и стала смотреть в пол.

Курбатов покосился на табличку с надписью: «Не курить» и сел в кресло. Двое сидевших в комнате мужчин переглянулись.

— Вы кто будете? — спросил один из них.

— Из обкома партии, — ответил Курбатов.

— А-а... Прежде мы, кажется, не встречались. Заворг парткома Семенов, — представился тот и протянул Курбатову руку. Курбатов поздоровался и со вторым:

— Завагитмасс парткома... — фамилию Курбатов не разобрал.

— Ну, — сказал Курбатов после небольшой паузы, — у вас тут, знаете, культурная обстановка. А почему народа нет?

— Рабочие что-то стали меньше ходить, — выпалила девушка и спряталась за свое бюро.

Завагитмасс кивнул и тихо добавил:

— А если и придут, то стоят, жмутся... Даже странно, робеют вроде... Пойдемте в кабинет поговорим, товарищ...

— Курбатов.

— ...товарищ Курбатов.

В кабинете на большом столе стояли канделябры, чернильница с тремя медведями, пресс-папье из малахита. На полу — ковер, в котором тонула нога. Низкий книжный шкаф, а на нем какие-то вазы.

Обернувшись, Курбатов крикнул секретарше:

— Слушайте, девушка, как вас зовут?

— Шура. А что?

— Не позвоните ли вы товарищу Булгакову? Скажите — его ждут.

Курбатов видел: оба работника парткома довольны, что беседуют с ним. Они уже перешагнули ту черту обычной скованности, которая возникает между незнакомыми людьми. Курбатов догадывался, почему это произошло так быстро. Не потому, что он сам располагал к этой откровенности, вовсе нет. Просто у людей наболело, может быть, точно так же, как у Алешина, Кията, Мелентьева, и они, торопясь, стремились всё рассказать человеку, приехавшему из обкома партии. «Значит, верят обкому, — удовлетворенно подумал Курбатов. — И Булгакова не боятся — это хорошо».

Вскоре оба они ушли, и Курбатов, потоптавшись несколько минут в кабинете, вернулся в приемную. Тут,

в приемной, он и встретился с Булгаковым. Тот торопливо пересек комнату, что-то буркнул себе под нос и показал Курбатову на дверь своего кабинета. Курбатов правильно понял этот жест: «Прошу». Только когда за Курбатовым закрылась дверь, Булгаков, раскинув руки, обнял его и сразу подобревшим голосом сказал: — Ну, здорово, сынок!

Они расцеловались. Булгаков хлопал его по плечу, расплываясь в улыбке, и говорил, что Якова не узнать, что он совсем непохож на «того заскребыша».

— Что, на свое болото кулика потянуло?

— Да вот... приехал.

— Я знаю, что прислали. Значит, перья выросли. Мне Данилов о тебе много рассказывал, хвалил. Говорит, правильного парня воспитали.

Он засуетился, усаживая Курбатова и сам устраиваясь напротив. Курбатов был благодарен старику за то, что тот избавил его от необходимости самому говорить о себе. Сейчас он мог, слушая, наблюдать за ним, и чем дальше он слушал, тем больше убеждался в том, что Булгаков не очень переменялся: разговаривал он по-прежнему откровенно, не осторожничал. Курбатов даже на какую-то секунду устыдился того, что мог подумать плохо о старике; нет, он сохранил всё, и главное — прямоту. Видя смущение Курбатова, Булгаков посмотрел на него ободряющим взглядом и сказал:

— Да ты, Яша, не бойся, говори всё как есть. Помни, мы коммунисты, а коммунистам бояться нечего, они одни на всей земле правду говорят. И правильно это, — тихо добавил он, — что меня на покой посылают. Я хоть к этому и не стремлюсь, но не по плечу мне комбинат стал, шутка ли — больше тысячи большевиков. Хоть душа-то у меня и молодая, но оболочка изнасилась. Поменьше мне надо что-то, и опять же: давно я здесь, затупился как-то. Да и Чухалин...

Он махнул рукой. Курбатов промолчал.

— Социалистическое соревнование — его еще в тысяча девятьсот двадцать девятом году в Ленинграде на «Красном выборжце» начали. Потом и у нас на всех заводах в губернии оно развернулось. А вот на комбинате...

— Что? — спросил Курбатов.

— Угробил его у нас Чухалин. Это уже тебе рас-

хлебывать придется. Трудненько тебе, Яков, с ним будет, ой как трудненько! Ты уж, наверно, слышал о нем... Мне его сдерживать не под силу. Ко мне он привык, как к мебели какой, не считается. Данилова боится, себя уважает. Как ты к нему сумеешь подойти — не знаю; смотри сам.

Заметив, что Курбатов рассматривает кабинет, Булгаков продолжал:

— На обстановку смотришь? Верно, хоромы. Не хотел я из старого дома переезжать, так Чухалин распорядился всё мое хозяйство ночью сюда перетаскать. Вот тебе и «графский будуар» — это так рабочие говорят. Ну, поругались, подулись друг на друга, но только я остался... Хорошо еще, Данилов ничего этого не видел... Ты когда дела будешь принимать?

Курбатов, шумно вздохнув, встал:

— После конференции. И... прости меня, я ведь и о тебе тоже плохое подумал.

Булгаков грустно покачал головой, тоже встал и, отвернувшись, ответил:

— Я, брат, сам о себе плохо думать стал. Видать, старость всё-таки. Ну, отпоют меня на конференции, и с плеч долой... А ты, Яков, не стесняйся со мной, да и со всеми всегда напрямик действуй. Ведь прямая — она кратчайшее расстояние между точками, — Булгаков улыбнулся.

Обоим после этого разговора стало легче. Курбатов уже не испытывал мучительного смущения от сознания того, что человек, который был ему дорог, может не понять, обвинить... Булгаков смотрел на вещи трезво, и если была в его словах какая-то хватающая за душу грусть, то Курбатов хорошо понимал ее. Конечно, нелегко сейчас этому старому большевику. Нелегко признаваться, — в первую очередь самому себе, — в том, что ты «затупился», работаешь плохо. Булгаков ходил по пушистому голубому ковру, и Курбатову казалось, что он разговаривает сейчас сам с собой, высказывая вслух давно уже мучившие мысли:

— ...Критиковать будут, и есть за что. Рабочие верно поняли призыв: «Критика и самокритика невзирая на лица». Хотя среди тех, кто повыше, находятся такие, что критику не очень-то любят: мол, сейчас всё хорошо у нас, бюрократов нет. И Чухалин любит, чтоб критика

была с оглядкой. Его, между прочим, Баранов и нарком крепко поддерживают. Данилов, тот Чухалину спуска не дает. Вот увидишь: будет Данилов на конференции — будет и критика. Данилов, он, брат, умеет донести идеи партии до ума и сердца каждого коммуниста, каждого рабочего!

— Когда конференция?

— Торопишься? — улыбнулся Булгаков. — Через три дня. Ты времени не теряй, походи по цехам, по стройке... В цехах еще стариков много. Мелентьев...

— Я его видел уже.

Булгаков кивнул, словно одобряя то, что Курбатов успел встретиться с Мелентьевым.

— А Николая Ивановича Озерова помнишь? Его Чухалин тоже обидел. Тот ведь мастер золотые руки, но — практик. Чухалин его с начальника литейного цеха снял и поставил юнца с дипломом, а Озеров мастером пошел. Юнец цех заваливает, план уже вот пять месяцев подряд по номенклатуре свистит... Алешин пробовал было говорить с Чухалиным, да куда там! Словом, формально проводит новые установки. Конечно, начальник нам нужен с высшим образованием, а только... Как я тебя учил, помнишь? Ну?

— Помню, — улыбнувшись, ответил Курбатов. — Кто может, тот и едет, а не может, так ползет.

— Верно, помнишь, — Булгаков тоже улыбнулся. — Ну, а теперь иди. Дай мне одному побыть...

Завод встретил Курбатова знакомыми, родными с детства запахами горячего металла, кокса, масла. На дворе, перед цехами, снега не было, он лежал только по углам, покрытый густыми прядями черной копоти. И эти запахи, и эта копоть, и шлак, похрустывающий под ногами, и очертания старых цехов — всё возвращало Курбатова к тем далеким уже временам, когда начиналась его сознательная жизнь.

Ничего, что его воспоминания были немного печальными; даже хорошие воспоминания печальны, потому что они — о прошлом.

Курбатов вошел в цех механической обработки. Сначала ему показалось, что здесь ничего не изменилось. Потом он улыбнулся: нет, старым было только здание, коробка цеха; внутри же всё было новым, черным лаком блестели станины многочисленных станков.

Рабочий день только начался, но в цехе он не сразу заметил людей. Потом увидел рабочих, сидевших возле остановленных станков и читавших газету. Человек пять или шесть, устроившись в углу цеха, покуривали, разговаривали. На Курбатова никто не обратил внимания, — мало ли народа тут ходит. Возле большого строгального станка, тоже выключенного, возился рабочий со сморщенным, как печеное яблоко, лицом; его седые волосы выбивались из-под засалившейся кепки. Курбатов обрадовался: да это же молчун Киуру! Курбатов шагнул к нему:

— Здравствуйте, дядя Тойво!

Старый строгаль, сидя на корточках, медленно поднял голову и сердито взглянул на Курбатова бесцветными, по-стариковски немигающими глазами:

— Здравствуй, племянничек.

— Не узнали! — Курбатов даже опешил от этого ехидного «племянничек». Строгаль поднялся и, прилаживая какую-то деталь, коротко спросил:

— Ну?

— Неужели не узнали?

— А чего тебя не узнать. Всё в комиссарах ходишь?

— Узнал, — вздохнул Курбатов. Он хотел было обнять старика, как Мелентьева, но наткнулся на сердитый, словно отталкивающий, взгляд. — Приехал сюда, здесь работать буду.

— Значит, спихнули тебя с комиссаров? У верстака спокойнее, слесарь ты неплохой был.

Тойво Киуру снова опустился на корточки. Еще не понимая, отчего строгаль так холодно встретил его, Курбатов ответил:

— Нет, дядя Тойво, я на другую работу приехал. А что это цех стоит? Простой почему?

Киуру проворчал что-то неразборчивое, Курбатов только и смог разобрать: «План... пятилетка в четыре года... литейный... перкеле». Старик ругался, путая русские и финские слова.

Заинтересованные и, видимо, ничем не занятые, подошли рабочие. Один из них, с тонкой гусиной шеей, обмотанной грязным шарфом, простуженно прохрипел:

— Что, работаешь, Тойво?

— Почему у вас простой? — нахмурившись, обратил-

ся к нему Курбатов. Рабочий мельком взглянул на него: вопрос был задан властно.

— А потому, что литейный цех план выполняет.

— Как это — выполняет?

— А так вот. Им план в тоннах дают. А начальничек у них жук такой, не приведи бог. Льет детали, что потяжелее, а нам такие не нужны. Весь двор этими отливками завален, а нужные детали в час по чайной ложке дают. Вот и загораем.

Курбатов, глубоко засунув руки в карманы, стоял перед рабочими, не замечая, что те с любопытством разглядывают его, словно оценивая, поможет им этот человек или нет.

Когда он сквозь стиснутые зубы сказал: «Безобразие», — все одобрительно закивали, а Киуру пробурчал снизу:

— Конечно, безобразие...

— Только об этом все знают, — просипел рабочий с шарфом, — а всё равно литейный на паровозе едет, а мы на раке.

Курбатову тут же объяснили, что в проходной есть доска, а на ней нарисованы картинки: самолет, паровоз, глссер, улитка, черепаха... Кто выполняет план, того сажают на самолет или паровоз, а вот цех механической обработки посадили даже на раку.

— Это еще что! — крикнул какой-то паренек. — У нас еще похуже дела есть. Вы кем будете?

— Думаю, буду секретарем парткома.

Парень свистнул и, быстро придвинувшись к Курбатову, спросил:

— Вроде Булгакова, значит, будете?

— Вроде, — улыбнулся Курбатов.

— Ну, тогда нам в разные стороны. Пошли, ребята.

Старик Киуру, на секунду обернувшись, бросил вдогонку парню короткое: «Дурак», — и тот, опешив, переспросил: «Что?» Киуру, побряхтывая, поднялся и, тронув Курбатова за рукав, отрывисто, как всегда, сказал:

— Не слушай. Голова у него как табурет. Плохого у нас, правда, много. Походи, посмотри. И таких, — он кивнул на парня, — тоже много. Болтуны. Языком работают.

Считая, что он уже достаточно сказал, Киуру замолчал и принялся закреплять деталь.

— Я еще зайду к тебе, дядя Тойво, — тихо сказал Курбатов и взглянул на парня. — А с тем, что плохо, разберемся, надо полагать. Если поможете, конечно.

4

В механосборочном от комсомольцев Курбатов узнал, как на комбинате было завалено социалистическое соревнование. Коля Пушкин, вихрастый, ершистый паренек, рассказывал об этом Курбатову, не скрывая злых слез. Он передал ему и слова Чухалина: «Здесь вам не Ленинград, не «Красный выборжец», — там кадры, а у нас черт-те знает что». Курбатов подумал, что об этом на конференции придется поговорить в первую очередь, а после конференции надо будет пройти по цехам, посоветоваться с коммунистами, с чего начинать соревнование.

Прежде чем уйти из механосборочного, Курбатов отвел в сторону Колю Пушкина и показал ему на грязный пол, на стружку, разбросанную повсюду, на залежи тряпок по углам, на черную паутину, затянувшую окна:

— А вот с этим соревнование не пойдет. Убрать надо бы. Ты не говорил о соревновании с дядей Ваней, с Мелентьевым?

Пушкин озорно протянул:

— Сунулись было!..

Курбатов улыбнулся, представив себе, что было, когда к Мелентьеву «сунулись» комсомольцы. Попросив Пушкина зайти в партком в начале недели, Курбатов отправился на строительство новых корпусов, а оттуда пошел в кузнечный цех. Там разговор о делах только начался, когда раздался низкий, басовитый, знакомый Курбатову гудок.

— Ну что ж, товарищи, перерыв. Вам, наверно, в столовую? Где она у вас?

— Да там... — махнул рукой один из рабочих. — Только мы не ходим. Если туда обедать ходить, то и двух часов не хватит. Опять же — зайцы-кролики. От них сам Снежков плачет.

Курбатову рассказали, что Чухалин велел началь-

нику ОРСа Снежкову разводить за городом кроликов. Эти длинноухие плодились так, что вскоре у Снежкова не оказалось никаких кормов, — проклятые «зайцы», как называл их снабженец, началидохнуть. Пришлось половину прирезать, и несколько тысяч штук лежали сейчас в ледниках. Весь комбинат ест их уже третью неделю; оно бы ничего, конечно, но повара готовят невкусно, — крольчатина всем надоела.

И это также отметил Курбатов: «Организация питания на комбинате. Разобраться».

Домой, к Кияту, он вернулся поздно, усталый, но оживленный. Он ходил по комнате, рассказывая о том, что видел. Кият слушал его улыбаясь: нет, Яков не переменялся, такой же увлекающийся, подвижной... Но Курбатов вдруг заметил, что у Тани обиженное лицо. Как только Кият вышел, она тихо сказала:

— Что же ты не спросишь, как я себя чувствую? И я ведь тоже по делам ходила. Тебя это не интересует?

— Прости, Танюша. Так как у тебя?

Курбатов увидел досадливую гримасу на изменившемся, покрытом некрасивыми темными пятнами, лице.

— Никак. И долго мы здесь гостить будем? Ты теперь на комбинате хозяин, можешь себе квартиру достать.

— Таня!

— Что «Таня»? — вскинулась она. — Нельзя жить как попало, а ты не хочешь о семье подумать. У тебя ребенок будет...

Курбатов сознавал: естественно, что Таня нервничает, капризничает, по-своему она права, ей сейчас нелегко. И всё же ее слова поразили Курбатова, и он впервые подумал: неужто это Таня? Ведь она была совсем не такой до их женитьбы. «Во всяком браке рано или поздно наступают будни», — вспомнил Курбатов чью-то фразу. Чувство, близкое к разочарованию, на мгновение охватило его. Погаснув, оно всё же оставило неглубокий след: так неожидан был этот переход от мыслей о предстоящей работе к упрекам Тани, к личным житейским заботам, которым Курбатов никогда не придавал большого значения.

Таня, не чувствуя состояния мужа, продолжала ворчать. Курбатов молчал.

— Хорошо, подумаю, — наконец проговорил он, ставив себя отогнать обиду: «Чепуха! Всё это пройдет!»

5

Заводская партийная конференция должна была открыться в три часа дня, а в двенадцать по улицам Новогорска промчался, чихая сизым дымом, крытый брезентом обкомовский «газик» и остановился возле проходной комбината. Это была старая привычка Данилова: не заходя в партком, пройтись сначала по цехам, посмотреть всё самому.

Курбатов сидел у Булгакова, когда в кабинет вошел Чухалин. Первого взгляда было достаточно, чтобы определить: человек нервничает. Директор, неслышно ступая по голубому ковру, то и дело гладил рукой жесткую бритую голову, дергал нависшими бровями, потом сказал, обращаясь к обоим:

— Данилов приехал — и прямо в цехи. Видел его в окно...

Курбатов широко улыбнулся: в глубине души он ждал приезда Данилова на конференцию. Чухалин заметил эту улыбку и быстро отвернулся.

— Кстати, — сказал он Курбатову, — нарком нам две машины прислал, заграничные, «шевроле». Мы теперь с тобой, Яков, загазуем. Одну машину я к тебе с Княтом прикреплю. Можно будет вместе за утками да стерлядью на озеро ездить.

Курбатов взглянул на Булгакова, тот понял этот взгляд, сказал:

— Эх, Саша, не о том ты. На строительство бы лучше ходил, а то там сезонники вот-вот разбегутся.

Чухалин оборвал его:

— Не терпится с критикой? У тебя еще будет сегодня возможность критиковать. А на строительство я велю завхозу сходить, у него ноги помоложе будут. Я не собираюсь работать за всех.

Вдруг он насторожился: через закрытые двери из коридора донесся рокошующий бас Данилова.

— Ну, держитесь теперь, — криво усмехнувшись, шепнул Чухалин.

От сильного толчка дверь распахнулась. Данилов не вошел, а ворвался в кабинет. Ни с кем не здороваясь, он тяжело опустился в кресло, встал, снова сел. На скулах Данилова медленно перекачивались желваки. Он долго (всем показалось — очень долго) осматривал комнату.

— Ну? — наконец спросил он, ни к кому не обращаясь.

Чухалин ответил тоже вопросом:

— Что?

— А черт знает что! — Данилов рывком поднялся из кресла. Высокий, рослый, в вельветовой коричневой толстовке, он стоял, засунув руки в карманы брюк, расставив ноги, и от этого его фигура казалась еще более крепкой. Резким голосом он проговорил:

— Кабинетки завели, в креслах спать можно! А почему швейцара нет у дверей? Да вы что это, а?

Курбатов откровенно любовался сейчас секретарем обкома. Данилов не актерствовал, не «нагонял страху»: те, кто изучил его, знали, что уж если Данилов сердится, то за дело.

— Что это, а? Монтаж оборудования сорван, заграничная техника, за которую народным золотом плачено, под снежком стоит, сортность целлюлозы снизили, на строительстве творится черт знает что, а они здесь — извольте: креслица, коврики, рамочки, вазочки... Директор на старости лет женился сдуру! Так или нет, я вас спрашиваю?

— Алексей Николаевич... — начал Чухалин.

— Молчи! — перебил Данилов. — Сам всё знаю. А ты — ты-то что? — обратился он к Булгакову. — Тебя для чего здесь поставили?.. Что там у тебя? — Он откинул штору, за ней была небольшая дверь; Данилов приоткрыл ее, поглядел, повернулся к красному, как-то обмякшему секретарю парткома:

— Прекрасно! Персональный сортир. Леня уж по нужде в общий нужник бегать? Эх, старики, что же с вами стало? С Чухалиным у меня еще особый разговор будет, он легко не отделается. Идем, Курбатов.

Данилов рывком открыл дверь, подтолкнул Курбатова вперед и вышел следом, продолжая говорить:

— Ты проследи, чтоб всё партийное хозяйство сегодня же из этого «будуара» в старое помещение пере-

вели. Чухалина на бюро обсуждать будем. Надо же дойти до такого... — Данилов взглянул на часы. — До конференции полтора часа. Нервничаешь?

— Немного.

— Это хорошо. Самоуверенны только невежды и нахалы. Я сегодня поговорил с народом о тебе; ничего, одобряют. — Данилов хлопнул Курбатова по спине. Выйдя на широкую площадь перед заводоуправлением, он показал на центральную улицу: — Пойдем, поглядим.

Они шли медленно. На улице было почти пусто, только промчалась куда-то ватага ребятишек да прошла женщина с ведрами.

— Да-а-а... — сокрушенно протянул Данилов, — забурел Чухалин, забурел... И эта нелепая женитьба, и этот лоск... Нет, брат, не зря говорят, что простые истины — самые трудные: для того, чтобы люди уважали тебя, надо самому с уважением относиться к ним. Не командовать людьми, а по-товарищески относиться к ним, уметь внимательно их слушать, учиться у них и учить их.

Они шагали мимо больших серых домов, выстроившихся вдоль улицы. Осматривая дома, Данилов досадливо кричал, морщился:

— Ну и настроили! Комоды, а не дома, честное слово! «Удешевленное строительство, удешевленное строительство», — передразнил он кого-то, — а на деле получается безобразие. Строй дешево и быстро, но уж делай так, чтобы и красиво было! Я Чухалину это сколько раз говорил, так нет же — понатыкал комоды. Зайдем-ка, посмотрим.

Данилов вошел в первую попавшуюся дверь. На узкой лестнице было сыро и сумрачно. Курбатов искал рукой звонок у одной из дверей, но не нашел его; пришлось стучать.

Дверь открыла пожилая женщина. Вытирая руки о фартук, она разглядывала двух незнакомых мужчин, пока Данилов не спросил:

— К вам можно?

— Что, комиссия, наверно?

— Вот-вот, комиссия, — словно обрадовался Данилов.

Женщина сразу засуетилась и, пропустив их, начала подбирать с пола детские игрушки. Курбатов, разглядывая комнату, спросил:

— Ну, как живете здесь? Довольны квартирой?

— Довольны, довольны, — торопливо ответила хозяйка.

Курбатов и Данилов переглянулись. Чем она довольна? В полу щели, разошедшаяся дверь открывается со скрежетом, на потолке местами вспучилась штукатурка.

— А правду? — тихо спросил Данилов.

— А правду... Холодно вот ребятишкам зимой-то. Рамы прохудились. Сыровато. Кашляют ребята. А так — ничего живем, и на том спасибо.

Данилов сказал Курбатову:

— Вот она, спешка. Ты присматривай за строительством. О людях речь идет. Верно, мамаша?

— Что? — поначалу не поняла та.

— Люди, говорю, в домах-то живут, о них заботиться надо.

— Это верно, верно, кормилец.

Они простились с хозяйкой и вышли на улицу. Пора было идти в клуб. Данилов озабоченно поглядел на часы:

— Давай шагай. Конференцию надо открыть минута в минуту. Знаешь, как Владимир Ильич учил нас время ценить? О-о-о! Помню, в Париже я опоздал однажды на занятия. Ильич подошел ко мне, склонил голову набок, прищурился и вежливо так спросил: «Не стыдно? Такой большой!..»

Данилов улыбнулся, вспомнив прошлое, и улыбка его была такой доброй и вместе с тем сдержанной, что Курбатов, увидев ее, понял, какой великой, нерастраченной, неиссякаемой любовью был полон этот человек.

6

Заводская конференция проходила бурно.

Чухалин, сидя у края стола, то потирал бритую голову, то, придвигая к себе графин, пил воду. Это заметили, и, едва он протягивал руку к стакану, по залу проходил легкий смехок. Курбатов видел: приезд Данилова словно окрылил людей. Чухалина и Булгакова

критиковали так, что Курбатов и тот ежился, представляя себе, что они должны сейчас чувствовать.

Им припомнили всё: и сорванное соцсоревнование, и плохое снабжение рабочих, и зазнайство, и, конечно, роскошные кабинеты. Алешин, тяжело поднявшись на трибуну, долго надевал очки, читал, шевеля губами, какую-то бумажку и, наконец, скомкав ее, сказал:

— ...Вот ведь как оно получается, товарищи. Помню, в семнадцатом году, в октябре, когда мы к нашей революции готовились, всё было иначе. Считаю, Григорий Михайлович, не так-то уж и давно это было. И, помню, заболел ты тогда, едва ходил, а работал. И как работал-то, мы все на тебя равнение держали, и Булгаков в том числе. А нынче... Ты меня прости, хотя чего ж за правду-то прощения просить, но ведешь ты себя так, будто и не был никогда революционером, будто...

— Но-но... — проворчал Чухалин.

— Что, разве не так? Когда правду, Григорий Михайлович, хотят спрятать, она всё равно выйдет наружу. Закроешь ей рот днем, она заговорит ночью. А ты знаешь, как о тебе теперь говорят?

Чухалин смотрел на Алешина сухими, немигающими глазами.

— Кажется, у нас сегодня партийная конференция, — глухо сказал он.

— А ты член парткома, — ответил Алешин. — Надо бы помнить. Так знаешь, как говорят?

Чухалин потянулся к графину. В зале наступила томительная тишина; слышно было, как звенит горлышко графина, ударяясь о стакан, как булькает вода. Алешину трудно было выговорить одно-единственное слово. Он сказал его почти шепотом, но оно было услышано всеми:

— Барин...

Окончились прения. Работу парткома решено было считать неудовлетворительной. Курбатова, наряду с другими, выдвинули в новый состав парткома, обсудили кандидатуры, приступили к голосованию. Голосовали открыто, простым поднятием руки, и Курбатов, сидя в президиуме, старался не смотреть в зал, чтобы не смущать голосующих.

— Единогласно, — сказал председатель, и тут же добавил: — При одном воздержавшемся.

Курбатов невольно поглядел туда, куда повернулся председатель.

Воздержался от голосования Чухалин. Встретившись взглядом с Курбатовым, он насупился и, шумно вздохнув, начал разглядывать какую-то бумажку. «Так, — подумал Курбатов. — И впрямь трудновато нам с тобой придется, Григорий Михайлович».

7

На него сразу обрушилось столько дел, что по одному их количеству можно было судить о том, как была запущена на комбинате партийная и хозяйственная работа. Курбатову хотелось разобраться во всем самому, но, просидев в парткоме два дня, он понял, что это невозможно, и попросту сбежал в цехи, коротко сказав освобожденным членам парткома:

— Занимайтесь пока всей текучкой сами.

Он знал, с чего надо начинать на комбинате: разговор с Колей Пушкиным не выходил из головы. Паренек понравился Курбатову: напористый, горячий, быстрый, — полная противоположность своему соседу по участку — Мелентьеву. Но Курбатову хотелось столкнуться именно их.

С Колей Пушкиным разговор был недолгий: тот понял Курбатова с полуслова и только перемигнулся со своими ребятами. С Мелентьевым пришлось беседовать куда больше.

Едва Курбатов подошел к нему и поздоровался, дядя Ваня, ревниво косясь на молодежную бригаду, спросил:

— Что, уже впрягся?

— Да, вот сейчас по цехам хожу...

— Видел я, как ты с этими молокососами шурымуры разводил.

Курбатов засмеялся, откидывая назад голову, а Мелентьев, вытирая ветошью испачканные маслом руки, недовольно сопел: он и впрямь обиделся на Курбатова за то, что тот сначала подошел не к нему.

— Чего ж ты о них так? — всё еще смеясь, спросил Курбатов. — Хорошие ведь ребята. Или работают плохо?

— Нет, в общем-то ничего... — Мелентьев всё еще хмурился. — Только никакого почтения к нам, всё хотят выскочить — «мы да мы». На первое место хотят, на наше то есть.

Подошли рабочие из мелентьевской бригады, прислушались к беседе, закурили. Мелентьев тоже закурил, держа сигарку большим пальцем и мизинцем, чтоб не испачкать ее. И Курбатов понял, что люди приготовились к долгому разговору с новым секретарем парткома, — к долгому потому, что они уже отвыкли видеть партийных руководителей у себя в цехе. Обращаясь ко всем, Курбатов сказал:

— Вот дядя Ваня говорит, что комсомольцы хотят вперед выскочить. Так ведь это же хорошо, товарищи! Они за вами тянутся, а вы не уступайте им своего места. Если подумать, так ведь соревнование и поможет нам завершить пятилетку в четыре года. Как считаете?

Мелентьев кивнул:

— Слыхали мы... Соревнование... Только что ж, по-твоему, мы с этими сопляками соревноваться будем?

— А хотя бы и так, — подзадорил Курбатов.

— Да ни в жисть! Это только срам на себя принимать. Ну как обштопают, тогда что?

— Ты никак боишься, дядя Ваня? — Курбагов знал характер Мелентьева: он долго раскачивался, но если взять его за живое, загорался не хуже молодого.

Мелентьев погасил сигарку:

— Это я-то боюсь? Чижииков этих? Ну, пускай сунутся, мы им нос натянем.

— Они и сунутся.

— Не бойся, дядя Ваня, — примирительно сказал один из пожилых рабочих. — Где им за нами гоняться, не сунутся.

Курбатов присел на высокий табурет, снял фуражку.

— Нет, товарищи, — сказал он, — комсомольцы хотят с вами соревноваться. Я уже говорил с молодежной бригадой. Они обдумают свои обязательства и вызовут вас. Разве плохо: ваши две бригады соревнования начнут, потом в него включится цех, завод, комбинат, а потом и другие заводы вызовем.

— Значит, на всю железку хочешь закрутить. — Мелентьев ожесточенно задвигал белесыми бровями, слов-

но пытаюсь что-то возразить, потом решительно махнул рукой:

— Ладно, мы не против. А всё ж таки не они нас, а мы их вызовем! Ты только помоги нам эту бумагу составить... как ее там...

— Обязательство.

— Вот это самое — обязательство.

— Ладно, помогу, встретимся после работы.

Кто-то предложил:

— Зачем после работы? Садись, бригадир, пиши, мы за тебя отработаем.

У Курбатова на душе отлегло: начало есть.

Они писали, перечеркивали написанное, спорили, снова писали, и даже не заметили, как хриплым баском гудка окончилась смена. Курбатов предложил внести пункт о чистоте в цехе, и Мелентьев, яростно сплюнув на пол, рывкнул:

— Пиши, и это пиши!

Молодежная бригада Пушкина появилась в пролете в полном составе. Но юный бригадир и рта раскрыть не успел: Мелентьев протянул ему обе руки, — в одной была бумажка с обязательством, а другой дядя Ваня изобразил широко известную комбинацию из трех пальцев:

— Накося, выкуси. Мы первые вас, сопляков, вызываем. Рано вам еще поперед батьки в пекло лезть.

Смущенный Пушкин обернулся к ребятам. Курбатов, рассмеявшись, подошел к Коле и хлопнул его по плечу:

— Не горюй, что опоздал. Дело общее.

Послышался смехок, другой, а минуто спустя все уже хохотали. И только Мелентьев, хмурясь для порядка, что-то бурчал себе под нос.

Чухалин, чего не бывало раньше, пришел на первое же заседание парткома и, к общему удивлению, досидел до конца. Очевидно, шестьдесят два голоса «против», полученные при выборах на конференции, заставили его призадуматься.

Он не ушел и тогда, когда заседание окончилось.

Сидя перед Курбатовым, по привычке поглаживая голову, он сказал:

— Я на конференции воздержался голосовать за тебя, но ты не вбей себе в башку, что я против тебя что-нибудь имею. Я тогда просто подумал, что если ты единогласно пройдешь, загордишься, нос загнешь, а так хоть чувствовать будешь, что всяко может быть.

Курбатов пожал плечами: «В чем он оправдывается?» Ответил спокойно:

— Я, Григорий Михайлович, нос не задеру. Не приучен.

— Не зарекайся. Я вот задрал было...

— Как это произошло, дядя Гриша? — тихо спросил Курбатов, сам удивившись тому, что у него вырвалось старое, почти забытое обращение.

— Не знаю. Чувствую только, что попал как муха в паутину. А вот выкарабкаться...

— Вы расскажите...

— Нет, нет, не сейчас, потом как-нибудь. — Чухалин сорвал с вешалки пальто и торопливо, будто боясь разговориться, выскочил в коридор.

Курбатов не торопясь оделся и вышел: ему хотелось пройтись, подумать о том, что происходит с Чухалиным, зайти к Алешину, посоветоваться...

Было ветрено. Вечерние сумерки надвинулись на город, все предметы казались неясными, расплывчатыми. Не успел Курбатов дойти до ворот, как навстречу ему бросилась какая-то фигура. Ветер раздувал полы брезентового плаща, они хлопали, заглушая обрывки слов:

— Блохин я... прораб... Беда!..

Курбатов, резко рванув его за руку, притянул к себе:

— А ну, без паники. Что случилось?

Человек немного пришел в себя и, путаясь в словах, объяснил, что он прораб со стройки, Блохин, и что сезонники отказались идти на работу.

Курбатов, подталкивая Блохина, вернулся в парком, подвинул стул прорабу и сел сам напротив него:

— Теперь рассказывайте спокойно. Да выпейте воды, на вас лица нет.

Наконец прораб немного успокоился. Дело было так: он пришел на строительство и не увидел ни одного рабочего. Тогда он побежал в барак:

— ...А там уже гармошка играет, пляшет кто-то, аж стены гудят. Я к коменданту: что, говорю, здесь такое? А он мне грубо отвечает: довели, говорит, людей, вот они и не работают. Вижу — плохо дело, ну и вошел в барак. Увидели меня в дверях сезонники, да как заорут: «Уговаривать пришел? Не пойдем на работу!» Ну, я в сердцах крикнул на них, милицией пригрозил. А те: «Не пойдем! Уходи, не то осерчать можем». Что же делать-то, товарищ Курбатов?

Курбатов ответил не сразу. С таким он сталкивался впервые. Почему-то вспомнились годы юности и далекие, но навсегда оставшиеся в памяти первые субботники... Почему же волят сезонники, люди жадные до работы? Не сводя глаз с Блохина, он спросил его об этом. Блохин заерзал на стуле:

— Да одна у них причина, — выдавил он нехотя, — получку им задерживаем. Нынче тоже так вышло: должны были два дня назад дать...

— Почему же у вас так получается?

— По пустяку всё. Нынче вот бухгалтерия не успела по конвертам деньги разложить. Прошлый раз кассир заболел, а еще раньше — по проценткам ассигнования опоздали получить. Ну, а они-то ведь несознательные.

— А вы, значит, сознательный и готовы ждать своей зарплаты хоть целый год?

Блохин растерянно взглянул на Курбатова и пробормотал:

— Они же сезонники, у них тут семей нет...

Курбатов посмотрел на Блохина так, что тот, съездившись, не оглядываясь, стал напяливать на свою узкую, похожую на огурец, голову шапку. Когда Курбатов встал, прораб вдруг рывком бросился вперед, открыл дверь и помчался на улицу.

Блохин, не оглядываясь, бежал к бараку, где жили сезонники. Он думал, что до прихода Курбатова успеет наладить кое-какие, небезопасные для него дела. Но Блохин плохо знал своих рабочих: сезонники, видимо, ждали его прихода. Они зашумели, с нар слышались выкрики:

— Ишь, харю наел!

— Начальничек!

Блохин увидел суровые, не предвещавшие добра,

лица. Испуганно присев у стола, он тоскливо поглядывал на входную дверь, где вот-вот должен был появиться Курбатов.

— А что, мужики, поучим его маленько, — громко сказал молодой парень в залатанном, лоснившемся от грязи, полушубке. — Он, поди, не знает, как мы такого начальничка в Перми проучили.

Раздался хохот, а бородатый мужик добавил:

— Оно пожалуй бы надо. Он вредный. Не только жалованье нам задерживает, а еще молодых с получки что липку обдирает.

— А ну, давай, ребята! — крикнул молодой парень.

Блохин вмиг забился в сильных руках. Сезонники разложили его на столе, крепко держа за руки и за ноги. Молодой сезонник уже орудовал перочинным ножом. Через две-три минуты на одежде Блохина не осталось ни одной пуговики. Отрезанные пуговицы кто-то ссыпал в грязный носовой платок и, старательно завязав его, сунул Блохину в карман.

Почувствовав, что его больше не держат, Блохин вскочил на ноги и едва успел обеими руками схватить сползающие брюки. Затравленно озираясь, он сделал несколько неуверенных шагов и уселся на самый краешек нар...

Войдя в барак, Курбатов увидел грубо сколоченный стол, две печки-буржуйки, натопленные до вишневого цвета, сложенные в углу робы. Неприятно пахло овчиной, потом, грязным бельем.

Курбатов поздоровался. Ему не ответили. Он присел к столу на табурет, снял фуражку, пригладил волосы.

Курбатов молчал. Молчали и сезонники. Один начал рыться в своей корзинке, другой потянулся к печке подкинуть дров, кто-то, притворившись спящим, всхрапнул и тут же засмеялся, на него зашикали. Курбатов чувствовал, что все глаза направлены на него.

С нар слез, покряхтывая, старик в белой, до колен рубаше, в жилетке, с седой реденькой бородкой и, прикрепив к стене литографию с изображением какого-то святого, начал громко молиться, часто кладя земные поклоны.

Голос показался Курбатову знакомым. «Точно, он... В поезде о войне спрашивал. Три лошади, пять коров...»

Курбатов поднялся, шумно отодвинул табурет и сказал:

— Кто здесь коммунисты и комсомольцы — выходи ко мне!

Никто не вышел.

— Кто участники гражданской войны, красные партизаны — давайте сюда!

Человек десять угрюмо подошли к столу.

— Кто тут есть из крестьян-бедняков, которых мироеды гнули? Колхозники — выходи.

Теперь вокруг стола столпилось человек шестьдесят. Курбатов обратился к ним:

— Насчет зарплаты я знаю, — он бросил сердитый взгляд на Блохина. — А живете вы... вон какая грязь в бараке. Но, сдается мне, что дело не только в этом. Как же это получается, товарищи? За советскую власть вы своей жизни не жалели. А тут? Что же, кулацкого шепота послушались и новой жизни навредить хотите?

— Да не хотим мы, — проговорил кто-то негромко.

— Да и не жизнь это, а понедельник... — сказал звонкий молодой голос.

— Трудная пока жизнь. Верно. Но и то верно, что вот этого деда наслушались, а у него три лошади да пять коров было. Человек от раскулачивания сбежал, ездит, воду мутит.

Старик, — он давно уже перестал молиться, — приблизился к Курбатову, вонзился в него быстрым взглядом, потом тяжелыми веками прикрыл глаза, но Курбатов успел уловить в них злой, ненавидящий огонек.

— Ты в своем кошеле считай, — проскрипел старик, — а в чужой не лезь.

— Да тут... — сказал пожилой сезонник и покосился на притихшего, как мышь, Блохина, — и другие есть... вредные-то.

Курбатов сказал:

— С тех, кто зарплату задерживает, спросим, они за это ответят. А сейчас ночная смена ждет. Надо идти на работу, товарищи. И в бараке наведем порядок. Может, и эти, — он щелкнул ногтем о ноготь, — имеются?

— Как не быть, — почему-то весело ответил кто-то. — Всего есть помаленьку: и вошка — божья коровка, и блошка-попрыгунья, и клоп-кровопиец, и сам король ерманский — прусак.

Эта бесхитростная шутка рассмешила сезонников, с них словно спало напряжение. Почти все спустились с нар, стали собираться на стройку. Курбатов повернулся к Блохину:

— Ну, а вы что же? Ведите людей.

— Я... Я... н-не м-могу, — не вставая с места и заикаясь, ответил Блохин.

Грохнул смех. Один из сезонников, молодой парень, сказал:

— Это верно, не может он. Ему женка к порткам пуговиц не пришила.

— Ничего не понимаю, — Курбатов с удивлением посмотрел на прораба.

Блохин, как выловленный из воды окунь, жадно глотал воздух. Потом нехотя встал и, держась руками за живот, поплелся к выходу.

— Вы что, больны? — спросил Курбатов, делая усилие, чтобы не рассмеяться.

— Авось теперь полегчает, — со смехом ответил за прораба молодой парень и рассказал Курбатову, как проучили Блохина сезонники. Курбатов покачал головой и натянуто улыбнулся.

Через несколько минут барак опустел, только человек десять остались лежать на нарах да старик всё ещё клал поклоны приколотой к стене литографии.

На улице Курбатов спросил Блохина:

— Вы коммунист?

— Я... сочувствую... сочувствующий векапебе.

— Утром зайдите ко мне в партком.

— По какому вопросу? — испуганно спросил Блохин.

— А вот по этому самому, — и, кивнув на уходящих сезонников, Курбатов зашагал домой: уже была ночь.

* * *

Дверь ему открыл Кият. Раздевшись, Курбатов вошел в комнату. Жены в ней не было.

— Где Таня? — встревожился Курбатов. Он был уверен, что жена уже спит.

Кият улыбался. Он даже жмурился от удовольствия, глядя на растерянного Курбатова. Вдруг тот охнул, встряхнул Кията за плечи и заорал:

— Да говори же ты, пень!

— Сам ты пень! — весело ответил Кият. — Где ты пропадал весь вечер? А еще папаша! Ну, поздравляю!

Курбатов оторопело поглядел на него, пробормотал что-то невразумительное и, в чем был, выскочил на улицу. Кият с пальто и фуражкой догнал его уже за воротами.

Курбатов прибежал в больницу. Он запыхался от быстрого бега и так волновался, что едва мог спросить у дежурной медсестры:

— Какое состояние жены?.. Ну, Курбатовой... Кто родился?

Сестра строго взглянула на позднего посетителя, с достоинством ответила:

— Не волнуйтесь, гражданин отец... Дочь у вас родилась. Состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Поздравляю...

Что-то пробормотав похожее на благодарность, взволнованный и взбудораженный, он вышел на улицу. Серебристый рог луны плыл по небосклону. Курбатов шел и ничего и никого не замечал: «Человек родился, как это хорошо! Новый, мой человек родился».

Переполненный гордостью за себя и за Таню, Курбатов очнулся в парткоме. Посмотрев на часы, он пошел в цехи.

9

Дверь открылась, и в нее вкатился какой-то толстый человечек. Он сел в кресло у стола, схватился за голову и запричитал бабым голосом, что «эти проклятые кролики» сживут его со свету:

— Ох и дохнут они, окайные!

Курбатов сразу же догадался, кто это пришел к нему.

— Ваша фамилия Снежков? — спросил он.

— А? Да, да. Я Снежков из ОРСа.

— Я кое-что слышал о вас.

Начальник ОРСа заволновался:

— Слышали? Что вы слышали?

— Снежков, сколько у вас в ОРСе столовых?

— Десять, а что?

— В какой из них можно быстро и вкусно пообедать?

Снежков заерзал на кресле:

— Вы знаете, это какой-то ужас... Тарелок и ложек не хватает, воруют, а повара у нас неквалифицированные.

— Значит, ни в одной столовой по-настоящему и пообедать нельзя? А ваши работники только и могут, что портить продукты, и даже такие ценные, как крольчатина! Или, может быть, заготовки вам даются легко и продукты сами сыплются с неба?

Снежков замахал руками. На лице его выступили капли пота. Вид у него был виноватый, пришибленный. Курбатову даже стало как-то жаль его. Он спросил, нельзя ли пригласить поварами жен рабочих. Снежков, оживившись, вытащил из одного кармана кусок оберточной бумаги, из другого — огрызок карандаша, что-то лихорадочно черкнул и умильно глянул на Курбатова:

— Что еще?

— Вы раньше официантом работали? — еле сдерживая смех, спросил Курбатов.

— Да, в Петрограде, у «Медведя», а что?

— Просто к слову пришлось. Так вот, Снежков, завтра к вам с десяти утра будут приходить женщины наниматься в повара. Вы вежливо поговорите с каждой и отберите лучших. Добейтесь, чтобы в каждой столовой можно было пообедать вкусно и за полчаса; партком это проверит. И еще: выделите столы для ударников и по карточке ударника выдавайте какое-нибудь дополнительное блюдо. Вот теперь, кажется, у меня всё.

— Но где же я возьму продукты? — простонал Снежков. — Разрешите, я этих кроликов ликвидирую, а вместо них свиной разведу...

Курбатов поморщился: опять он об этих кроликах! Снежков был уже в дверях. Оттуда он обиженно крикнул:

— Хорошо, хорошо, не буду! Пусть лучше они меня сожрут!

Откинувшись на спинку стула, Курбатов расхохотался.

После рождения Оленьки Таня стала ворчлива и вечно была чем-то недовольна. Курбатову из-за частых мелких ссор приходилось руководствоваться мудрым правилом: «В ссоре да уступит умнейший», — и не менее мудрым в таких случаях: «Терпение, терпение и еще раз терпение». Благодаря этому ссоры быстро затухали. Если Таня продолжала шуметь, он, сдерживая себя, спокойно говорил ей: «Ты помни, Таня, ссориться с тобой из-за пустяков я не хочу. Если тебе нравится делать именно так, а не иначе, то делай».

В выходные дни после обеда Курбатову неудержимо тянуло в город — походить, поговорить с людьми, но Таня протестовала. Приходилось идти на хитрость: он шел гулять с Оленькой и во время прогулки встречался с людьми. Курбатов всё яснее сознавал, что с Таней что-то происходит: ей не нравилась квартира, не нравились соседи, не нравился город. Ее раздражало всё: и то, что сипит водопровод, и косо повязанный галстук Курбатова, и то, что она начала полнеть после родов.

Как-то ночью Курбатов проснулся, — приснилась какая-то чертовщина. Внезапно он услышал тихие, приглушенные всхлипывания и, испуганно приподнявшись, спросил:

— Танюшка, что ты?

Взволнованная, задыхающаяся, гневная, Таня вскочила с кровати; он едва различал ее во мраке ночи.

— Оставь меня! — раздраженно крикнул голос из темноты.

— Ну что ты, глупенькая? Могу же я знать, почему жена плачет?

— Оставь! Тебе до жены никакого дела нет. Тебя не интересует, что происходит дома, как живет твоя семья. С Оленькой только по выходным дням гуляешь. А так с утра до ночи на работе, и мы тебе не нужны.

Курбатов мягко перебил ее, но ему с трудом удалось остановить поток ее жалоб. Он пытался утешать себя тем, что Таня воспитывалась в мещанской семье и не ее вина, что такой выросла; желая свести разговор к шутке, он обещал жене «исправиться»:

— Теперь буду пай-мужем. Вот увидишь...

Шутка подействовала примиряюще. Но утром на ра-

боту Курбатов ушел с больной головой и тяжелым сердцем. Ничто в жизни не проходит бесследно, а этот ночной разгвор испугал его. Где-то в душе у обоих были уже какие-то царапины, и Курбатов, вспоминая поговорку «милые бранятся — только тешатся», всё-таки не мог успокоиться.

11

Курбатов не замечал, как бегут дни, недели, месяцы. Домой он приходил поздней ночью, и его хватало только на то, чтобы постоять над Оленькиной кроватью, нехотя чего-нибудь поесть и дотащить до постели. Он, хотя и силился, не мог выполнить обещания, данного жене. Так и не удалось отпраздновать рождение дочки и новоселье, — эти торжества откладывались со дня на день.

Курбатов видел, что работа у него налаживается. На комбинате соревновались уже десятки бригад. Он не ошибся, Коля Пушкин оказался «заводным» парнем: вместе со своими ребятами помог расшевелить людей и в других цехах, молодежи рассказывал о работе своей бригады, старикам приводил в пример Мелентьева. Правда, старый мастер всё еще продолжал хмуриться и ворчать, но это, скорее, была дань привычке. Недавно Курбатов добыл для него бесплатную путевку в санаторий, выхлопотал деньги на проезд. Старика очень тронуло внимание секретаря парткома. Подлечив поясницу, дядя Ваня выглядел теперь орлом и, встречая в цехе Курбатова, заверял его:

— Ты, Яшка, того... не сомневайся. План моя бригада всегда выполнит. Да и сверх плана подкинем. Чижикам-то этим носы утрем...

Улучшились дела на строительстве. Как ни упирался Чухалин, пришлось ему прораба Блохина снять: очень дурно пахли его денежные расчеты с сезонниками.

Снежкова заслушали на заседании парткома, помогли наладить децентрализованные заготовки продуктов у крестьян, — в столовых чаще появлялось свежее мясо, картофель, квашеная капуста.

Сотни забот одолевали Курбатова: партийное просвещение, работа комсомольских организаций, споры с Чухалиным о правильном расходовании средств на

улучшение быта рабочих, поход против грязи в общежитиях...

Курбатов не щадил, не умел щадить себя. И всё-таки иногда ему становилось стыдно, когда он думал о настойчивости и энергии Данилова в большом и в малом.

Секретарь обкома не забывал о комбинате. Каждый его приезд оставлял зримый след.

Однажды, беседуя в цехах с рабочими, Данилов разговорился с молодой женщиной. Выяснилось, что живется ей трудно, — у нее двое маленьких детей, а посмотреть за ними дома некому.

— Уйдешь на завод — сердце болит... Спасибо, хоть соседки помогают...

— А ведь вы и сами можете себе помочь, — мягко сказал Данилов.

— Я? Что же я могу сделать?

— Кое-что можете, — Данилов вдруг рассердился. — Вашему директору с начала года деньги на строительство детского сада отпущены. На сто двадцать мест. Мало, конечно, но он, ссылаясь на нехватку рабочей силы, и этого сада не строит. Как вы думаете, можно найти выход?

— Где ж мне знать...

— Выступите на женском собрании и призовите женщин поработать на строительстве детского сада. Пойдут, ведь не одна вы в нем нуждаетесь.

Через два дня группа работниц явилась в кабинет Чухалина. Ему подали список женщин, — более сотни фамилий, — изъявивших желание помогать в нерабочее время строительству детского сада. Чухалин не выдержал такого напора, сдался, приказал выделить материалы, прораба, опытных десятников. Через несколько дней закипела работа, женщины расчищали площадку, рыли траншеи под фундамент, возили на тяжелых тачках землю.

Курбатов горячо поддержал идею Данилова. По совету парткома, в стройку включились комсомольцы и несоюзная молодежь. И через несколько дней уже сотни лопат и заступов вгрызались в землю, по узким, скользким от грязи доскам цепочкой тянулись одноколесные тачки. Каждый день по окончании смены на

строительную площадку организованно двигалась колонна молодежи. Комсомольцы шли и пели:

Мы поднимаем знамя.
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами
Республику труда!

Через два месяца стены были подведены под крышу, начались отделочные работы.

Шагая как-то с Курбатовым мимо выросшего здания, Данилов сказал:

— Женщины сработали. Молодцы.

Курбатов добавил:

— И комсомол поддержал, Алексей Николаевич. Крепко поработали.

— Молодцы! — повторил Данилов.

Курбатова полюбили на комбинате. Он всегда был на людях. Он верил, что любую, самую трудную хозяйственную задачу, любой пункт плана парткома можно осуществить, если сумеешь заглянуть в души людей, помочь им увидеть в привычных, примелькавшихся буднях великую цель, которой жила вся страна. Курбатов любил и пошутить и посмеяться, но не выносил болтунов, как и всякий коммунист, жаждущий ясности и живого дела. Еще большее возмущение вызывал в нем тот, кто горячую партийную мысль подменял скучными «речугами», нудным школярством.

12

В один из четвергов (а четверг был днем партийной учебы) Курбатов решил проверить, как идут занятия в сети партпросвещения. По сводкам и из разговоров с коммунистами он уже знал, что люди на занятия политшкол и кружков ходят нехотя.

Занятия проводились в клубе — бывшем особняке хозяина завода, стоявшем в добром километре от комбината. Вечер был морозный, вьюжный.

По коридору, навстречу Курбатову, взлохмаченный, в накинута на плечи полушубке, шел Сачков — зав. агитпроп парткома. Щуря подслеповатые глаза, он остановился перед Курбатовым и растерянно развел руками:

— Вот.. Опять занятия срываются...

Курбатов толкнул ближайшую дверь, вошел в комнату. Здесь было холодно. Посредине комнаты, будто там было теплей, одиноко сидел человек в засаленном ватнике. Курбатов узнал Мелентьева:

— Здравствуй, дядя Ваня. Ты что же один сидишь?

— Тебя дожидаясь, садись, второй будешь. Наш полит-стоп, как всегда, опаздывает.

— Кто? Как ты сказал? — не понял Курбатов.

— Полит-стоп, говорю, опаздывает... Чего же тут непонятного?

— Это почему же «полит-стоп»? — еле сдерживая смех, спросил Курбатов, уже предчувствуя, что сейчас Мелентьев, разозлившись, «пойдет чесать». Так оно и получилось.

Мелентьев, язвительно поджимая губы, отчеканил:

— Да так вот, Яша, и получается, что истинный он «полит-стоп». Второй год занимаюсь, а всё дальше Пражской конференции не можем пройти. Как придет, разложит свои книжки на столе и начнет по ним дуть. Дует и дует, как с амвона. Ему нипочем, интересно нам или нет. А то еще такие слова начнет загибать, аж в брюхе заурчит. И говорит-то всё на одной ноте, как пономарь. Но это бы всё ничего. А вот спрошу я тебя: должны мы знать, что сегодня в партии да в стране делается? Вот я тебе пример приведу: работаю я тут как-то, и подходит ко мне Тойво Киуру. Ты знаешь его — молчун, а ядовитый, между прочим, старик. Вот, подходит да с подковыркой и спрашивает: «А скажи, говорит, Иван, как это понимать надо: не было у нас колхозов — и продкарточек не было, а стали колхозы — и карточки появились?» Меня, понимаешь, аж в потшибануло. Не ответить нельзя, коммунист я, ответственность свою чувствую. Ну, конечно, ответил, как в газете прочитал. А он, дьявол старый, только хмыкнул и отошел. Вот я этот вопрос и задал нашему полит-стопу... Так знаешь, что он мне ответил? «Это, говорит, к истории партии отношения не имеет, а потому я вам и не отвечу». Так ведь, собачий сын, и не разъяснил, что к чему. Не-ком-пен-тен-тен, мол, говорит, — пойми, как хочешь.

Курбатов спросил присевшего рядом Сачкова:

— Кто здесь руководитель?

— Снежков, — тихим голосом, чувствуя грозу, ответил тот.

— Снежков? Из ОРСа?!

Мелентьев, нахлобучив шапку, буркнул:

— Ну, я пойду, до свиданьица! — и вышел.

Курбатов молчал, молчал и Сачков. Наконец, совершенно нескиданно для себя самого, Курбатов грохнул кулаком по столу:

— У вас здесь не учеба, а... черт знает что такое! Надо же додуматься: Снежкова поставить учить людей! Ох, Сачков, Сачков, плохо вы людей знаете.

— А где их взять-то? — уныло спросил Сачков. — Чухалин ведь преподавать не будет... Булгаков, Княт не станут преподавать, да и вы сами...

— Разве вы к Княту обращались? К Булгакову обращались? Как раз его надо поставить на это дело в первую очередь. И Снежкова посадить заниматься в его группу. Ну, буду и я вести группу; придется потесниться с временем.

— А с директором, значит, вы сами поговорите, — сразу повеселев, сказал Сачков.

Курбатов задумался, а потом потрянул головой:

— Нет. С ним я говорить не буду... Он занят.

13

Красный уголок цеха всё больше наполнялся комсомольцами. Курбатов сел между колоннами, желая остаться незамеченным. Комсомольцы сидели небольшими группами, шутили, смеялись, кто-то попробовал затянуть новую песню «О встречном».

В этом шумевшем вокруг него потоке голосов Курбатов почувствовал себя совсем молодым. Он вспомнил комсомольские собрания времен гражданской войны. И тогда всё было так же, только песни были другие... Тогда молодежь пела:

Слушай, рабочий, война начинается,
Вновь на Советы буржуй собирается...
Смело мы в бой пойдем
За власть родную
И, как один, прольем
Кровь молодую...

Потом появилась боевая песня о паровозе, который летит вперед и остановится, только достигнув коммуны. Потом — «Молодая гвардия» и другие хорошие, зажигающие сердца, песни... И невольно, сам того не заметив, Курбатов начал подтягивать. Потом, увлекшись, запел громче:

Не спи, вставай, кудрявая,
В цехах звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня...

Посмотрев на Курбатова, комсомольцы запели еще задорнее.

На возвышении, где должен был находиться президиум, уже сидел присланный из горкома комсомола докладчик — паренек в больших роговых очках.

Открыл собрание Тимонин — секретарь цеховой комсомольской ячейки, высокий, плечистый парень с серыми навывкат глазами и резкими, угловатыми движениями.

— Сегодня, товарищи, мы обсуждаем вопрос о новом быте. Идя навстречу вашим пожеланиям, я обратился в горком комсомола, и нам прислали докладчика по этому важному вопросу. Для начала надо избрать президиум. Прошу, товарищи.

После выбора президиума несколько обескураженный Тимонин вернулся в зал и сел на прежнее место, — его не выбрали.

Между тем докладчик, то и дело поправляя очки, уже начал читать заранее написанный доклад. Среди комсомольцев послышался шепот:

— Ну и шпарит, что тебе дьячок...

Курбатов, как ни старался, так и не смог сосредоточиться на докладе. Это был не доклад, а набор цитат, общеизвестных положений, скучных поучений — плод канцелярского творчества, без единого житейского примера или факта. Курбатов невольно вспомнил слово, которое впервые услышал от Мелентьева: «полит-стоп». Да, и этот докладчик, похоже, из того разряда. Наконец, юноша, вытирая платком тонкую шею, сел на место и, протерев очки, стал снова перелистывать свой доклад. Несколько записок с вопросами лежало перед ним. Председатель собрания Коля Пушкин настойчиво

просил ребят записываться в прения. Но выступать никто не хотел.

— Как же так, ребята!.. Давайте же записывайтесь! Может, ты, Игонькин, хочешь? — спросил Пушкин сидевшего в первом ряду белобрысого, вихрастого парня с задорным огоньком в глазах.

— Да чего тут говорить-то, — махнул рукой Игонькин.

— Верно, ребята, — с места поддержала Игонькина девушка-токарь. — После такого доклада и говорить не о чем. Докладчик о новом быте говорил, а ни одного примера из быта нашей молодежи не привел. Всё цитаты да цитаты. А ты, Коля, зря нас уговариваешь: выступать всё равно никто не будет. Пускай лучше докладчик ответит на наши вопросы.

— Верно, верно, пускай сперва ответит, — слышались со всех сторон голоса.

— Ну давайте, что ли, — вяло проговорил Пушкин, обращаясь к докладчику.

Докладчик, не успевший просмотреть записки, встал, развернул одну из них и прочитал вслух. Но едва он начал читать, как собрание дрогнуло от смеха. Кто-то из присутствующих интересовался: «Женат ли докладчик, а если женат, то кто эта дура, что пошла за него замуж?»

Юноша в роговых очках стоял растерянный и близоруко шурился, комкая в руке очередную записку.

Председатель, едва уняв смех, снова предоставил слово докладчику, но тот, щелкнув замком портфеля, вытер большим платком потное, красное лицо и быстро, ни на кого не глядя, ушел с собрания.

И едва за ним закрылась дверь, как собрание загудело, что потревоженный улей. Ругали докладчика и горком комсомола, который его прислал.

— Я так предлагаю, — с места крикнул один из комсомольцев: — довести до сведения горкома комсомола, чтобы больше к нам таких не присылали.

Пушкин звенел стеклянной пробкой графина о стакан, но, казалось, никто его слушать не хочет, а внесший это предложение паренек громко крикнул:

— Кто за мое предложение — прошу поднять руки! Поднялся лес рук.

— Принято единогласно, — звонко заявил паренек и, обращаясь к Коле Пушкину, сказал:

— Ты извини, Коля, я ведь знал, что ты из вежливости будешь жевать резину и только затянешь собрание, а потому и взял твои обязанности на себя.

Снова послышался смех. Теперь уже вспотел Коля Пушкин. Он смущенно смотрел в ту сторону, где за колонной сидел Курбатов, как будто ожидая от него помощи. Но Курбатов не вмешивался в ход собрания, хотя не всё, что здесь происходило, ему нравилось. Он не хотел ненужной опекой стеснять молодежь.

Совершенно неожиданно попросила слова никогда не выступавшая Зина Павлова:

— Дай-ка мне.

— Давай, — сказал председатель.

— Мы все знаем, что сплетня — это пережиток капитализма и она не может жить при коммунизме. А раз наша комсомольская организация стоит в авангарде борьбы за новый быт, то в ней нет места сплетне. Я вам расскажу, как из-за сплетни в нашем цехе любящие муж и жена чуть не разошлись и их ребенок мог остаться без отца. И в этом некоторые из сидящих здесь виноваты. Вон сидит Тимонин — наш цеховой комсомольский секретарь, так он, пожалуй, больше всех виноват в этой грязной сплетне.

— Но-но, ты поосторожней!.. — с места крикнул Тимонин.

— Нет, сегодня я осторожничать не буду. Пускай все об этом знают, — твердо заявила девушка.

— Не тяни резину, выкладывай начистоту, — раздался голоса с места.

— Я и хочу начистоту. Отношения между людьми должны быть ясными и чистыми до конца.

— Зина, ближе к делу! — ударив пробкой о графин, крикнул Пушкин.

— А я уже совсем близко.

— Ну-ну, продолжай, Зина.

— Я прошу вызвать сюда Анатолия Князева — он работает на станке, его жену Риту — она работает на кране и плановика цеха Луканину. Она-то, пожалуй, главная в этом деле.

Председатель, обращаясь к присутствующим, спросил:

— Так как, товарищи?

Послышались голоса:

— Вызвать! Вызвать!

Двое комсомольцев встали с места и вышли из красного уголка.

Все сидели смирно, — чувствовалось: в том, что должно сейчас произойти, заинтересованы все присутствующие. В дверях появились Анатолий Князев, его жена Рита и плановик Луканина — женщина средних лет с беспокойным ястребиным лицом.

Председатель, увидев вошедших, крикнул:

— Продолжай, Зина!

— Месяц назад сижу я на скамеечке в городском парке и читаю книгу. По аллее мимо меня катит голубую колясочку с дочкой Анатолий. Он первый меня увидел и спросил: «Зубришь?» Я отвечаю: Грибоедова «Горе от ума» читаю. «Значит, что скажет княгиня Марья Алексевна?» — Ну да, отвечаю. А он говорит: «Занятный народ жил в прошлом столетии, верно ведь?» Я отвечаю: их бы к нашему комсorghу Тимонину на работу отправить. Он бы этим сплетникам показал, где раки зимуют.

Тимонин покраснел, вскочил с места, с хрипотой в голосе выкрикнул:

— При чем здесь личности? При чем здесь я и Грибоедов?

Снова послышался смех, и какой-то девичий голос с места крикнул:

— Она же о личностях и вопрос ставит.

Зина немного смутилась и, замолкнув на минуту, спросила у председателя:

— Можно?

— Продолжай, — махнул в ее сторону рукой Пушкин.

— И вот, пока я беседовала с Князевым, мимо нас прошла Луканина. Она не остановилась, ничего не сказала, только будто понюхала. На другой день, когда я пришла в цех, то случайно услышала разговор Луканиной в группе работниц: «Зинка и Толька амуры крутят». Это я знаю; она и теперь ходит по цеху да подзуживает: «Бессовестная, мужа у Риты отбивает».

Коля, хмуро глядя на Луканину, спросил ее:

— Может, ты, Луканина, скажешь?

Луканина, надменно оглядев комсомольцев, иронически заметила:

— Где я? Что-то не пойму. Чи вы тут — прокуратура, чи — суд, чи — отделение милиции, чи — школа первой ступени, чи — детский сад?..

Коля Пушкин, не сдержавшись, крикнул Луканиной:

— Не грубите! Давайте по существу! Будете говорить или нет?

Луканина угрюмо и зло ответила:

— И не подумаю, что вы мне... Да ну вас всех к праху, что я вам тут... — Она вышла из красного уголка, сильно хлопнув дверью.

В зале раздались голоса:

— Позор!..

— Вернуть ее!..

— Призвать к порядку!..

Председатель застучал пробкой графина о стакан, призывая к тишине.

— Ну, ты кончила? — спросил Зину Коля Пушкин.

— Нет, не кончила. Пошла я тогда к нему, — показала Зина на Тимонина. — Комсорг цеха, он обязан ведь комсомолке помочь. Заступись, говорю, Миша. Сплетницы проходу не дают. Не виновата я, честное комсомольское. Я же с Виктором давно дружу, а с Анатолием мы просто товарищи, как вот с тобой. «А как я за тебя заступлюсь? — отвечает мне Тимонин. — На чужой роток не накинешь платок. Ты уж сама доказывай свою невиновность». И вот это сказал комсорг!

В зале раздались голоса:

— Черт луковый!..

— Переизбрать!..

Тимонин вскочил с места и с угрозой в голосе крикнул:

— Требую на личности не упираться!..

— А есть ли у тебя личность? Ты сам не лучше Луканиной! — крикнули с места.

— Так я же... — проямлил Тимонин.

— Ладно, молчал бы лучше! — крикнула в лицо ему Зина. — А кто первый Рите об этой грязной сплетне сказал? Тимонин! Вот она здесь присутствует и может подтвердить!

Все зашумели:

— Позор!
— Сплетник, а не секретарь!
— Срочно провести перевыборы!..
— Товарищи! К порядку! Тише, товарищи! Продолжай, Зина! — надрываясь, кричал Пушкин.

— Поверьте, товарищи, я же с Анатолием только в драмкружке на репетиции встречалась. Разве женатый человек не может петь, играть, разве он должен обязательно замкнуться в своей семье? Разве с женатым человеком нельзя разговаривать просто так, по-товарищески?

— Да чего ты оправдываешься. Знаем! — раздались голоса.

— Может, ты, Анатолий, что скажешь? — спросил председатель.

— Нескладно у нас с Ритой получилось... Ей бы отмахнуться, а она поверила. Но потом скоро поняла, что ошиблась. Теперь у нас всё по-прежнему...

— Вот тебе и на! — встав с места, попробовал отшутиться Тимонин. — Пошел по шерсть, а самого остригли. Ну и бесы в юбках, мефистофели.

— Сам ты хуже Мефистофеля, — огрызнулась Зина. — Шутками не отделаешься. Смотри, какую мусть в цехе развел. Ребята, предлагаю записать в протоколе: срочно переизбрать секретаря, поставить о нем вопрос на бюро и записать ему в личное дело строгий выговор за разведение склоки.

— Правильно, так и надо, — зашумели комсомольцы. — Голосуй, председатель!

Допоздна продолжалось собрание. Еще о многом говорили на нем. Досталось и Ване Игонькину за то, что невнимателен к жене.

— Игонькин не понимает, как больно задевает такое отношение, — говорила модельщица Надя Тумаченко. — Он в доме только командует, распоряжается, и ласковых слов у него для жены не находится. А уж о теще и говорить нечего.

— Да ведь теща тоже не сахар! — взорвался Игонькин. — Она меня запечным генералом зовет.

Сказал и тут же прикусил язык, — все так и показались со смеху:

— Ай да теща! Ай да молодец!..

— Здорово: запечный генерал Иван Игонькин!

Потом еще выступали и говорили о поведении комсомольцев на работе и дома. О том, что некоторые из активистов, возвращаясь после работы и переодеваясь в домашнее, оставляют в кармане спецовок не только комсомольские билеты, но и свою комсомольскую душу, свои новые представления о жизни...

— Пора кончать! — крикнул с места Игонькин.

— Ну, раз «запечный генерал» требует, то я голову, — улыбаясь, сказал председатель.

Дружным смехом закончилось комсомольское собрание. Было уже поздно, и все спешили домой.

14

Несмотря на все старания Курбатова, на комбинате по-прежнему плохо было с питанием. В столовых варили какую-то бурду, а по карточкам ударников совсем ничего не выдавали. По предложению Курбатова партком решил срочно послать «в глубинку» Снежкова и поручить ему в месячный срок доставить продукты, заготовленные децентрализованным способом.

Несмотря на жалобные уверения Снежкова, что до вскрытия рек доставить продукты невозможно, партком не посчитался с его мнением и предложил Снежкову выехать завтра же.

— Без продуктов не возвращайся — пошлю обратно, — решительно сказал снабженцу Курбатов и добавил: — и о себе подумай. Советую тебе там оставить лишний жирок, а то он тебя совсем одолеет.

Снежков поехал всё же не один. Он взял с собой двоих агентов по снабжению; это были Гоша и Леша — так их звали все в отделе снабжения.

Гоша — здоровенный детина, легко поднимавший самые тяжелые мешки, в то же время был первостатейным лодырем. Нередко он, уходя из отдела по поручению, заходил домой, спал весь день, а к концу рабочего дня, как ни в чем не бывало, являлся на работу. Он любил отвиливать от любого мало-мальски сложного или хлопотливого дела.

Леша по внешнему виду был прямой противоположностью Гоши. Худосочный, болезненный, он, казалось, сгорал от нетерпения, если какая-либо работа не

была выполнена. Чаще всего получалось так, что сам он ни одной работы не доводил до конца: ее обычно заканчивали другие, а Леша ловко и незаметно присваивал их труды себе. «Начальником бы тебе быть», — не раз с издевкой говаривал Леше старый снабженец Парфеныч. И Леша словно бы гордился этим. Он так уверовал в свои способности, что сумел в конце концов добиться такого положения, когда все сотрудники отдела помогали ему выполнять поручения. Но он делал это так, что сотрудники и сами не замечали, как работали за Лешу.

Вначале полтора-два километра ехали поездом. Ранним утром слезли на маленькой станции. Крепкий морозный утренник посеребрил и инеем стены здания, и заборчик, и ветви деревьев. Под ногами весело похрустывал снежок.

За станцией стояла пара лошадей, покрытых вместо пспон ватными рваными одеялами. Вместительные сани были полны пахучего сена, на котором лежали три тулупа по числу седоков.

Снежков, Гоша и Леша надели тулупы, надвинули поглубже шапки-ушанки и уселись в сани. Возница подоткнул им под бока сено, сел на передок и щелкнул кнутом.

Настоявшиеся на морозе лошади бежали веселой рысцой. Гремел колокольчик на дуге у коренника. Мягким звоном отзывались шоркунцы на шее у пристяжной. Первые лучи восходящего солнца затопили горизонт.

Скоро у Снежкова и Гоши замерзли ноги, — они были в яловых сапогах. Только предусмотрительный Леша надел теплые фетровые бурки с галошами, да еще с двумя парами шерстяных носков. Ему было тепло и удобно в санях, и сейчас он обдумывал сказанные ему Курбатовым слова о том, чтобы не оберегать Снежкова, а создать такие условия, при которых «начальнику» пришлось бы тоже как следует поработать. Леша это намотал себе на ус. Он очень любил, когда за него работали другие. На Гошу он не рассчитывал, а вот на начальника... Леша своего не упустит.

Прибыв в село Синицино, где в амбарах хранились продукты ОРСа, Снежков пошел просить подмоги к председателю колхоза, а потом и в сельсовет. Но кол-

хоз готовился к весне: люди были все наперечет, и их еще не хватало. Крестьяне-единоличники, как их ни упрасивал сам председатель сельсовета, наотрез отказались помогать Снежкову. Единственное, чего Снежков добился от сельсовета, — это разверстки единоличникам вывезти на станцию грузы в порядке гужевой повинности.

Составился обоз из десяти лошадей.

Но когда приступили к погрузке, мужики ни за какие деньги не соглашались в ней участвовать. Снежков сильно рассчитывал на Гошу, однако того нигде не оказалось. «Спит, наверно, подлец, где-нибудь... Это ему так не пройдет!»

Пришлось Снежкову и Леше вдвоем грузить подводы. Но Леша, делая вид, что с трудом приподнимает вместе со Снежковым мешок картошки весом в шестьдесят килограммов, на самом деле только поддерживал мешок.

Хорошо, что помогли возчики обоза, иначе бедный Снежков попал бы в беду.

Весна уже вступала в свои права. Немощенная дорога была покрыта густой грязью, под которой прятались коварные ухабы и не растаявшая еще скользкая наледь.

Документы и доверенность на получение вагонов были выписаны на самого Снежкова, и поэтому начальник ОРСа, оставив Лешу в Синицине, сам вместе с Гошей выехал с обозом на станцию.

Снежков взгромоздился на воз, где лежали мешки с картошкой. Сидеть на мешках было куда как неудобно, особенно на ухабах. Ямщик ворчал, а потом стал ругаться и требовать, чтобы Снежков шел пешком, «а то коням и так тяжело». Вот тут-то и пригодились яловые сапоги, и Снежков, шагая в них по грязи, улыбался, вспомнив фетровые бурки Леша, который шлепал сейчас по размокшим дорогам, заготавливая у крестьян окружающих деревень продовольствие.

А для Гоши всё было нипочем. Его не смогли вывести из равновесия даже сильная взбучка, полученная от начальника, и угроза увольнения. Он сел в телегу, где лежали туши говядины, скоро уснул на мягком сене и просыпался только для того, чтобы перекусить и выпить стакан чаю.

После первой кормежки лошадей возчики, злые на то, что им выпала гужевая повинность, опять заявили Снежкову, чтобы он, «отъевшийся боров», не на возу сидел, а шагал вместе с ними за возом. Отшагать десятки верст, да еще по раскисшей, грязной дороге, не такое уж приятное дело, и надо полагать, что Снежков от этого большого удовольствия не получил. Но и отступить было некуда. Он твердо помнил решение парткома и крутой разговор с Курбатовым. Дай бог уложиться в месячный срок! «Ничего, уложусь, — говорил себе Снежков. — Я им нос утру! Я им покажу!..»

Шагал за обозом Снежков и, улыбаясь про себя, вспоминал, как прошлым летом был в санатории в Кисловодске. Держали его там на строгой диете, заставляли ходить по горам, по лечебной тропе, в зале механотерапии садился он на механического верблюда и полчаса трясся на нем, обливаясь потом. А итог всего этого — похудел на пять килограммов! Разве можно сравнить с санаторием вот эту командировку «в глубинку»!

Отгрузив на станции продукты, обоз порожняком возвратился в Синицино; только на одной телеге были нагружены кули соли для местного сельпо. На порожней телеге трясло неизмеримо сильнее, чем когда-то трясло Снежкова на верблюде. Гошу Снежков оставил на станции для приемки обоза и подготовки к погрузке вагонов.

После трех рейсов на станции у Снежкова скопилось около двухсот тонн продовольствия. Но ликовать еще было рано, не так-то легко было найти грузчиков! Хотя Леша и Гоша под конец и старались угодить начальнику, но Снежкову пришлось самому бегать отыскивать людей и опять участвовать в погрузке.

И всё же, как бы там ни было, продукты были в конце концов отгружены, и Снежков выполнил задание парткома.

Правда, после возвращения домой начальник ОРСа несколько дней ходил мрачнее грозовой тучи, стремясь найти повод, чтобы излить свою злость и раздражение. И «жертва» была найдена. Прodelки Гоши во время поездки на этот раз не прошли ему даром. Снежков решил освободить его от служебных обязанностей.

Однажды, перед окончанием рабочего дня, к Чухалину пришел молодой юрист комбината Семенков и попросил уделить ему «несколько минут внимания». Усевшись перед столом директора на кончик кресла, теребя и перебирая в руках потертую и обсыпанную перхотью шляпу, Семенков стал рассказывать Чухалину о том, что на комбинате имеется вредительство и что вредителями, которых пока ему удалось обнаружить, являются Белкина — статистик цеха и два молодых парня — Игонькин и Хлопов. В доказательство Семенков привел такие факты: Белкина преднамеренно в обеденный перерыв «забыла» выключить электрочайник, вода (если она там была) вся выкипела и уже загорелся стол, где стоял чайник. Если бы он, Семенков, случайно в это время не заглянул в красный уголок цеха, то неизбежно возник бы на комбинате пожар.

Чухалин, не скрывая своей заинтересованности, внимательно слушал нового сотрудника, с которым до этого дня почти не встречался.

Семенков явился на комбинат всего три месяца назад. Окончив в прошлом году Московский юридический институт, он пристроился в Москве помощником юрисконсульта в одном машиностроительном главке.

Угрюмый и замкнутый, он производил впечатление обиженного жизнью человека. Но кто его обидел или что испортило жизнь этому молодому человеку — этого никому не удалось узнать.

Семенкова раздражали чужие успехи, он воспринимал их чуть ли не как личное оскорбление. Его не радовали веселый смех людей, счастливая улыбка. Сам внутренне бессильный и равнодушный к своей работе, да и вообще к чьей бы то ни было работе, он ненавидел тех, кто отдавал ей все силы, кто добивался своего и побеждал.

Как-то раз, не стерпев какой-то обиды, он сочинил анонимное письмо с клеветой на одного из руководителей главка. После этого, почувствовав свою безнаказанность, он стал систематически сочинять подобного рода письма. Комиссии из наркомата стали появляться чуть ли не каждую неделю, но проверка фактов не под-

тверждала того, что было написано в анонимных письмах Семенова.

И вот настало время, когда клеветник почувствовал, что нужно уйти и скрыться от опасности разоблачения.

Так Семенов оказался не у дел. Но он не растерялся. Попытки поступить на работу в Москве не увенчались успехом, тогда Семенов написал письмо в Новгород своему дяде — главному инженеру небольшой фабрики фотопленки Сорину. Тот имел обширные связи. И вот, по его рекомендации, Семенов очутился в должности юрисконсульта комбината, директором которого был Чухалин...

Видя возрастающий интерес, с которым слушал его директор, Семенов стал говорить смелее:

— В анкете Белкина пишет, что она воспитывалась в детском доме. Это, конечно, верно. Но знаете, как она попала в детский дом? Во-первых, она дочь царского офицера. Мать ее погибла при крушении поезда. Двухлетнюю Белкину взяла на воспитание ее тетя. Муж этой тети служил в тресте, которым руководил оппозиционер. Значит, понимаете, Григорий Михайлович, откуда идут нити?

— Ну, а что вы скажете о других вредителях? — перебил посетителя Чухалин, ибо ему показался малозначительным приведенный Семеновым факт.

— Я не всё еще сказал... Токарь Иван Игонькин сунул тряпку в шестерню своего импортного станка. Коробка скоростей сразу вышла из строя. Он знал, что делает. Вот мне еще не удалось установить, кто насыпал песок в подшипник расточного станка, сам Хлопов или Белкина. И этот станок вышел из строя! — Тут Семенов потянулся через стол к Чухалину и, озираясь на дверь, зашептал: — Всё это не просто. Приглядитесь-ка лучше к вашему главному инженеру Кияту. Когда я ему рассказал о Белкиной, он мне ответил, что я «устраиваю панику». Вам, конечно, известно, что по анкете Кият эстонец. А может, у него и сейчас есть родные в Эстонии...

После ухода Семенова Чухалин немедленно позвонил Курбатову «по неотложному вопросу» и, как только Курбатов пришел, с самым серьезным видом во всех подробностях передал ему рассказ юриста.

— Ну, как ты, Яша, ко всему этому относишься?

— По-моему, ерунда всё это, Григорий Михайлович, — сказал Курбатов после небольшой паузы. — Ничего не доказано.

— Ерунда, говоришь! — закричал Чухалин. — Эх вы, молодые, много знать стали, классовую бдительность потеряли. Забыли про «шахтинское дело»! Забыли про то, что в стране делается! Завтра же поедем с тобой в обком партии к Данилову. Он-то тебе мозги вправит...

— Зачем нам ехать, Григорий Михайлович? Данилов сам завтра приезжает к нам. Недавно звонил...

Чухалин подозрительно посмотрел на Курбатова и повернулся к нему боком, давая понять, что разговор окончен.

Курбатов пожал плечами, вздохнул и вышел из кабинета.

16

Совершенно неожиданно в область приехал секретарь крайкома Баранов. Вообще-то он не очень любил покидать свой кабинет, не часто посещал «периферию», как он называл заводы, новостройки, колхозы. Баранов считал это делом инструкторов, «аппаратчиков». Сам же с охотой и даже с некоторым увлечением проводил совещания секретарей райкомов, председателей райисполкомов и вообще работников «периферии», на которых, как он говорил, мог «загнуть речугу», а если надо, то и «дать накачку» тем, у кого плохо идет дело. Он был ревностным сторонником посылки в район «уполномоченных», вернее «толкачей». Баранов сам инструктировал «уполномоченных» перед их поездкой и собирал их снова после возвращения.

Секретарь крайкома приехал в область неспроста; за последнее время крайком получил несколько анонимных писем.

Сразу же по приезде Баранов осторожно расспросил Данилова. К мнению Данилова он прислушивался больше, чем к мнению других секретарей обкомов (а крайкому подчинялись четыре большие области). Данилов был старым большевиком, когда-то учился в партийной школе у Ленина (под Парижем в Лонжюмо), Данилова лично знали многие руководители Центрального Коми-

тета партии. В частности, Баранову была известна дружба Данилова с Серго Орджоникидзе.

Баранов дал прочитать Данилову анонимные письма:

— Прочтите, скажите свое мнение и дайте указание зобрать совещание секретарей райкомов партии. Я буду проводить это совещание.

Данилов внимательно прочитал письма и раздумчиво сказал:

— У нас в обкоме такие письма тоже есть. Похоже, что писал их и нам и вам один человек. А я, товарищ Баранов, думаю, что совещание секретарей райкомов проводить преждевременно. Да и о чем, собственно, на нем говорить? Всё это еще проверить надо... Да, проверка нужна.

— Ну, а ты-то сам как относишься к фактам вредительства? — спросил Баранов, быстро взглянув на Данилова.

— Если ты говоришь о фактах, сообщаемых в письмах, то, откровенно скажу, я в них не верю. Тут скорее другое — наша техническая отсталость, техническая неграмотность рабочих, которые еще не освоили новой заграничной техники. Я вот сегодня в Новогорск еду на комбинат: хочу сам разобраться. Поедем со мной. Вместе убедимся. Если подтвердится, тогда я тебе и секретарей райкомов созову. Выступай, громи их..

Баранов ничего не мог придумать, чтобы отклонить предложение Данилова, хотя такая поездка его совсем не устраивала. Отказаться от нее было тоже неудобно, и Баранов поехал.

17

В полдень «газик» Данилова пробежал по главной улице Новогорска и остановился у старого здания заводоуправления. Данилов вместе с Барановым вошел в кабинет секретаря парткома.

— Ну вот и приехали!.. — пробасил Данилов, протягивая руку Курбатову. — Что же, пойдем в цех, показывай свои импортные станки. Из каких заморских стран вы их получили?

— Эти станки из Германии, Алексей Николаевич. Но подождите, я хочу вам рассказать об одном неотложном деле... Разденьтесь.

Данилов снял свой помятый парусиновый плащ и, тяжело опустившись в кресло, приготовился слушать. Баранов сел напротив, положив шляпу на столик перед собой.

Курбатов, волнуясь, передал Данилову вчерашний разговор с Чухалиным о «вредителях». Когда он кончил говорить, Данилов резко встал и, заложив руки за спину (жест, который остался у него со времени, когда он сидел в царской тюрьме по делу об участии в большевистской боевой дружине), быстро начал ходить по кабинету.

Лицо его краснело. Многие знали, что лучше не попадаться в такой момент на глаза секретарю обкома.

Внезапно Данилов остановился перед Курбатовым и сурово сказал:

— Вызывай сюда Чухалина и этих ваших «вредителей».

— Мне кажется, Алексей Николаевич, вы много на себя берете, — жестким голосом заметил Баранов. — С вредителями должны разговаривать в другом месте.

Но Данилов был невозмутим. Он сделал вид, что не слышал замечания Баранова, и молча продолжал ходить по кабинету.

Вскоре в кабинет тихо вошел Чухалин и осторожно, чтобы не скрипнули пружины, сел сзади Баранова.

— Я всё знаю, — обратился вдруг Данилов к Чухалину. — Знаю, что вместо освоения новой техники вы тут выискиванием «вредителей» занимаетесь.

Чухалин хотел что-то ответить, но Данилов уже повернулся в сторону Курбатова:

— Ну, а ты, секретарь, скажи: сколько на комбинате коммунистов и комсомольцев учится на технических курсах и в технических кружках?

Курбатов почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу: с технической учебой на комбинате обстояло плохо.

— Ну что же ты молчишь? Сколько коммунистов в парторганизации?

— Тысяча четыреста семьдесят, — ответил Курбатов.

— Сколько их на производстве работает?

— Тысяча сто тридцать.

— Так. А в технических кружках сколько?

Пауза была томительна. Курбатов чувствовал, что краснеет.

— Не знаешь, значит? Хорошо. Ничего не скажешь, хорошо!.. Ну, а ты-то, старый большевик, «красный директор», ты-то о чем думаешь? «Вредителей» ищешь? Не узнать тебя, отстал, отстал ты, старик... А Кият где? — спросил Данилов.

— Он сейчас придет. Вы же сами велели его вызывать...

— Ах да! Ведь и он «вредитель». Эх, старик, старик, чертова перечница... Кията во вредители записал... Человека не раскусил. И в анонимном письме какой-то подлец об этом же обкому пишет.

— Крайком тоже об этом имеет сведения, — холодно заметил Баранов.

В это время дверь открылась и в кабинет вошел Кият.

— Так! «Вредитель» номер один, — показывая пальцем на Кията, весело засмеялся Данилов. Ничего не появивший Кият покраснел.

— Вредитель, а краснеешь... Вредитель должен иметь наглый, этакий зверский вид, а ты... А впрочем, и верно, вредитель ты, Кият, настоящий. Почему на комбинате плохо поставлена техническая учеба, почему рабочие ломают заграничную технику, за которую страна платила нашим советским золотом? А ну-ка, Курбатов, посмотри, может там и другие вредители подошли, зови их сюда.

Курбатов открыл дверь и позвал в кабинет Надю Белкину, Ваню Игонькина и Федю Хлопова. Все трое перешагнули порог кабинета и остановились у дверей.

Данилов внимательно посмотрел на вошедших.

— Эти? — показывая пальцем и сдерживая смех, сказал он.

У Баранова застыла на лице глуповатая, натянутая улыбка.

— Ты почему чайник не выключила? Пожар хотела устроить? — спросил Данилов у Нади Белкиной голосом, каким разговаривают взрослые с провинившимися детьми.

Девушка вздрогнула и с испугом посмотрела на Данилова. Почувствовав, что этот, видимо, добрый чело-

век не хочет ей зла, она, подавив готовые вырваться слезы, ответила:

— Так я же не нарочно. Забыла выключить...

— Почему забыла? — спросил Данилов.

— Так в контору срочно вызвали; думала, скоро вернусь, но задержали там.

— Понятно... А тебя как, хлопчик, зовут? — спросил Данилов у Вани Игонькина.

Ваня, отбросив со лба волосы, без запинки ответил:

— Игонькин Иван Петрович!

— Зачем же ты, Иван Петрович, тряпку в коробку скоростей сунул? Из-за этого у станка, за который мы буржуйам золотом заплатили, зубья полетели. Станок встал, и ты тоже на простое, заработок теряешь. Инструктировали тебя, как надо с этим станком обращаться?

— Н-н-нет, — запинаясь и уже с тревогой в голосе ответил Игонькин. — Поставили к станку и сказали: работай. А тряпка — она случайно попала. Положил ее на кожух коробки скоростей, а тут вибрация, ну, тряпка сползла с кожуха и попала в шестерню.

— Вот тебе еще вредитель, — обращаясь к Чухалину, сказал Данилов. — А тебя, Кият, за это надо бы с песочком протереть. Ты главный инженер или не ты?

— Я, конечно, Алексей Николаевич, — отчетливо проговорил Кият. — Моя вина.

Данилов несколько раз прошелся по кабинету и, остановившись против Федя Хлопова, старавшегося принять независимый вид, спросил:

— Ну, а тебя, хлопчик, как звать?

— Федя Хлопов, — потупив глаза, ответил парень.

— Так что же это ты, Федя, делаешь? Сам в подшипник песку подсыпал или кто другой?

— Я не сыпал, — угрюмо ответил Хлопов.

— А как же песок в подшипник попал?

— А вместе с маслом, с олеонафтом...

— То есть как это так? — заинтересовавшись, живо спросил Данилов.

— Бочка олеонафта в цехе стоит открытая. Из нее мы в масленки масло для смазки набираем, а после работы в бочке маслом грязные руки отмываем. Ну, старые-то станки мы смазывали этим маслом, и ничего, а этот, новый, капризный оказался.

— Ну, хватит. Вы, хлопчики, идите к себе в цех, работайте. И ты, девушка, иди. Но смотрите, за новой техникой ухаживайте лучше. На курсах надо бы вам подучиться.

— Так их же нет у нас! — воскликнул Игонькин.

— Кият, слышишь? Это тебя касается, — строго сказал Данилов.

— Слышу, Алексей Николаевич.

По-прежнему заложив руки за спину и остановившись на середине комнаты, Данилов окинул присутствующих взглядом и, стараясь быть спокойным, заговорил:

— Видели? Похожи они на вредителей. Григорий Михайлович? Плохо своих людей знаете. Нашли вредителя Надю Белкину! Да ей еще дома в куклы играть надо!

— А «шахтинское дело», а «промпартия»? — подал голос Чухалин.

— Эх, Чухалин... Помню, мы с тобой в одной камере в Бутырьках сидели. Думал я тогда, что ты хороший большевик, политически грамотный, начитанный. Понимаешь ли ты, что «шахтинское дело» и «промпартия» связаны с враждебной нам частью старой буржуазной интеллигенции? Да и времена другие теперь... Тебя партия «красным директором» сделала, а ты подхалимами себя окружил. С партийной организацией перестал считаться. Критику зажимаешь... «Вредительство, вредительство, вредительство», — все помешались на этом. А есть ли оно, это вредительство, в тех размерах, в которых некоторым паникерам представляется? Не бывает ли так, что нашу техническую отсталость и многие ошибки и недостатки мы часто принимаем за вредительство?

Баранов сурово и осуждающе посмотрел на Данилова; не удержавшись, скрипучим голосом заметил:

— Это только ты так думаешь, Алексей Николаевич. Мы в крайкое не по-твоему думаем.

Однако Данилов был по-прежнему невозмутим, он и на сей раз не изменил своей привычке высказывать всё начистоту:

— Ну конечно, вредители могут быть, и порох надо держать сухим. Но не надо голову терять. Клеветникам это на руку. И своих, честных людей нельзя давать

в обиду скрытым врагам... Сейчас перед партией стоит важная задача. Наши заводы получили новую технику. Ее надо быстро освоить и выжать из нее всё, что она может дать. Начинать эту работу надо с коммунистов и комсомольцев. Они должны идти в авангарде этой большой и важной для партии работы, они должны овладеть новой техникой; это не громкий лозунг, не пустые слова. — Данилов замолчал, налил из графина воды, выпил и посмотрел на Баранова, на Курбатова и Чухалина.

— Слышишь ты, Курбатов, и ты, Чухалин, вся работа партийной организации должна быть подчинена этой главной задаче. Надо повышать авангардную роль коммунистов и комсомольцев в борьбе за быстрое овладение новой техникой. — Данилов посмотрел на Кията: — Ты, Кият, главный инженер. Ты получил образование в наше, советское время. Ты сам из рабочих. Я думаю, ты понял уже, что надо делать практически. Нужны технические курсы, кружки, инструктаж, технические кабинеты, лекции, плакаты. Впрочем, — он вынул из кармана записную книжку и сделал в ней какую-то пометку, — через месяц позвони мне или приезжай — расскажешь, что сделано. Понятно?

— Понятно, Алексей Николаевич! — тяжело вздохнув, ответил Кият.

Данилов посмотрел на часы и надел свой помятый, выгоревший парусиновый плащ.

Баранов тоже встал, надел шляпу.

— Ну, бывайте! Работайте дружно. — И секретарь обкома, пропустив вперед Баранова, вышел из кабинета.

18

Как всегда после приезда Данилова, у Курбатова поднялось настроение, появилась особая жажда деятельности. Сейчас Курбатову было совершенно ясно, на что нужно направить усилия партийной организации.

Дав Кияту время справиться с неотложными делами, он во второй половине дня вместе с ним принялся намечать план работы парторганизации на ближайшее время.

Неожиданно зазвонил телефон. Курбатов снял трубку

и стал слушать. По тому, как он изменился в лице, вытер ладонью выступивший на лбу пот, можно было судить о крайне неприятном характере разговора. Под конец разговора он сказал только одну фразу:

— Прошу вас до завтрашнего дня ничего не предпринимать. Да... Да... Спасибо.

— Кто это звонил? Что с тобой? — встревожился Кият.

— Звонили из ГПУ... Хотят арестовать Надю Белкину. Чудно как-то всё получается! Данилов говорит одно, а эти действуют по-другому. — Курбатов замолчал, отсутствующим взглядом смотрел на Кията, как будто не узнавая его.

— Тут, верно, не обошлось без Баранова. И что ему больше всех надо?.. — Помолчав, Кият добавил: — Неужели мы отдадим им Надю Белкину?

Курбатов позвонил в цех и попросил срочно прислать к нему Белкину. Потом он позвонил в комитет комсомола, попросил, чтобы принесли ему оформленный бланк направления на развертывающееся строительство большого металлургического завода. Через несколько минут такой бланк лежал у него на столе.

Пугливо озираясь, в кабинет вошла Надя Белкина. Курбатов вышел из-за стола и сел против нее на стул.

С тревогой в глазах Надя, как большой ребенок, смотрела на него.

Курбатов решил действовать сразу:

— Вот что, Надя... Тебе, девочка, по некоторым причинам, оставаться на комбинате и в Новогорске нельзя.

Еще больший испуг отразился в заблестевших влажной глазах Нади.

— Ты одна ведь здесь живешь? Да?

— Да, — тихо ответила Надя.

— Ты знаешь, что такое Магнитострой?

— Знаю. Подруга моя там работает.

— Подруга? Совсем хорошо! Вот тебе, Надя, комсомольская путевка. Ты иди получай расчет... Валька, у тебя при себе деньги есть? — спросил Курбатов у Кията.

— Конечно есть. Сколько?

— Рублей двести...

Кият вынул из бумажника деньги и протянул их Курбатову. Курбатов из своего бумажника вынул триста рублей и, подавая деньги Белкиной, проговорил:

— Возьми, Надя... На первое время тебе хватит, а там заработаешь. Поезд отходит в девять вечера. Обязательно поезжай с ним. Собраться успеешь. Непременно уезжай сегодня же, слышишь!

Надя взяла путевку, деньги, благодарно взглянула на Курбатова, крепко пожала ему и Кияту руки и пошла к двери. От дверей она крикнула:

— Деньги эти я в долг взяла! При первой возможности я их вышлю. До свидания!

Оставшись одни, Курбатов и Кият помолчали, потом Кият спросил:

— А не занимаемся ли мы самообманом? Захотят, ведь Белкину и там найдут.

— Да, но это всё, что можно сделать. Надо только еще о нашем поступке Данилова в известность поставить... Я завтра в обком поеду... Ну ладно... Давай теперь вернемся к нашим делам.

19

На собрании обсуждался самоотчет члена ВЛКСМ — начальника литейного цеха Милёнкина.

Маленького роста, черный как жук, с тоненькими усиками и дерзким взглядом, стоял Милёнкин на трибуне комсомольского собрания. Стоял и молчал.

Милёнкин окончил в прошлом году институт и был направлен на Новогорский машиностроительный комбинат.

Начальником литейного цеха до него работал всеми уважаемый человек — Николай Иванович Озеров. Литейным делом он начал заниматься еще с детского возраста, когда по окончании церковноприходской школы, двенадцати лет от роду, пришел работать в цех. Золотые руки Николая Ивановича ценили еще в дореволюционное время. Немало труда он потратил на то, чтобы после гражданской войны восстановить и наладить работу цеха.

Но вот приехал на комбинат юнец Милёнкин с дипломом инженера, и, несмотря на возражения Алешина, Кията и даже Булгакова, Чухалин назначил его начальником литейного цеха, а Николая Ивановича Озерова оставил в том же цехе начальником отдела

технического контроля. Хоть и обиделся старый мастер, но ни слова не сказал и приступил к новой работе...

— Ну, что же вы, начинайте свой самоотчет, — обратился к Милёнкину председатель собрания Мелентьев.

— Я не знаю, о чем говорить, — резко ответил Милёнкин.

— А ты, Милёнкин, расскажи всем, за счет чего ты выполняешь план цеха? Почему наши цехи из-за отсутствия литья часто стоят на простое и нас за это на «рака» посадили, а ты вон на «самолете» летишь? И почему это на улице навалена груда никому не нужного литья? Почему ты металл зря переводишь? Вот собрание об этом и хочет послушать...

— Если бы у меня был такой миленок, как этот Милёнкин, уж я бы его растормошила! — крикнула с места какая-то озорная комсомолка. Все весело засмеялись. Послышались новые реплики. Но Милёнкин по-прежнему молчал, вытирая платком лицо и вздыхая. Снова, стараясь говорить мягче, председатель спросил Милёнкина:

— Чего молчишь, как рыба? Ну говори же!

Комсомолка-шишельница из литейного цеха с места задала Милёнкину вопрос:

— Почему это вы, не зная дела, в начальники полезли? Почему дядю Колю из-за вас обидели?..

— Товарищи! Поймите, ведь не я снимал начальника цеха, — наконец прервал молчание Милёнкин. — Я за Чухалина отвечать не могу.

— Зачем нам Чухалин, ты сам отвечай, — слышались голоса.

— За себя отвечай. Ты почему сам не отказался, когда тебя назначали?

— Потому, что у меня диплом. Потому, что меня учили, потому, что у меня есть знания, которых нет у товарища Озерова.

— А почему плохо работаешь, если есть знания?

Милёнкин волновался. Разговор задевал его за живое. Он ехал на завод окрыленный, полный дерзаний, мечтал показать высокий класс работы, как и полагается молодому инженеру. А вместо этого — ежедневные неурядицы, неполадки, а теперь еще это собрание.

— Критиковать каждый может, — продолжал Милёнкин. — Выполняем план, а всё не так: «Почему мелкого литья не хватает, почему цехи простаивают?» А если бы вы знали, с каким трудом и этого удалось добиться! Требовать-то легко!

— Легко, говоришь? — поднялся со своего места Федя Хлопов. — Скажи тогда, как же при Николае Ивановиче получалось? И вы план выполняли, и другие цехи из-за вас не страдали!

— Я так предлагаю, — вскочил со своего места Ваня Игонькин: — надо снять с начальников Милёнкина и вернуть на место Николая Ивановича.

— Верно! Правильно! — слышались голоса.

— Обязать Чухалина: пусть освобождает Милёнкина и назначает Озерова.

Бурный поток собрания явно сбивался с правильного пути. Мелентьев поднялся:

— Я так думаю, ребята: не следует нам вмешиваться в оперативные дела директора. Ведь на комбинате он единоначальник. Я предлагаю обратиться к парткому. Вон сидит товарищ Курбатов, мы его и будем просить, чтобы этот вопрос обсудили на парткоме. Записать в нашем решении я так предлагаю: просить партийный комитет обсудить положение в литейном цехе, а также навести порядок в вопросе о том, как на комбинате выдвигаются кадры.

— Ставлю предложение товарища Мелентьева на голосование, — сказал один из членов президиума.

— Чего там голосовать! Не надо... Все согласны, — слышались реплики с мест.

— Вот еще, — встал Хлопов. — Насчет Милёнкина скажу: пусть еще подучится. Надо вернуть Озерова, а Милёнкина сделать его заместителем. А потом, когда он подучится, видно будет...

— Дайте мне слово! — крикнул комсомолец юрист Семенков.

— Пожалуйста, — сказал председатель и сел.

Семенков, протирая очки, шел к трибуне. В зале стало тихо. Семенков надел очки, посмотрел на сидевших в зале комсомольцев:

— Мне показалось, что я присутствую на таком собрании, какие проводились десять лет назад, когда сильно было развито спеедство. Ничем другим, как спее-

едством, нельзя объяснить отношение комсомольцев к молодому специалисту товарищу Милёнкину. Да, да, на этом собрании жертвой давно осужденного партией спецедействия является молодой инженер товарищ Милёнкин. Странно, что травле Милёнкина не препятствуют секретарь парткома Курбатов и член парткома Мелентьев. Но вы, товарищ Милёнкин, не теряйтесь, не отчаивайтесь. Вы найдете себе авторитетную защиту у людей, которые могут отменить любое неправильное решение и могут осудить подобные факты спецедействия. И это говорю вам я, юрист комбината Семенов...

Под недоброжелательные возгласы с мест Семенов покинул трибуну. Шум в зале не стихал. Пришлось председателю снова стучать пробкой графина о пустой стакан. Наконец председатель получил возможность говорить:

— Товарищи, мне кажется, что Семенов не внес здесь другого предложения по существу обсуждаемого вопроса. А поэтому у нас имеется одно-единственное предложение. Будем мы его обсуждать?

— Нет. Хватит!.. Ставь на голосование, — ответило несколько голосов.

— Голосую, товарищи. Кто против? — Принято единогласно. Переходим к следующему пункту повестки дня: прием в комсомол. Слово по этому вопросу предоставляется секретарю Коле Пушкину.

20

Члены парткома уже все собрались, однако Курбатов не открывал заседания, — не пришел еще директор. После переезда парткома Чухалин хотя и приходил на заседания («хлебал за семь верст киселя», как он говорил), но каждый раз считал своим долгом опаздывать. Директор отлично знал, что его поведение возмущает остальных членов парткома, но это его, видимо, не смущало. Вот и сейчас по его адресу послышались неласковые реплики:

— Опять наш барин опаздывает.

— Ему «не по носу табак» вылезать из своего кабинета.

— А верно ли, Яков Васильевич, что Чухалин пред-

лагал заседания парткома проводить в его кабинете? — спросил сталевар Ширшов.

— Так он же при всех это говорил, — ответил Мелентьев. — А ну его к праху! — воскликнул он. — Давай открывай заседание, Яков...

Мелентьев не успел договорить, как в дверях показалась голая, как колено, голова Чухалина.

Поздоровавшись, Чухалин удобно уселся в кресло у председательского стола и спокойным взглядом окинул присутствующих.

Курбатов открыл заседание. После того как было покончено с делами, указанными в повестке дня, он перешел к вопросу, который его сейчас больше волновал: прочитал постановление комсомольского собрания, просившего партком «обсудить вопрос о положении в литейном цехе».

До заседания парткома произошло еще одно немаловажное событие. Комсомольцы комбината преподнесли литейному цеху в качестве «премии»... крокодила. Сделанный из мешковины и фанеры, густо покрашенный зеленой масляной краской, крокодил был поставлен в литейном цехе на самом видном месте. Он стоял на задних лапах прямо против конторки начальника цеха, ощерив на нее свою страшную красную пасть. Простояв два дня, — возле него перебывали все рабочие цеха, — крокодил пропал. Комсомольцы обыскали весь цех, искали его даже в других цехах, но крокодил пропал бесследно. И только на третий день удалось узнать, что по приказу Чухалина его бросили в топку. Возмущенные комсомольцы гурьбой пришли в партком к Курбатову и пожаловались на директора.

Обсуждение вопроса о положении в литейном цехе Курбатов решил начать с исчезновения крокодила. Стараясь говорить спокойно, он спросил Чухалина:

— Скажите, почему вы отдали распоряжение сжечь крокодила?

— Я отдал такое распоряжение потому, что не позволю подрывать авторитет молодого специалиста, только что пришедшего на производство.

— Ну, авторитет, положим, поддерживается результатами работы, а не подобными методами защиты, — ответил Курбатов. — Комсомольцы преподнесли цеху крокодила за высокий процент брака...

— По-моему, ничего катастрофического с браком литья нет. Процент брака лишь немного выше установленного плана.

— Директор эти цифры наверно с потолка взял, — вмешался сталевар Ширшов. — По двору около литейного уже пройти нельзя, там горы бракованного литья.

— Это не брак, — иронически ухмыльнулся Мелентьев. — Это... — Он заглянул в бумажку: — «крупногабаритные отливки», которые невесть когда еще будут нужны. Цех по ним план на двести процентов выполнил.

— Как же ты это допустил, товарищ директор? — недоумевающе спросил токарь Нилин. — У нас цех механической обработки каждый день на простое стоит, а тут...

— Ты. Курбатов, води заседание как следует. Я на заседание, а не на базар пришел! — взорвался Чухалин.

— Так ведь, Григорий Михайлович, товарищи-то по существу говорят, — спокойно ответил Курбатов.

— Ишь ты, «не по носу табак», — негромко сказал кто-то из членов парткома.

Услышав эти слова, Чухалин вскочил с места и, обращаясь к Курбатову, крикнул:

— На таком заседании я присутствовать не могу, это черт знает что!.. — и выбежал из кабинета.

В комнате наступило тяжелое затишье. Никто не ожидал такой выходки от директора.

Курбатов, сдерживая себя и заставляя говорить спокойно, сказал:

— Продолжаем, товарищи. Кто хочет слова?

Заседание пошло своим чередом.

Немного спустя дверь тихонько открылась и в нее боком, стараясь не глядеть на присутствующих, протиснулся Чухалин. Он сел на прежнее место, придвинул к себе графин, налил в стакан воды и выпил.

Курбатов сделал вид, что ничего не произошло: «Ну что ж тут такого, вышел по своим делам с заседания человек и вернулся обратно...»

Никто не смотрел на Чухалина, словно бы его не было.

Поднялся Алешин:

— Я, товарищи, перед заседанием парткома с

начальником литейного цеха поговорил, и вот какая картина получается. До этого Милёнкин производства и не нюхал. А тут его сразу в начальники. Парень думал, что книжки — это всё. А книжки — только начало. Он пока с литьем в отношениях на «вы» находится, а чтобы на «ты» перейти, ему в литейном деле поднатореть надо годика два, а то и три, под рукой Николая Ивановича Озерова. Ведь мастер-то какой! При нем с литейным и горя не знали. Нехорошо с человеком поступили...

— Но ведь тут-то ты, Алешин, и виноват, — не выдержал Мелентьев.

— Конечно, кадрами на комбинате заведую я, — ответил Алешин... — Но... — он развел руками и иронически поклонился в сторону Чухалина, — директор решает эти вопросы единоначально. Я знаю, что Центральный Комитет нашей партии требует, чтобы мы умело сочетали старые кадры — преимущественно практиков — с новыми кадрами, пришедшими на производство из институтов. Именно у м е л о сочетали. И ничего бы не было зазорного, если бы Милёнкин походил под началом у Озерова, подучился бы у него... Помнишь, Григорий Михайлович, — снова обратился Алешин к Чухалину, — я тебе говорил об этом и, больше того, настаивал. А ты что мне ответил, а? Ответил, что я не понимаю новых задач. А вот оно что получилось на практике. Но по совести если сказать, то не в новых задачах дело... Просто не ужился директор с Озеровым: старик занозистый и не боится покритиковать начальство... Ведь об этом все знают. А ты критики, Григорий Михайлович, не любишь...

— Ты любишь... — сквозь зубы ответил Чухалин.

— И не секрет это, не любишь, — громко, не смущаясь, повторил Алешин.

Присутствующие выжидательно посмотрели на побледневшего Чухалина. Тот встал:

— Да! Милёнкина назначил я! И никакой своей вины тут не вижу. Я единоначальник и не позволю никому вмешиваться в мои оперативные дела. На моем комбинате я отвечаю за план перед наркомом. С меня спросят за все упущения на комбинате.

— А с нас, думаешь, не спросят? — рванулся в своем кресле Мелентьев. — Мы имеем право спросить с тебя, как с коммуниста. Перед партией мы все равны

и несем одинаковую ответственность. Не мне тебя этому учить...

— Да, не тебе меня этому учить. Я с десятого года в партии, а ты с февраля семнадцатого, а Ширшов с тридцатого, а Яшку Курбатова я еще такого махонького помню.

— Но критиковать мы тебя всё же имеем право и должны, Григорий Михайлович, — спокойно сказал Курбатов. — Это право нам дал Центральный Комитет. Ты, наверное, еще не забыл обращения Центрального Комитета о критике и самокритике. А единоначалие — это, Григорий Михайлович, не одноначалие. Ты не можешь на советском предприятии управлять так, как хочет твоя левая нога, ты обязан прислушиваться к мнениям рабочих и считаться с партийной, комсомольской и профсоюзной организациями.

— И с комсомольской? Этого недоставало, — язвительно заметил Чухалин. — Может, я еще с мнением детского сада должен считаться? А?

— Эх, Гриша! — вздохнув, горестно воскликнул Алешин.

Восклицание Алешина больно отозвалось в душе Курбатова, — он всё еще не мог забыть того Чухалина, у которого мальчишкой учился уму-разуму. Он просто терялся и не понимал, что же случилось с Чухалиным. Годы? Конечно, это немаловажная причина, но Алешин и Мелентьев не намного моложе Чухалина. Нет, дело не в годах... Но откуда же тогда у Чухалина эти барские замашки? Откуда все эти кабинеты красного дерева, величественная поза в разговоре с подчиненными?

Курбатов вспомнил свою недавнюю поездку в Москву в наркомат вместе с Чухалиным. Вот там-то Чухалин по-новому открылся ему. Он держал себя с наркомом заискивающе; он просто побоялся сказать, что по вине наркомата задерживается выполнение срочного заказа. Курбатов не выдержал и сполна, резко выложил наркому причину их приезда в Москву... Но нарком слушал его рассеянно, не смотрел на него. И когда Курбатов кончил говорить, то нарком сделал вид, будто ничего не слышал, и перевел разговор на рыбную ловлю.

Конечно, виноват был и старик Булгаков, который потакал Чухалину, не одергивал его. Надо было в са-

мом зародыше убить его «ячество», его барское отношение к рабочим, чего Булгаков, по старой дружбе, не сумел сделать...

Думая обо всем этом, Курбатов ни единым словом или жестом не выдал нахлынувших на него мыслей.

Когда все высказались, он прочитал проект постановления, подчеркнув слова: «поручить товарищу Чухалину проверить расстановку руководящих кадров в литейном цехе с учетом их деловой и технической подготовки».

— Так как, товарищи? Будут замечания по проекту?

— Прошу записать в протокол мое особое мнение, — Чухалин встал. — По-прежнему считаю правильным назначение инженера Милёнкина начальником литейного цеха.

— Ну как, товарищи, запишем? — спросил Курбатов.

— Записывай... Пусть останется для истории.

Когда проект постановления был проголосован и утвержден, Чухалин, ни на кого не глядя, быстро вышел из комнаты.

21

Через день к Курбатову в партком пришел Милёнкин и подал ему вчетверо сложенный лист бумаги. Курбатов взял бумагу, аккуратно ее развернул и стал читать. Оказалось, Милёнкин принес заявление с просьбой освободить его от обязанностей начальника литейного цеха и перевести на менее ответственную должность.

Прочитав заявление второй раз, Курбатов внимательно посмотрел на Милёнкина. От прежнего вызывающе-самоуверенного вида молодого инженера не осталось и следа. Милёнкин грустно усмехнулся и опустил голову.

— Вы не по адресу обратились, — мягко сказал Курбатов, подавая заявление обратно. — Вам нужно к директору заявление отнести.

— Я ему уже передал, а это вам... — торопливо ответил Милёнкин.

— Тогда хорошо, я поговорю с Чухалиным. И, по совести, я за вас рад. Рад, что цените мнение своих

товарищей, что сделали правильные выводы из критики.

— Но я бы просил, чтобы вернули Озерова. Очень прошу, — сказал Милёнкин.

— Это будет решать директор.

Казалось, вопрос исчерпан, но Милёнкин не уходил. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, явно хотел что-то сказать и, видимо, не решался.

— Вы хотите еще что-то сказать, товарищ Милёнкин?

— Да, я хочу... вот... — Милёнкин вынул из бокового кармана сложенный лист бумаги и протянул Курбатову.

Письмо было адресовано в Центральный Комитет партии; в нем говорилось о травле на комбинате молодых специалистов, в доказательство приводился случай с Милёнкиным.

Главным зачинщиком травли автор письма называл секретаря парткома Курбатова, который будто бы спас от справедливого возмездия врага народа — вредителя Надежду Белкину, дочь царского офицера, и сделал это потому, что она была его любовницей. Другом и собутыльником Курбатова является подозрительная личность, имеющая связи с буржуазной Эстонией... А в последнее время и директор комбината Чухалин по отношению к Курбатову и Кияту стал проявлять гнилой либерализм. Это потому, что Чухалина запугал секретарь обкома партии Данилов, который, приезжая на комбинат, устраивает пьяные оргии на квартире Курбатова.

Прочитав до конца, Курбатов, не сдержавшись, выкрикнул:

— Что это за пасквиль? Почему вы мне дали читать это?

— Я считал своим долгом... Я должен сказать... Это письмо мне дал один человек... Он просил, чтобы я его переписал своей рукой...

— Один человек? Какой человек? Расскажите об этом всё подробно.

Милёнкин тяжело вздохнул:

— После комсомольского собрания ко мне стал ходить юрист Семенков. Он приглашал меня также и к себе. Вначале он произвел на меня хорошее впечатление. Мы вспоминали с ним студенческие годы, говорили о литературе, о знакомых девушках... А потом

Семенов рассказал мне о вредительстве на комбинате. Говорил, что сейчас долг каждого комсомольца выявить и разоблачить вредителей и что полному разоблачению вредителей здесь, на комбинате, мешают Курбатов и Данилов. Он еще сказал, что пока приходится писать письма, но его почерк могут узнать, а поэтому он просит помочь — переписать...

— И вы переписали?

— Нет, что вы! Я не верю в то, что здесь написано. — Милёнкин сделал брезгливую гримасу.

— Хорошо, — после некоторого раздумья сказал Курбатов. — Это письмо я оставляю у себя, а вам, дорогой товарищ, от души желаю удачи. Спасибо. — Он протянул Милёнкину руку и сердечно попрощался с ним.

22

В тот же день Курбатов решил зайти к Чухалину и поговорить с ним начистоту о Семенкове и его грязной стряпне. В коридоре заводоуправления было безлюдно.

Дойдя до дверей приемной и уже собираясь открыть ее, Курбатов вдруг остановился. То, что он увидел, поразило его... Вместо привычного слова «Директор» под стекло была вставлена полоска ватмана: «Бюрократ». А там, где указывались приемные дни и часы, красовалась надпись: «Никогда не принимает...» И рядом — рисунок крокодила, очень похожий на того, который стоял в литейном цехе. Укоризненно покачав головой, Курбатов с трудом вытащил из-под стекла обе полоски и прошел к Чухалину.

Директор пил крепкий чай с лимоном и, казалось, был в благодушном настроении.

«Придется подсластить ему чай», — подумал Курбатов и показал Чухалину снятые им надписи:

— Вот, Григорий Михайлович, что на твоих дверях писать стали...

Чухалин сразу помрачнел и с угрозой в голосе сказал:

— Узнать бы, кто эти хулиганы, голову бы им оторвал, с-сукиным детям! — Искоса посмотрев на секретаря парткома, добавил: — Ну да ничего, узнаю.

— А теперь на, почитай, как меня разделили, да и тебе краем досталось. — Курбатов протянул Чухалину донос Семенкова.

Прочитав письмо, Чухалин изобразил на лице крайнее удивление и спросил:

— Кто же мог такое написать?

— Семенков.

— Да не может быть! Не поверю.

Курбатов передал Чухалину рассказ Милёнкина, добавив от себя, что он верит словам комсомольца.

— Подлец, вот подлец! — воскликнул Чухалин. — И про меня написал. Это я-то «гнилой либерал»! Ну и негодай!

— Я считаю, Григорий Михайлович, что клеветникам и подлецам не место на комбинате. Семенкова надо немедленно уволить. И чем скорее, тем лучше.

Чухалин медленно допивал свой чай. Подняв на Курбатова выцветшие глаза, он процедил:

— А я всё же думаю, Яков Васильевич, что ты ошибаешься насчет Семенкова. Может, совсем и не он это. Подождем, нельзя же так сразу...

— Но ведь Семенков явный подлец! По-настоящему его бы судить надо. Неужели ты этого не понимаешь?

— Не понимаю. Там и меня гнилым либералом обозвали, но что из этого. Нельзя так сразу. Я считаю, что на эту тему больше говорить не стоит. — Сделав последний глоток, Чухалин поставил пустой стакан на блюдце и улыбнулся Курбатову: — Да ты не расстраивайся. Подумаешь, кто-то пакость написал. Сейчас много анонимщиков-то развелось. Вот видел, про меня что пишут, и ничего. И откровенно скажу: такие вывески со своих дверей снимаю не в первый раз.

Курбатов собирался что-то резко ответить Чухалину, но не смог... У него вдруг пресекся голос и задрожали губы. «Эх, Гриша...» — вспомнились ему слова Алешина на заседании парткома. «Ну что сказать ему, такому... всё равно не поймет!»

Курбатов, не простившись, быстро пошел к двери, а Чухалин вслед ему крикнул:

— Если это Семенков меня в гнилые либералы произвел, то, будь уверен, я ему покажу!..

Курбатов не слышал последних слов, так как уже вышел из кабинета.

При обходе цеха к Курбатову подошли комсомольцы Павел Соколов и Ваня Игонькин.

— Что вам, хлопцы? — спросил Курбатов.

— Да поговорить бы... — ответили ребята.

— Тогда пошли в сторонку, сядем вон на те ящики.

Сели. Павел напустил на себя важный вид и начал говорить:

— Мы до вас, Яков Васильевич, — сказал и замялся.

— Вижу. Ну, а дальше что? Чего смущаетесь?

В разговор решительно вмешался Игонькин:

— Мы на ячейке постановили первую на заводе комсомольскую свадьбу организовать. И хотим вас пригласить на свадьбу.

— Кто же из вас женится?

— Вот он, — указал Игонькин на краснеющего Павла.

— Замечательно! А на ком ты женишься? — спросил Курбатов.

— На Ане Пименовой; вы ее знаете, фрезеровщица.

— Аню знаю, хорошая деваха. Только смотри, Павел, если всё это у тебя несерьезно, лучше не порти девку: житья тебе не дам на заводе.

— Что вы! — воскликнул Павел. — Да мы ведь давно любим друг друга.

— Так. Свадьба где и когда будет?

— В воскресенье. В лесопарке, на берегу Сухоны.

— Хорошо задумали, — горячо одобрил Курбатов. — Обязательно приду.

Довольные, комсомольцы простились с Курбатовым.

...В день комсомольской свадьбы тишина лесопарка была нарушена. Комсомольцы собрались на одной из больших парковых лужаек. Девушки принялись хлопотать над свадебным столом. Они разостлали на траве скатерть, расставили закуски, бутылки. Среди девушек была и невеста в свадебном платье и фате.

В стороне, ближе к берегу реки, группа молодежи играла в горелки:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят...

Парень ловил убегавшую девушку. Слышался визг и смех.

Откуда-то издалека доносились звуки знакомой песни:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река..

Около девушек, накрывавших на стол, вертелся Ваня Игонькин. Он уже успел изрядно надоесть хлопотавшим у стола комсомолкам. Отгоняя комаров, он тяжело вздыхал:

— Хорошо Ане, у нее противомосkitная сетка на голове. А мы кровь проливай...

Увлечшись охотой за комарами, Ваня не заметил надвинувшейся на него опасности.

— Это что у тебя в кармане? — вдруг набросилась на него Зина Павлова.

— Ничего, — невозмутимо ответил Ваня, пытаясь как-нибудь прикрыть подозрительно оттопырившийся карман.

— Ой, девочки, так это же у него бутылка припрятана! — закричала Зина.

Девушки окружили Ваню и, несмотря на отчаянное сопротивление, извлекли из кармана пол-литра. Бутылка переходила из рук в руки.

— Давайте ее, подлюю, разобьем!

— Разобьем!

— Не надо, стёкла будут.

— Лучше утопим в реке, — предложила Зина. — А заодно и его искупаем. Пусть знает, как нарушать уговор.

— Девушки, миленькие, не надо! — закричал поросычьим голосом Ваня, пытаясь от надвигавшихся на него комсомолок.

Но все мольбы оказались напрасными. Девушки со смехом потащили его к реке и толкнули в воду. На отчаянные крики Вани сбежались комсомольцы. Если бы не они, не избежать бы Ване купания. А так он только набрал полные ботинки воды...

Скоро на лужайке собрались все комсомольцы и гости. Среди них были Курбатов, Мелентьев и пришедший с ним старичок колхозник Федот Кузьмич, родственник Мелентьева.

Мелентьев стал знакомить Федота Кузьмича с комсомольцами:

— А это Федот Кузьмич, мой гость из деревни. Он хотя и старик, а молодым не уступит.

— Может, незванный гость хуже татарина? — сдерживая улыбку, спросил старик невесту.

— Что вы, Федот Кузьмич! Бог с вами! Что вы говорите! — с обидой в голосе ответила ему Аня.

Среди гостей была и тетка Поля — уборщица цеха, в котором работала Аня. Тетке Поле хотя и было за шестьдесят, но любила она повеселиться и побыть среди молодежи.

Все расселись вокруг скатерти на лужайке. Аня, заметив, что Федот Кузьмич стесняется и не садится, крикнула ему:

— Дедушка, садитесь, прошу и вас выпить и закусить!

— Зазря ты, касатушка, меня дедушкой зовешь. Я еще мужик в силе, — ответил Федот Кузьмич, поглаживая голову с седым венчиком волос.

— Не хвастай. Поди, на седьмой десяток? — колючим голосом сказала тетка Поля.

— Ну и что... Да я еще могу... — напыжившись, ответил Федот.

— Не хорохорься. Ничего ты уже не можешь... — подковырнула тетка Поля.

— Присаживайтесь же, дедушка... Ой, простите! Прошу вас выпить и закусить, — снова пригласила Федота Кузьмича невеста.

— Да говорю же я, девушка, я еще мужик в силе, — с легким раздражением сказал ей Федот Кузьмич. — Лонись вон наши мужики на железке из вагонов шпалы выгружали. Так, поди, двое мужиков одну шпалу тащили, а я один взвалил ее на плечо и донес. — Федот пытливо посмотрел на улыбающуюся Аню и добавил: — Вот те крест, не вру! Правда, едва донес...

— Прошу, товарищи, к столу, наливайте полнее, — поднимая рюмку, обратился ко всем отец Ани, еще молодой на вид рабочий завода с озорными глазами. Повернувшись к Федоту Кузьмичу, он ласково сказал:

— Вы уж извините, наша молодежь не хотела, чтобы на свадьбе водка была.

Федот понимающе покачал головой и ответил:

— Оно, конечно, зелье...

Мать невесты, полная и миловидная женщина, сидела на лужайке у скатерти и, как истая домашняя хозяйка, ворчала:

— Что это за свадьба... Сидеть и то по-турецки надо.

Когда все налили себе вина, отец невесты, поднимая рюмку, воскликнул:

— Предлагаю выпить за счастье молодых! За счастье милой дочери моей Ани и названного сына Павла.

Начали шумно выпивать и закусывать. Федот Кузьмич выпил и поморщился. Обращаясь к жениху, он громко зашептал:

— Ты чего, ядрен колпак, мне налил? Уксус, что ли?

— Что вы, Федот Кузьмич! Рислинг это. Сухое вино.

— А ты бы не смеялся над стариком-то. Ишь ты, вино, да сухое... Приврал малость.

Павел показал ему этикетку на бутылке:

— Видите!

Федот надел очки и внимательно стал разглядывать этикетку:

— Скажи пожалуйста! Ядрен колпак! «Сухое», а как вода с уксусом. Вот время настало! А нет ли у тебя такого вина, кое «Ерофеичем» называется? Страсть отведать охота. Не пробовал, а мне Ерофей-то, мой братан, об нем говорил.

— Вам «Ерофеича»? С полным удовольствием! Аня, дай вон ту бутылочку!

Федот схватил бутылку, посмотрел ее почему-то на свет, долго разглядывал этикетку:

— Скажи на милость! — Потом налил стопку и выпил. — Вот это да, это по-моему. — Он снова налил стопку: — За ваше здоровьишко, молодые.

— Слово имеет Иван Иванович, — торжественно объявил отец невесты.

С земли с трудом поднялся Мелентьев. Откашлявшись, он сказал:

— За столом много не говорят, а хотелось бы... Тебе, Павел, вот что только скажу: уважай Аню, подругу свою. Вот и всё.

Все выпили, потом стали аплодировать.

— Дайте мне слово! — крикнула Зина Павлова. — Я хочу вместо тоста прочесть стихотворение:

Любовью дорожить умеете,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь — не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.
Всё будет: слякоть и пороша...

— Хватит! У нас с Аней слякоти не будет, — громко заявил Павел.

— И пороши тоже... — подхватила Аня.

За импровизированным столом стало совсем шумно. Принялись пить за здоровье невесты и жениха и кричать: «Горько!»

Аня и Павел стыдливо целовались.

— Девушки, теперь все в сборе, будем веселиться! — крикнула Зина.

— Давайте кадрили! — раздались голоса.

Федя Хлопов рывком растянул баян. Все стали танцевать фигуру за фигурой. Окончив, встали в хоровод. Опять Зина крикнула:

— Соло! Кто желает соло?

Федот Кузьмич, опешив, спросил:

— Чего она орет-то? Что за соло?

— Экий ты! Это же она приглашает спеть или станцевать, кто умеет! — ответила ему тетя Поля.

Федот Кузьмич, охорашиваясь, подошел к Ивану Ивановичу:

— Пойдем, налим усатый, коленце отколем.

Тетка Поля быстро встала и вышла на середину хоровода, все перед ней расступились. Притопывая ногой, она закружилась на одном месте; помахивая над головой носовым платком, запела:

Девки, пойте, девки, пойте,
Я старуха, да пою.
Девки с ярмарки поедут,
Я старуха, да пойду!
Э-э-э-э-х!

Тетка Поля долго танцевала и всё помахивала платком.

Федот Кузьмич опять обратился к Ивану Ивановичу:

— Пойдем, налим усатый!

Иван Иванович обиженным голосом ответил:

— Куда уж нам! Пускай лучше молодежь.

— Смотри, как старуха-то пляшет, она очко молодым даст, слышал, как она пела? — Федот попробовал запеть фальцетом:

Девки с ярмарки поедут,
Я старуха, да пойду...

В центр хоровода вышла похорошевшая от вина и волнения Зина и запела частушки, пританцовывая:

Моя милая, хорошая,
Курносенький носок!
Восемь курочек усядется,
Девятый петушок!

На катушке нитки чёрны,
Черные, крученые.
Вы повежливей, ребята,
Мы теперь ученые...

Потом, расталкивая всех плечом, подмигнув Мелентьеву и Курбатову, в круг вышел Федот Кузьмич. Тетка Поля иронически посмотрела на него и с подковыркой проговорила:

— Смотри, развалишься...

Федот Кузьмич, напустив на себя важный вид, посмотрел на тетку Полю и крикнул:

— Я тебе покажу ярмарку! А ну, поберегись, языки отдавлю! — И он начал плясать, крутиться на месте, притопывать ногой:

Берегись, народ!
Трепаком Федот идет!
Эх, братан Ерофей!
Не жалея лаптей..
Эх, лапти мои,
Лапоточки мои...

— Вот! — топнул ногой Федот Кузьмич. — Знай наших!

...Когда солнце начало склоняться к горизонту, а в потемневшем небе появились первые редкие звезды, Курбатов сел в стороне на пенек и с удовольствием закурил. Не успел он оглянуться, как уже был окружен молодежью.

— Яков Васильевич, расскажите нам что-нибудь.

Из жизни первых комсомольцев. — стали наперебой просить Курбатова парни и девушки.

Было ясно, что они заранее сговорились. Курбатову и самому хотелось рассказать молодежи что-нибудь интересное, но тут он как-то застеснялся:

— А не лучше ли продолжить пляску и всем хором спеть? Впрочем, если хотите, за мной дело не станет...

— Яков Васильевич, расскажите. Песни от нас никуда не уйдут.

— Расскажите, расскажите... — раздались нетерпеливые голоса.

В памяти Курбатова вновь промелькнули события и люди, связанные с его юностью. Он вспомнил, как политрук продотряда Вася Чуркин женился на девушке-беднячке, звонкоголосой красивой Дуне.

— Вот, слушайте. Тогда еще не было Новогорска, а был рабочий поселок Печаткино. В конце тысяча девятьсот девятнадцатого года плохо стало с хлебом. И так-то его выдавали рабочим по фунту в день, а тут голод навалился. Губпродком предложил послать продовольственный отряд в зажиточный хлебный Никольский уезд. В нашем отряде было семьдесят бойцов. У каждого — винтовка, а на случай кулацких проделок захватили пулемет «максим». И вот прибыли мы в одно село. Совсем недавно там было подавлено кулацкое восстание, которым, между прочим, руководил белогвардейский офицер Пшеницын...

Курбатов замолчал, посмотрел на внимательно слушавшую молодежь, вынул из кармана деревянный портсигар.

— Вот всё, что осталось от нашего боевого, веселого политрука, — сказал он, показывая портсигар, — от моего близкого товарища Васи Чуркина.

— Что, он погиб? — спросило сразу несколько голосов.

— Да, погиб, — ответил Курбатов. — Но давайте по порядку. Штаб нашего продотряда расположился в сельсовете, в просторной избе, а бойцов мы разместили в соседних избах. В первый же день нашего пребывания в селе, в сумерки, в сельсовет пришла девушка и сказала, что ей надо видеть «комиссара или начальника». Девушка была одета в плохонький залатанный полушубок, на голове ее была тоже старенькая зано-

шенная шаль, в которую она закутала даже лицо. Когда она сняла с головы шаль, перед нами оказалась настоящая русская красавица. Мы просто все оцепенели. Девушка сказала, что должна поговорить с начальником наедине. Вася, стукнув каблуками, взял под козырек, надел шинель, шлем и вслед за девушкой вышел на улицу.

Долго его не было. Когда он пришел, то рассказал, что приходила к нам Евдокия Морозова — дочь председателя сельсовета и комбеда. Отца ее кулаки убили во время восстания, а на его место посадили в сельсовет подкулачника, бывшего волостного писаря. Сейчас он всё гнет в сторону кулаков, особенно лавочника Гордея Огибалова. В прошлом году в селе организовалась комсомольская ячейка, но секретаря ячейки, избача Илью Крутых, кулаки из-за угла убили, двух парней споили самогоном. Теперь ячейка работает подпольно, в ней пять человек — трое девушек и двое парней. Дуня у них секретарь. Комсомольцы не хотят обнародовать ячейку, боятся мести кулаков. В уезде тоже про нее не знают.

Всё это Дуня рассказала, чтобы облегчить нам работу, помочь разобраться в обстановке.

Через день мы собрали бедняков. Собрание решило переизбрать сельсовет, выдвинуло в состав его своих людей из бедноты и середняков. Перевыборы сельсовета мы провели, но вот хлеба наш продотряд всё никак не мог заготовить. Крепко прятало кулачье хлеб в ямах... Вася Чуркин стал пропадать почти каждый вечер; только мне он сказал, что тайно встречается с Дуней и с комсомольцами в овинах. Хвалил он Дуню за ум и сообразительность. Вскоре с его помощью подпольная комсомольская ячейка выросла до пятнадцати человек, и решено было перейти на легальное положение. Вася дал мне пакет и велел срочно свезти в Никольск, в уком партии. Я был в отряде конным ординарцем. Верхом на своем Рыжем я за одни сутки махнул в уезд и вернулся обратно, тоже с пакетом. А ночью, пока я отсутствовал, кулаки сожгли ветхую избу Дуни, в которой она жила с пятнадцатилетним братом!

В пакете, который я привез, было решение уездного исполкома о том, что дом кулака, осужденного по делу о восстании, передается под избу-читальню и что Дуня

назначается избачом. В тот же день Дуня приняла кулацкий дом. К утру со своими комсомольцами она оборудовала в нем избу-читальню и сама поселилась там в маленькой комнатке. На другой день всё село только и говорило об этом и о «комсомолах», которые богом прокляты. Кулаки распускали про ячейку разные сплетни, а многие деревенские бабы Дуню иначе, как «комиссарская подстилка», и не звали. При избе-читальне возникли драматический и агротехнический кружки, заработал ликбез, стали проводиться громкие читки газет и журналов. Молодежь валом повалила в избу-читальню. Но вот тут местный поп по настоянию кулаков отлучил Дуню от церкви. Девушка стала получать анонимные записки с угрозами. Двери в избу-читальню мазали дегтем. Тогда религия была силой, и после отлучения Дуни от церкви молодежь перестала посещать избу-читальню. Надо было что-то предпринимать. А мы уже замечали, что Вася ухаживает за Дуней. «Женился бы ты на Дуне, политрук, — как-то сказал командир отряда Чуркину. — Лучше ее жены всё равно не найдешь...»

И вот, под самое Крещение, Вася сделал Дуне предложение, она согласилась, и они записались в сельсовете. Мы объявили, что вечером в избе-читальне будет комсомольская свадьба, и деревенские бабы прикусили языки. Интерес молодежи к этой свадьбе был велик: не удержали ни суеверные страхи, ни угрозы родителей. На свадьбе, конечно, угощение было скудное, но зато выступил драмкружок. Дуня и Вася, помню, сидели за столом, покрытым красным кумачом. Над ними висел антирелигиозный плакат с четверостишием Демьяна Бедного. Но гулять на свадьбе долго не пришлось. Как раз накануне продотрядники узнали, где припрятано зерно; нужно было срочно его вывезти. Поэтому многие бойцы ушли со свадьбы, чтобы вскрыть ямы и организовать вывозку зерна в амбары. Обеспокоенные ходом вывозки, Вася и Дуня тоже решили отправиться к ямам. Но только они вышли на крыльцо, как сразу же прогремели два выстрела. Все из избы бросились на улицу. У дверей получилась давка. Я, недолго думая, ногой вышиб оконную раму и выпрыгнул во двор.

Вася лежал на крыльце. Он был убит наповал: пуля попала в сердце. Дуня была ранена; склонившись над

Васей, она громко плакала... Мы пытались найти убийцу, обшарили всё село, но безуспешно... В ту ночь бойцы-продотрядники нашли в кулацких ямах две тысячи пудов припрятанного зерна. — Курбатов замолчал.

Солнце зашло, и стало темнеть. От реки потянуло прохладой.

— Ну, а Дуня? Что же потом стало с Дуней? — спросил кто-то.

— С Дуней? — переспросил Курбатов. — А Дуня уехала вместе с продотрядом. Кулаки всё равно не дали бы ей житья. Это, конечно, они стреляли. Рана ее оказалась несерьезной. Дуня уехала в губернский город, там окончила совпартшколу. Потом поехала в Москву, в комвуз имени Свердлова, а через несколько лет окончила институт красной профессуры. Сейчас она профессор-историк, ведет кафедру в университете.

Если вы читаете газеты, то часто можете встретить ее статьи.

Помолчав немного, Курбатов снова достал свой портсигар и, держа его на ладони, сказал:

— С тех пор я не расстаюсь с этим портсигаром. Он мне и дальше послужит.

24

Неожиданно в начале апреля на комбинат приехал Данилов. Он столкнулся с Курбатовым лицом к лицу в одном из цехов и, здороваясь, пробасил:

— Ну, води в свои хоромы. Приехал посмотреть, какие ты кресла завел.

Курбатов хитровато улыбнулся. Данилов не умел лукавить: конечно, он приехал сюда затем, чтобы посмотреть, как работает новый секретарь парткома, и, по своему обыкновению, успел побывать в цехах, поговорить, порасспросить людей. Сейчас, ведя Данилова в партком, Курбатов волновался. Всё-таки это было похоже на экзамен. И хотя экзаменатор человек хорошо знакомый, но спуску не даст... Много испытавший в жизни, познавший каторжные этапы, тюрьму и ссылку, Данилов всегда жил для будущего, и это будущее, прекрасное и чистое, видел в молодежи. Он

болезненно ощущал ее срывы в работе и в жизни, но почти никогда по отношению к ней не прибегал к мерам взыскания, считая, что доброе начало восторжествует и без этого... Но ведь Курбатов уже не мог причислить себя к молодежи...

Раздевшись, Данилов сел на широкий кожаный диван, устало вытянул ноги и задумчиво сказал:

— Крепкий мужик Чухалин, а устарел. Надо кого-то помоложе да поумнее на это дело. А? Ты как об этом думаешь?

Курбатов ответил уклончиво. Ему не хотелось сейчас рассказывать Данилову обо всех своих спорах и ссорах с Чухалиным. Особенно не хотелось рассказывать о последнем, самом серьезном разговоре, когда партком обязал Чухалина ввести хозрасчет в бригадах. Чухалин тогда демонстративно ушел с заседания парткома, хлопнув дверью и крикнув напоследок: «Кто всё-таки хозяин: вы или я? Если вы, то вводите хозрасчет сами». Так ничего и не поняв, он забыл всё, о чем недавно говорилось на партконференции.

— А что, если мы твоего дружка Кията директором поставим? Семейственность не разведете?

— Ну что вы, Алексей Николаевич... — только и успел сказать Курбатов: секретарь обкома уже подходил к вешалке, словно пришел в партком только поглядеть, не обзавелся ли Курбатов голубым ковром и вазами. Курбатов подумал, что назначение Кията, должно быть, дело уже решенное, и обрадовался: вот когда можно будет развернуть работу по-настоящему!

Данилов и Курбатов заехали на «газике» за директором. Тут уж Чухалин не мог отговариваться: пришлось ехать на стройку жилого дома. Данилов, облазив всю стройку, долго стряхивал с себя рыжую кирпичную пыль, щепки, известь, а потом удовлетворенно сказал Курбатову:

— Следи, секретарь, за строительством. Питание и жилье сейчас главный наш таран против текучести рабочей силы. Одним хотением постоянные кадры рабочих не создашь, нужно еще кое-что. Надо нам больше заботиться о людях, о наших рабочих.

Чухалин стоял в стороне с таким видом, будто

хотел сказать: «Правильно, поучай его, юнца. Но меня-то зачем сюда вытащил?..»

На обратном пути Данилов попросил шофера остановиться и, открыв дверцу, вышел на дорогу.

Была оттепель. Капало и лило с крыш, на дороге стояли большие лужи. Талый, тяжелый снег успел перемешаться с грязью, и прохожие шли осторожно, стараясь не поскользнуться и не упасть в это месиво.

Данилов, в забрызганных грязью сапогах, стоял, сладко щурясь и улыбаясь навстречу яркому апрельскому солнцу. Не поворачиваясь к своим спутникам, он сказал:

— Весна! Хорошее время... А что, товарищи, не пора ли за цветники взяться? Газоны, скверы разбить? И дороги починить, а? Как ты думаешь, Григорий Михайлович? Политика, она нетерпеливее природы. Смотри, солнышко припекло — и всё играет и плывет. В нашей политике солнышко в Октябре взошло и сейчас не хочет и не может ждать.

— Тебе, Алексей Николаевич, лучше знать, — вяло протянул Чухалин. За этими словами как бы слышались другие: я — директор комбината, у меня своих дел по горло, какая тут еще к черту весна! Но, словно спохватившись, Чухалин добавил: — Раньше, когда жилья не строили, ты о цветах не говорил, а сейчас, стало быть, можно и за них приниматься.

Данилов, видимо, понял эту поправку. Курбатов уловил в его глазах лукавый огонек.

— А ты как, Курбатов, не поднимешь секретаря обкома на смех, что он цветы любит? Хорошая это вещь — цветы! А еще лучше, что время хорошее настало...

Данилов сказал это, словно раздумывая о чем-то своем, личном... Вдруг он повернулся к Чухалину:

— На тебя, Григорий Михайлович, обижаются люди, рабочие обижаются. На грубость твою, высокомерие. И ведь верно это... А вот когда ты таким стал, не могу вспомнить. Как же так! Старый большевик, а люди уважать перестали... Наш народ уважает тех, кто к нему чутко относится.

Чухалин хотел что-то ответить, но Данилов взял его за плечо и, кивнув на шофера, произнес:

— Потом.

Обращаясь к шоферу, он спросил:

— Ну, а ты, Петро, как смотришь на весну?

Шофер, пожилой человек с широким приветливым лицом, улыбнулся:

— Положительно, Алексей Николаевич.

— Я так и думал... Значит вы, товарищи, не забывайте о цветниках и в долгий ящик не откладываете. Наш рабочий класс заслужил комфорт, он его начинает требовать...

А когда машину, в которой они ехали обратно, сильно тряхнуло на ухабе, он недовольно проговорил:

— И дороги надо асфальтом залить, чтобы глаз рабочего не видел больше этих старых печаткинских луж... Обязательно надо хорошие дороги проложить!

25

На следующий день Чухалин, бледный и с каким-то помятым лицом, вошел в кабинет Курбатова. Не глядя в глаза секретарю парткома, выдохнул одно только слово:

— Сняли.

Хотя для Курбатова это уже не явилось новостью, он немного растерялся: горе Чухалина было ему понятно, и он не знал, что сейчас сказать. Говорить, что это для пользы дела — жестоко; утешать, произносить какие-то общие слова — пошло.

Чухалин сказал уже тверже:

— Сняли. Устарел.

— Я знаю... Трудно тебе было, хотя не говорил ты, не сознавался. Всё сам хотел решать...

— Конечно, трудно... Образование четыре класса да курсы механиков... А теперь техника вон какая! Но обидно, Валька Кият директор, а я... — Чухалин сел на стул и закрыл глаза ладонью.

— Ну, выпей воды... Что с тобой?.. Держи себя в руках...

— Что со мной? — сквозь силу проговорил Чухалин. — Да то... что жена... ушла.

Немного успокоившись, не поднимая глаз на Курбатова, он снова заговорил:

— Дурак я был. Сам это понимаю, да вот словно черт в меня влез. Ты думаешь, у меня с ней жизнь была? Из-за этого и работать хуже стал. А как узнала вчера, что меня сняли, собрала свои тряпки и ушла. «Ты, говорит, старая плешь, мне больше не нужен». «Старая плешь!..» Как тебе нравится?..

«Зачем он пришел ко мне? — подумал Курбатов. — Поговорить по душам, разжалобить? Так не поздно ли, дядя Гриша?»

Чухалин криво усмехнулся и провел рукой по бритой голове:

— Сам видишь, плечи у меня и в помине нет... Но всё же она права. Так мне, дураку, и надо!

Курбатов искал и не находил в душе жалости к снятому директору. Он даже несколько этому удивился. «Нет, прежнего не вернуть, — думал Курбатов. — Слишком многое легло между нами. Такое нельзя простить, душа не может...»

Он старался успокоить Чухалина, поддержать в беде. Но это ему давалось с трудом. Почувствовав такое отношение, Чухалин скоро ушел.

26

Уже подходило к концу строительство цехов тракторного завода. Курбатов теперь дневал и ночевал там: вопрос о пуске завода в эксплуатацию должен был через несколько дней слушаться на бюро горкома. Уже было известно и первое задание: выпустить серию пропашных тракторов. Кият был недоволен: ему снились гусеничные многосильные машины. Собрав документы и не посоветовавшись с парткомом, Кият уехал в Москву. Курбатов, узнав об этом, возмутился: «Что за чухалинские выходки?! Неужели и Кият заболел опасной чухалинской болезнью?»

Он позвонил Данилову, тот тоже удивился и дал вслед Кияту телеграмму о немедленном его возвращении. Курбатову Данилов сказал по телефону:

— Ты сообщи, когда будет обсуждаться вопрос о пуске, я приеду на бюро... Поговорим...

Кият, уже имевший неприятный разговор с Курбатовым, сидел на бюро горкома сам не свой, но Данилов,

вопреки всем ожиданиям, не сказал ему ни слова: должно быть, заботился об авторитете нового директора. Расхаживая, по обыкновению, возле стола, Данилов тихо, сдерживая голос, говорил:

— ...Знаете ли вы, что такое пропащик? Вы только представьте себе влияние этой замечательной техники на психологию человека, например, на психологию туркмена, с детства привыкшего к мотыге... Это ведь революция, товарищи, — революция в сознании хлопкоробов. В этом самом, не любимом некоторыми из вас пропачнике он увидит конкретное дело, заботу о нем социалистического государства. Да, слабоват тот коммунист, который этого еще не понимает... Конечно, бывает, поспешит человек, не продумает по-настоящему. Но это ничего. — Данилов бросил быстрый взгляд на Кията. — Ну, а во-вторых — это больше хлопка. Словом, как ни погляди — пропащик хорош.

Каждый раз, слушая Данилова, наблюдая за ним, Курбатов невольно ловил себя на том, что любитесь этим человеком. Он пытался разобраться: в чем же его сила, в чем, в конце концов, внутренняя, сразу не видимая, красота секретаря обкома? Ну, вера в свое дело, гибкий ум, скромность — таких качеств можно было бы назвать еще много, и все они не объясняли бы до конца существа дела.

Наконец, он всё-таки понял: стиль! Собственно говоря, Курбатов, если бы его спросили, не смог, наверно, сказать, в чем заключается даниловский стиль. Этот стиль был во всем и заражал настолько, что порою, говоря с людьми или делая что-нибудь, Курбатов спрашивал себя: «А как бы об этом сказал Данилов? Как бы это сделал Данилов?»

Данилов вникал во все мелочи дела, такие, которые сразу и не замечались (и Курбатовым тоже). Столовые? Что ж, Курбатов занимался ими. Но Данилов, зайдя в столовую, обнаруживал там много такого, что ускользало от внимания Курбатова. Данилов, например, любил проверять, чисто ли моются ложки, вилки, стаканы. А однажды он позвонил ночью и, радостный, кричал что-то в трубку так громко, что Курбатов ничего поначалу не мог разобрать. Оказалось, правительство отменило карточную систему. «Завтра с утра обязательно пройди по цехам, порадуй людей, особенно тех,

которые поворчливей, есть у вас такие, я их знаю...» — кричал Данилов.

И когда Курбатову звонили и говорили, что приехал секретарь обкома, он неизменно спрашивал: «В каком он цехе?»

Так было и в тот день, накануне областного партийного актива... Курбатов увидел Данилова на тракторном: секретарь обкома, окруженный инженерами, рассматривал картер будущего пропащика. «Зря я пришел, — подумал Курбатов. — Попадет еще». Данилов не любил, когда с ним ходило «начальство». Когда за ним тянулся «хвост», он говорил: «Что я, принц, чтобы меня свита сопровождала? Марш по своим местам». Но в этот раз Данилов, занятый разговором, не заметил Курбатова. До него донеслось рокошующее:

— Вот это литье! Раньше так чисто не лили. Только не кажется ли вам, товарищи, что стенки больно толстые? Сколько весит картер после обработки?

Один из инженеров назвал цифру.

— А до обработки, после литья?

Назвали другую цифру.

— Многовато, товарищи, многовато. И времени на обработку много уходит, и металла много теряется. А потом, он сам по себе тяжеловат для пропащика. Ведь с весом связан и расход горючего, и лишнее разрыхление междурядий. — Данилов обернулся к главному инженеру тракторного завода: — Ты подумай об этом.

Увидев Курбатова, он кивнул ему и, попрощавшись с инженерами, направился к выходу. Курбатов пошел за ним.

— Чего тебе не сидится? — проворчал Данилов, здороваясь за руку. — Сидел бы себе в парткоме, на то ты и начальство.

Курбатов улыбнулся и так же полушутливо буркнул:

— От начальства слышу...

В парткоме Данилов бегло просмотрел листки, исписанные крупным курбатовским почерком, — выступление на завтрашнем областном партактиве, и одобрительно кивнул.

— Только, — чиркнув ногтем по бумаге, сказал он, —

слово «увеличение» через «е» пишется, грамотей, а у тебя «увилечение».

Курбатов густо покраснел. Данилов заметил это и кивнул:

— Вот-вот, о том и разговор. Учиться надо, а то на этом «увилечении» далеко не усклещешь. Для того чтобы руководить людьми, надо превосходить их не только характером, но и знаниями. Пошли сейчас на стройку. Вечером поедем вместе.

27

Перед тем, как уехать, Данилов зашел домой к Курбатову и, увидев Оленьку, сразу зашумел, забасил, да так, что Оленька потаращила-потаращила глазенки и разревелась. Таня бросилась к ней, сияющая, довольная, что дочка Данилову понравилась: много ли надо матери, чтобы обрадовать ее, — только похвалить ребенка... А Данилов, осматривая комнату (точно такую же, какую осматривал однажды вместе с Курбатовым), внезапно спросил:

— Слушай, Таня, а ты что — всё время с дочкой сидишь?

— Да.

— А не устасешь?

— Н-нет, — растерянно протянула она.

— И работать не хочется?

Данилов, не дожидаясь ответа, набросился на Курбатова:

— Ну что ты скажешь, феодал? Почему жена дома сидит? Почему дочку не отдали в детясли? Они же давно построены. Сам хвастал...

— Так ведь неудобно, Алексей Николаевич, много заявлений от рабочих...

— И правильно, что неудобно... А почему не построили вторые ясли? Деньги на это вам отпущены.

— Не успели. А потом, вы знаете, Алексей Николаевич, отношение хозяйственников к таким делам...

— А ты для чего здесь поставлен, для чего существует завком? Хозяйственники ваши — коммунисты?

— Коммунисты.... — ответил Курбатов.

— А ты — секретарь парткома... Что, не можешь партком созвать и кому надо головомойку дать? Зря

Татьяна твоя терпит... Надоело дома-то сидеть? — спросил Данилов у Тани.

— Очень надоело, — ответила Таня, холодно взглянув на мужа.

— Проучи ты его, феодала, чтобы он запомнил: здоровому человеку дома сидеть нельзя. А что, — кивнул Данилов на висевший на стене телефон, — в обком отсюда позвонить можно?

— Можно...

— Тогда соедини-ка меня с моей приемной.

Курбатов поспешно стал крутить ручку телефона и велел телефонистке побыстрее соединить с обкомом партии.

Вскоре раздался звонок, — на проводе была приемная секретаря обкома партии. Курбатов передал трубку Данилову.

— Ваня! — закричал в трубку Данилов. — Меня там никто не спрашивал?.. Кто? Кто?.. Какой Трохов? Не знаю такого... Говоришь, с письмом от Баранова?.. А чего ему надо, не говорил?.. Ну, ладно. Передай Марии Ивановне, что домой не заеду. Проеду прямо на актив, — Данилов повесил трубку и, глядя в упор на Курбатова, спросил:

— Вернешься с партактива, обсуди вопрос о детях на парткоме. Что-то опять вы дурака валяете с бытовым строительством. А теперь прощайся, поехали... Как поедешь-то?

— Мы на своей.

— А остальные?

— Так ведь грузовая идет...

— Ну, одевайся, пошли.

Уже на лестнице Данилов задумчиво сказал:

— Так. Значит, народ на грузовой, а начальство на легковой...

— Я же...

Данилов перебил его:

— И правильно решил. Пускай начальство на легковой едет, а ты с народом, с народом. Помни, Курбатов, что требовательность к себе — неперемнное качество каждого партработника. Понял? И еще добавлю, что, кроме этого, партработник должен быть прямым, искренним, принципиальным и объективным... Вот, целую лекцию тебе прочел... — Данилов рассмеялся.

Впереди шел «газик» Данилова; грузовая трехтонка, тяжело переваливаясь на ухабах, отстала.

Стоял вечер, светлый, весенний вечер. Солнце опустилось за край горизонта. Верхушки придорожных сосен и легкие вытянутые облачка словно горели в его лучах.

Навстречу бил ветер, и люди в грузовике повернулись к нему спинами. Курбатов, морщась от тряски, холодного ветра, бившего в спину, поглядывал по сторонам. Кто-то из рабочих весело крикнул:

— Эх и места! Ровно тайга какая. На охоту бы сходить!

Курбатов подумал, что, действительно, хорошо бы в следующий выходной взять у Алешина ружье и забраться в лес.

Машина вышла на прямой, как стрела, узкий проселок. Приподнявшись и щуря от ветра глаза, Курбатов взглянул на дорогу. Там, далеко уйдя вперед, катил даниловский «газик», а еще дальше на дороге виднелась какая-то темная приближающаяся точка. «Встречная машина... Грузовик, наверно, — подумал Курбатов. — Наверно, наш, продовольственный... Эх не везет нам, разминуться бы...»

На таком расстоянии он не мог заметить, как та далекая машина ускорила движение, как вдруг выскочил из нее человек и скрылся в кустах. Задыхаясь от встречного ветра, Курбатов радовался хорошему вечеру, розовеющим по краям облакам, бронзовым на косогорах соснам... И вдруг он увидел, как со скрежетом столкнулись две машины — встречная грузовая и даниловский «газик». От машин сразу повалил густой дым. «Газик» перевернулся и завалился на бок, отлетев в придорожную канаву.

Курбатов, не узнавая своего голоса, дико закричал... Когда машина подлетела к месту столкновения, он, расталкивая людей, добрался до борта и прыгнул на землю. «Газик» уже горел, — вернее, горело то, что осталось от машины.

Подбежав к нему первым, Курбатов увидел распростертого на обломках Данилова. Лицо его было мертвенно-бледным и залито кровью. Подбежавшим комму-

нистам удалось поднять его и осторожно положить на невысокую, молодую придорожную траву...

«Что же случилось? — лихорадочно думал Курбатов. — Случайное столкновение? Авария? Вряд ли. Это пахнет другим...»

Данилов был еще жив. Через несколько минут он открыл глаза, уже помутневшие, словно налитые свиновой влагой, слегка приподнял руки и выдохнул:

— Товарищи... всегда... всю жизнь...

Когда глаза его остекленели, Курбатов громко застонал и, отвернувшись от людей, заплакал.

Он сидел возле простертого на траве тела в каком-то забытьи, с трудом представляя себе, что Данилова уже нет. Он не слышал ни криков, ни одиночного выстрела, не заметил, как из леса вышла группа людей, ведя какого-то человека с вывернутыми назад руками. И только тогда, когда этого человека подвели вплотную к нему, Курбатов медленно поднял на него невидящие глаза:

— Кто это?

— Пойман в кустах. Он прятался и пытался уйти...

Курбатов, быстро встав, пристально посмотрел на человека. Вдруг горячая волна ненависти захлестнула его:

— Трохов... Гад!.. Убью!..

Сжав зубы, он сильным ударом опрокинул человека на землю. Он готов был броситься на лежащего, бить и топтать его ногами, но кто-то осторожно и властно взял его за руку. Курбатов прохрипел:

— Подлец... уголовник... убийца!..

С полной отчетливостью пронеслись в голове воспоминания юности. Вспомнил Клаву... Вспомнил, как Трохова поймали с поличным: он спекулировал армейским имуществом на рынке областного города. В поселке состоялось открытое заседание ревтрибунала под председательством Данилова. На заседании выяснилось, что Трохов — сын крупного домовладельца из Петрограда. Отец его после революции сбежал за границу, а сын, скрываясь от ЧК, достал подложные документы и прискал в Печаткино. Спекулянт был осужден на десять лет тюрьмы. И с тех пор о нем не было слышно...

Теперь у Курбатова почти не оставалось сомнений в преднамеренности убийства Данилова. Да, Трохов по-

явился здесь не случайно, это его грязных рук дело. Но только ли его? Вряд ли Трохов просто сводил личные счёты с Даниловым. Нет, тут что-то не так. Но кто же, кто направлял руку убийцы?.. Курбатов терялся в догадках. «Ничего, в ГПУ выяснят, там откроется...» — подумал он, и не взглянув на Трохова, прошёл к машинам.

Данилов и его шофер лежали на одной из машин, аккуратно прикрытые плащами. Коммунисты молча усаживались по своим местам. Оставив на месте катастрофы двух человек, Курбатов отдал распоряжение трогаться. Машины тихо двинулись с места и медленно поехали по дороге.

Низко опустив голову, сидел Курбатов в кузове грузовика. Шофер прибавил скорость. Нужно было к шести часам успеть на областной актив и объявить о случившемся.

Курбатов молчал и ничего не видел. Тяжело молчали и сидевшие в грузовике коммунисты.

Целый рой воспоминаний пронёсся в голове Курбатова. Он припомнил и свое нерадостное детство, и боевую юность, и комсомольскую работу. Он старался сейчас вспомнить каждую свою встречу с Даниловым, который так любил молодёжь. «Горе-то какое, горе, — думал Курбатов. — Какого человека потеряла партия...» — И снова острая боль пронзила сердце, потемнело в глазах.

Не давала покоя мысль о виновниках гибели Данилова. Курбатов знал: у секретаря обкома были враги, и немало. Теперь они порадуются катастрофе... Но тот, кто организовал это убийство, не простой враг, — это было Курбатову ясно. Трохов — только орудие в чьей-то скользкой, подлой руке... Но в чьей? Вдруг он вспомнил, что совсем недавно где-то слышал фамилию Трохова. Да это же было во время телефонного разговора Данилова со своим секретарем! Трохов ждал Данилова в его приемной! Зачем ждал?.. Ждал с письмом от Баранова. Неужели замешан и Баранов?! Подумав об этом, Курбатов тотчас же отказался от своей мысли. Этого не могло быть, это исключалось!.. «Ничего, найдут, докопаются... — утешал он себя. — Партия всё узнаёт». Но воспоминание о последнем телефонном разговоре Данилова, как камень, легло на сердце.

Данилова хоронили через три дня.

Не было конца идущим колоннам. В воздухе, словно рыдая, звенели трубы. Медленно двигался пушечный лафет, и впереди него, на алых подушечках, старые большевики несли два даниловских ордена — скромную награду за ратные его труды.

У могилы было сказано мало слов, — разве могли слова передать всю боль утраты! Таня, примчавшаяся в город, шла с Курбатовым, крепко держа его под руку. Она пошла с ним и тогда, когда он начал пробираться сквозь окружившую лафет толпу, чтобы высказать то, что рвалось, как стон, из груди. Но, едва он поравнялся с лафетом, как понял, что ему ничего не сказать сейчас.

Сдерживая себя, чтобы не разрыдаться, он положил руку на холодную сталь лафета и, словно от этого короткого, почти обжигающего прикосновения, вдруг ясно подумал: «Только так, как ты. Прожить так, как ты. Через жизнь пронести твою ленинскую чистоту. Так же любить людей, как ты, и жить для них».

Он повернул голову, увидел лица людей — строгие, собранные, нахмуренные — и понял, что ничего не надо говорить сейчас: все в эту минуту думают то же, что и он. И оттого, что он понял это, он особенно остро ощутил себя частицей огромного человеческого моря, замершего вокруг, — моря, для которого нет преград и нет смерти.

Однажды пришел к Курбатову гость, которого он никак не ждал. Гость приехал глубокой ночью и осторожно постучал в дверь. Услышав стук, Курбатов быстро откинул одеяло и в одних трусиках вышел открывать:

— Кто там?

— Это я, Лобзик. Открой, Яшка!

Курбатов распахнул двери и, чувствуя, как радость заливает его теплой волной, втащил гостя в комнату:

— Ты!

Он толкнул Лобзика к окну, за которым плыла бе-

лая, светлая северная ночь, и начал тормошить, трясти его, еще не веря, что тот очутился здесь.

Лобзик — Володька Вольский — друг комсомольской юности, бывший беспризорник, потом курсант военных курсов, потом чекист. Подтянутый, в скрипящих ремнях, он стоял перед Курбатовым хмурый. Они обнялись, похлопывая друг друга по спине. Курбатов хотел было разбудить Таню, но Лобзик остановил его.

— Не надо. Пойдем посидим на скамеечке. Я к тебе ненадолго.

Уже по самому тону этих слов Курбатов понял: что-то случилось. Лобзик казался усталым, подавленным, и его черные глаза смотрели без обычного лукавого огонька.

Стараясь не шуметь, Курбатов быстро оделся, и они вышли. Здесь, позади дома, начинался небольшой сад, спускающийся к реке. Молча дошли они до реки и сели. Вода тихо журчала у берегов, шевеля камыш. Временами на ее гладкой поверхности всплескивала рыба и уходила в глубину; круги относил течением.

— Что произошло? — шепотом спросил Курбатов, хотя они были уже не дома и можно было говорить громче.

Лобзик, оглянувшись, медленно повернулся к Курбатову:

— А ты ничего не слышал?

— Нет... — Курбатов встревожился.

— Ты знаешь, меня увольняют, и ни за что. Я хочу в Москву ехать. Как ты думаешь, стоит мне ехать?

Курбатов кинул камешек в воду:

— Если ты уверен — поезжай. Обязательно поезжай.

— И еще... я не могу тебе не рассказать... — неуверенно продолжал Лобзик. — Об этом трудно говорить... Что-то перевернулось у нас, но где, как — я не знаю...

Он рассказал Курбатову о необоснованных репрессиях в городе и о нарушениях революционной законности.

— И это... это выше моего понимания. Ты знаешь, я Дзержинского один раз в жизни видел. Для меня этот человек был... ну, вроде отца. А теперь заветы, методы работы Дзержинского извращаются; старых чекистов увольняют. А молодые... — он замолчал, махнув рукой.

Курбатов продолжал швырять камешки в воду:

— Не знаю, что тебе сказать. Если есть перегиб, то ЦК быстро разберется. Не в нашей природе такие вещи, Лобзик, не в социалистической, вот о чем я думаю... Жаль, Кият в Москве, посоветовались бы. Вот уже три недели в командировке. Бывает, что он там и по месяцу живет...

— Да нет, не в Москве он...

— Как не в Москве! — удивленно вскинул голову Курбатов. — А где же он?

— Вот видишь, ты секретарь, а не знаешь, что Кията исключили из партии и что он уже три недели у нас, в областном городе, в тюрьме сидит.

— Не может быть! Ты что-то путаешь... Что за чепуха!

— Нет, не путаю. На бюро крайкома Баранов внес предложение исключить Кията за то, что он якобы скрыл свое прошлое, что у него родные за рубежом. Вот и всё.

Курбатов был ошеломлен сообщением Лобзика. «Как же это так, — думал он. — Меня, секретаря парткома, даже не поставили в известность. Неужели крайком не мог разобраться?.. Ничего не понимаю!..»

— Не хотел я тебе говорить, но уж выложу сполна, — заговорил Лобзик, — может, от этого и мне полегчает. Понимаешь... в нашей следственной работе большая новость. Сверху пришла директива, что достаточно личного признания обвиняемого, чтобы его считать виновным и судить. Бывало, раньше мы материалы всякие собирали, а теперь всё проще стало. Понял?.. Некоторые следователи, больше из молодых, добиваются подписи протокола особым путем... Теперь и в суд не надо дел передавать. За политические преступления судит тройка при нашем управлении. И дело Кията рассматривать будет тройка. Минимум десять лет по пятьдесят восьмой получит. Вот, Яша, дела-то какие... — Лобзик замолчал, лицо его потемнело. — Думаю, что и я с тобой в последний раз разговариваю...

— Ну что ты еще за чушь мелешь, Лобзик!

— Нет, не чушь это, Яша. Ты вот послушай. Однажды днем я зашел к Кияту в камеру и не узнал его... Видимо, его «допрашивали». Он наотрез отказался подписать состряпанный протокол. Валька ни на что хорошее уже не надеется. Ему приписали шпионаж и вредитель-

ство. Так что ты, Яша, Кията не ищи. Да и я, видимо... исчезну. Не простят мне этого свидания с Киятом, да и многое...

Лобзик махнул рукой и грубо выругался.

Наступило тяжелое молчание.

Курбатов, вздохнув, отчеканивая слова, сказал:

— Этого я так не оставляю. Завтра же поеду в обком.

31

В областной город Курбатов приехал рано утром. До начала занятий в учреждениях он бесцельно бродил по улицам, и тяжелые мысли, как камни, давили его мозг. Он знал, что новый секретарь обкома Кленов — воспитанник Баранова, а потому чего-либо существенного от своего посещения не ждал. Он решил говорить только о партийности Кията и сделать вид, что о его аресте он ничего не знает.

Когда он пришел в приемную, Кленов уже был в кабинете. Секретарь Кленова долго допытывался о цели посещения Курбатова, потом сказал:

— Боюсь, что по такому вопросу он вас не примет...

— А вы доложите ему... По такому делу он не может меня не принять... Вопрос идет о судьбе коммуниста...

Через несколько минут секретарь вышел из кабинета Кленова и, разводя руками, проговорил:

— К сожалению, я был прав... Товарищ Кленов готовится к совещанию. Он просил передать, что принять вас сегодня не сможет...

— А когда же он сможет принять? — спросил Курбатов.

Секретарь пожал плечами:

— На этой неделе он занят... У него...

Но Курбатов не стал продолжать бесполезный разговор, надел кепку, резко повернулся и вышел из приемной. Секретарь недоумевающе посмотрел ему вслед и покачал головой.

На следующий день Курбатов поехал в крайком, но Баранов его не принял. Два дня просидел он в приемной Баранова, наконец его пригласили к председателю областной партколлегии. Молодой, остроносый, с тон-

кими, в ниточку, губами человек разговаривал с ним односложно:

— Я вам еще раз повторяю: Кият снят с работы как скрывший свое прошлое и связи с заграницей. Это же послужило причиной исключения из партии.

— Чепуха, это не доказано, — Курбатов еле сдерживал себя. — В конце концов я как секретарь парткома имею право знать истину. Кият поднял рабочих, за короткий срок сделал столько, сколько прошлый директор не сделал за годы...

— И тем не менее, это так. Пока это всё, что я могу сказать. Вы свободны, товарищ...

— Нет, не свободен!.. — не сдержал себя Курбатов и горячо заговорил: — Да известно ли вам, что Кията я знаю вот с таких лет (он показал рукой рост от пола). Я всю свою жизнь бок о бок прожил с Киятом...

— Вы потише, чего раскричались, — немного смутившись, проговорил председатель партколлегии.

— Не могу я тише! Хватит! — стукнул кулаком по столу Курбатов. — Речь идет о судьбе честного коммуниста... Понимаете ли вы это?..

— Но не о вас же пока... — с тихой издевкой обронил председатель партколлегии.

— Если есть за что, то и меня судите... Может быть, и мне пришьете ярлык врага народа?.. Молно это стало...

— Вот что, молодой человек, хватит истерики, не забывайте, где вы находитесь!.. — крикнул председатель партколлегии, и его и без того тонкие губы пропали совсем.

Курбатов с трудом пришел в себя; сдерживая раздражение и гнев, он притих и сказал:

— Простите... погорячился... Я имел другое представление о партколлегии... Такое, какое было раньше... при Ленине, — добавил он тихо.

— Дайте ваш пропуск, — резко произнес председатель.

Он подписал пропуск (их недавно ввели в крайкое и для коммунистов) и поднялся, давая понять, что дальнейшая беседа ни к чему. Курбатов вышел в полутемный коридор и вдруг почувствовал, что ему трудно дышать.

Записка, переданная ему утром, была короткой: «Если освободишься, зайди, мне чего-то совсем плохо, а поговорить треба. *Булгаков*». После всех дневных дел, тревог, раздумий Курбатов обычно спешил домой: только здесь он успокаивался. Утихало, как боль от лекарства, леденящее душу чувство жестокой несправедливости. Но к старику надо было зайти. «Кстати, поговорим и об этом...»

Булгаков, увидев его, улыбнулся; улыбка была какой-то жалкой, болезненной. Курбатов не видел старика неделю и сейчас заметил, как резко он переменился, — стал будто восковым. На стуле стояли стакан, бутылка с сигнатуркой, лежал начатый лимон. Булгаков, сдвинув их, прохрипел:

— Убери на стол... И дверь прикрой... Вот так.

Он протянул Курбатову желтую, иссохшую руку и, еще раз улыбнувшись, сказал:

— Видишь, как оно всё... Старость, брат, не радость. Врачи по плечу хлопают, говорят: еще будешь топать... а я, Яшка, уже подняться не могу. Сразу скрутился.

Он поправил седую, растрепанную копну волос и, глядя на Курбатова, тихо проговорил:

— Помнишь, когда ты у меня дела принял, после партконференции... Наверно, и ругал ты меня...

— За что же? — спросил Курбатов.

— Как за что?.. Так ведь запустил я тогда партработу на комбинате... И Чухалина проглядел, когда он стал сбиваться с партийного пути... Не одернул его вовремя... Принеси-ка воды эту дрянь запить. — Булгаков взял бутылочку лекарства и стал капать в рюмку. Курбатов сходил на кухню, принес воды. Булгаков выпил лекарство и продолжал:

— Большая моя вина в этом... Ну да я перед партией в ответе. Поняли, что я сдал, и сняли... Теперь же дорога у меня прямая... В землю, в землю пора...

— Я говорил с врачом, — тихо сказал Курбатов. — Ничего страшного, просто сердце у тебя подкачало. Конечно, встанешь...

Старик подмигнул ему: брось, мол, ты это, сам знаю. Потом сказал:

— Ты эту комнату хорошо должен знать...

— Хорошо, дядя Сеня...

— Считай, ты здесь вырос, Яшка, — хрипло сказал Булгаков. — Ты здесь первую ленинскую книжку прочитал. Плохому тебя здесь не учили. Верно или нет?

— Верно, дядя Сеня.

Курбатов обвел глазами комнату — эти стены, оклеенные старенькими, выцветшими обоями, многочисленные фотографии на стенах, листовки в рамке из багета (их помогал когда-то печатать Курбатов), портрет Ленина в простенке между маленькими окнами. И стены, и старинные ходики с кукушкой, и стопка книг на полке, и пузатый комод с гильзой снаряда, в которую были воткнуты сухие рыжие бессмертники, — всё это было давно-давно знакомо ему и дорого с детства. Даже кот — облезший, подслеповатый Филимон, названный так за свою вороватость и блудливость в честь недоброй памяти хозяйского холоуя мастера Филимонова — даже он был неотделим от этой комнаты.

— Так вот, Яша, зачем я позвал тебя, — насупился Булгаков. — Беспокоюсь я, как там с Валькой Княтом. Новое что известно?

— Нет... Не добился в крайкоме, не добился. Баранов не принял. И другие — от ворот поворот. Не выдержал я, накричал там... — Курбатов подробно рассказал Булгакову о своей поездке. Но он не сообщил об аресте Княта, — не хотел волновать больного старого человека.

— Плохо. Очень плохо, Яшка. Я тут лежу, времени у меня много... Словом, хочу тебе свои думки рассказать. Боишься — сразу уходи, не обижусь; сейчас многие с оглядкой живут.

— Не боюсь.

Старик поднял на него выцветшие, как обои на стенах комнаты, глаза и одобрительно кивнул:

— Добре. Худые у меня мысли, Яшка. Ты не думай: «Свихнулся старик». Может быть, я многого не понимаю, что происходит, но вот тревожит меня одна вещь... Помнишь, я тебя учил, что старое неизбежно умирает, а новое неумолимо нарождается и занимает место старого. Так умные люди нас учат, а?.. Диалектика тут, объективный закон. Только скажу тебе честно: то новое, что появилось, мне не по душе. Не знаю, как ты... мне не нравится. Людей честных травят, бездушия много.

При Ленине не так было, нет... Был я делегатом тринадцатого съезда партии, так письмо Ленина к нам, делегатам, читал... Далеко видел Ильич. Ой, далеко...

Он перевел дыхание, говорить ему было трудно:

— Вот, Вальку Кията... который у нас вырос... которого я сам, можно сказать, в партию за руку ввел, — вот, мол, твоя судьба, — взашей выгнали! Кто? Бюро крайкома? Чепуха. Форма одна... Баранов всё сделал. Поверь мне. Один человек это решил, Яша, один... А без партии, без народа один человек у нас решать не имеет права! Не имеет!

Глухой, хриплый голос Булгакова сорвался от волнения.

Курбатов слушал хмурясь. То, что говорил ему сейчас Булгаков, отвечало его самым сокровенным и скрытым пока от всех мыслям.

— Я вот о чем тебя спросить хотел, — тихо сказал он Булгакову: — Ты думаешь — в ЦК знают об этом? О Баранове?

— О барановщине-то? — переспросил Булгаков. — Наверно, знают. Но ты поезжай в Москву. Подскажешь, всё-таки слово коммуниста... Деньги у тебя есть? У меня тут возьми, в шкафу рублей двести есть. И Вальку возьми с собой.

Курбатов промолчал.

— Ничего, — поднимаясь на локте, проговорил старик. — Партия еще скажет свое слово. Так не пойдет дело. Ты это, Яша, помни и не поддавайся нехорошим мыслям. А они, я знаю, бродят у тебя в голове.

Вскоре Курбатов простился с дядей Сеней и ушел: он не мог знать, что это был их последний разговор.

Ночью Булгаков скончался...

Часто беда подкрадывается незаметно. И тут она даже тихонько не постучала в дверь.

Это произошло несколько дней спустя после похорон Булгакова. Неожиданно приехал третий секретарь обкома. Он сразу прошел в партком и с ледяным лицом поздоровался с Курбатовым; сверля его маленькими зелеными глазками, тихо произнес:

— Товарищ Курбатов, мне не понравилась ваша речь на похоронах Булгакова. Дайте мне ваши записи.

— Я по шпаргалке никогда не говорю.

— А напрасно... Я слышал, кстати, что вы в Москву собрались ехать? Относительно Кията.

И это они знают!.. Курбатов стал лихорадочно припоминать, кому он говорил о своем намерении ехать в Москву. Кто мог передать? Но он спокойно ответил:

— Да. Я по-прежнему считаю, что Кият ни в чем не виноват.

Секретарь смотрел на него не мигая.

— Вот что, — тихо, разделяя слова, сказал он. — Вы уже не первый раз протестуете против действий крайкома. Товарищу Баранову, да и остальным, это надоело, вы слишком много на себя берете. Кроме того, вы позволили себе в крайкоме скандалить и оскорблять честных партийных работников. — Секретарь несколько раз нервно провел рукой по лысеющей голове: — Вы, конечно, поняли, зачем я приехал?

— Нет, не понял... Откуда же мне знать.

Усмехнувшись, секретарь сунул руку в портфель, достал и протянул Курбатову какую-то бумажку. Курбатов взял ее, прочитал и — странная вещь! — не вздрогнул, не побледнел, не заволновался. Это было решение крайкома, подписанное Барановым, о снятии его, Курбатова, с работы.

— И жаловаться я вам не советую, — вяло проговорил третий секретарь. — Мы уже сообщили в ЦК мотивировку: снимаем как склочника — во-первых, и за антипартийное поведение — во-вторых. А там пока что верят нам, а не вам. Ясно?

— Ясно. Пока что там верят вам...

— На работу мы вас устроим. А жаловаться... Повторяю, не советую. Дело могло бы повернуться и хуже, но вспомнили ваши заслуги. Учтите и это.

Секретарь обкома уехал, не попрощавшись.

Домой Курбатов вернулся раньше обычного и долго сидел один в пустой квартире. Остаться одному было тяжело. «Пойду-ка снова в партком, надо ведь еще вызвать Прохорова: кажется, дельный человек, правильно решили с занятиями в бригаде... Хотя я уже...» Его знобило, он надел пальто. Выйдя на улицу, он глубоко вдохнул свежий осенний воздух, постоял, посмотрел на

подернутое сумеречной дымкой небо и медленно побрел по улице... «Да, они опередили меня. Но я не Кият, за себя постою. И о нем всё напишу. Старик был прав: наша партия здоровая, ленинская, — разберется. Ничего, дядя Сеня, мы еще повоюем!.. Пусть не сейчас, пусть не сразу удастся, но я не стал бы жить, если б не верил в партию».

Промышленным отделом обкома заведовал давнишний товарищ Курбатов еще по комсомольской работе — Петр Колчин. Идя к нему, Курбатов испытывал странное, незнакомое чувство просителя: черт его знает, как всё это неприятно получается. Однако Колчин принял его так, что ощущение неловкости сразу же пропало; просто встретились два человека, которые давно знают друг друга, долго не виделись и им есть о чем поговорить. Курбатов, здороваясь с ним, усмехнулся.

— А я вот шел по коридору, встретил человек пять знакомых — и хоть бы один поздоровался.

— Может, не узнали, — не сразу сказал Колчин. — Ты здорово переменялся. Вон, — кивнул он на волосы Курбатов, — уже и снежок появился.

Курбатов вкратце рассказал Колчину, зачем пришел. Тот кивнул головой, а потом перебил его:

— Теперь тебя, конечно, на партийную работу не пошлют. Кленов слушать даже об этом не захочет. А если до Баранова дойдет... Иди лучше на хозяйственную работу. Так и лучше и... скорее.

Они договорились встретиться на следующий день.

Весь день и ночь до самого утра Курбатов провел волнуясь и нервничая.

В девять утра он уже был в обкоме — усталый, измотанный бессонницей, с воспаленными, красными глазами.

Колчин встретил его так же тепло и еще издали замахал рукой:

— Есть, есть... Всё уже согласовано, поедешь домой, в Новогорск. Ты бывал там на фабрике фотопленки?

Курбатов грустно усмехнулся. Фабрика эта была на-

столько мала, что ее всерьез никто не принимал: так, дымит какая-то трубчонка, совсем как на комбинате, только труба пониже да дым пожиже. От Колчина эта грустная усмешка не ускользнула. Он сказал тихо, словно боясь, что кто-нибудь может услышать:

— Так надо. Пока. Сам понимаешь. Поезжай в Москву, в главк, за назначением... Фабрика-то Москве подчинена.

— Хорошо. Только домой на день съезжу...

— Я тебе советую скорее ехать в Москву, иначе как бы не опередили. Там давно уже директора ищут. Поедешь, привезешь приказ.

Курбатов, подумав, согласился. Отправив телеграмму в Новогорск, в тот же вечер он уехал в Москву.

В главке, против ожидания, ему не пришлось долго ожидать приема у начальника. То, что начальник главка фотокиноплёночной промышленности Гризодуб — мужчина огромного роста, могучего телосложения, чем-то напоминающий Данилова — встретил его спокойно, хотя и сдержанно, то, что он сразу кивнул ему на кресло и сказал на ты «садись», — Курбатову понравилось, и он сразу почувствовал себя легко и свободно.

Гризодуб просматривал документы, временами исподлобья взглядывая на Курбатова:

— Так, так... Значит, не инженер, не химик... Образование низшее, но — партработник. Люблю партработников! Они для меня на хозяйстве ценнее, чем какой-нибудь старый спец или молодой инженер. Знания — дело наживное. Я сам вот был партработником на Украине. Потом прислали сюда. Трудненько, конечно, пришлось: начал учиться, три курса уже кончил. А ты как дальше думаешь?

— Надо учиться. Сначала хочу хотя бы среднюю школу окончить.

— Директор завода сидит за партой!.. — Очевидно, шутка была невеселой, потому что Гризодуб махнул рукой. — А всё же хорошо, хлопчик. Учиться никогда не поздно. Мне под пятьдесят с половинкой, а учусь, до поздней ночи над книгами сижу. Что же ты с партийной-то работы ушел?

Курбатов вспыхнул, будто его уличили в чем-то нехорошем:

— Там дальше написано... в автобиографии.

Гризодуб быстро перелистал несколько страниц, кивнул головой:

— Вот оно что! Ничего, крепче будешь.

Чем больше Гризодуб говорил, тем сильнее чувствовалось Курбатову в этом человеке что-то уже знакомое, словно однажды виденное; потом он догадался: да, первое сходство не было обманчивым. Точно так же говорил с людьми Данилов, с такой же внешней грубоватостью, за которой неизменно скрывалась ласка. И, поняв это, Курбатов невольно потянулся к Гризодубу, как в свое время тянулся к Данилову, словно для того, чтобы обновиться, прикоснувшись к некоему сказочному живому роднику.

А Гризодуб, захлопнув папку с документами, уже отодвинул ее в сторону, и это резкое движение было тоже хорошо знакомо Курбатову. Данилов — тот так же терпеть не мог документов, когда перед ним сидел их хозяин.

— Ты в отдел кадров иди, я скажу, чтобы тебя приказом оформили. — Гризодуб, тяжело поднявшись, протянул Курбатову широкую — ни дать ни взять моржовый ласт — руку. И Курбатов, неожиданно для себя, пожал ее с такой горячностью, что Гризодуб, грустно улыбнувшись, не то спросил, не то просто подумал вслух:

— А и досталось тебе, хлопчик...

Когда Курбатов уже был в дверях, Гризодуб пробасил ему вслед:

— Если затрет, смотри обязательно звони мне или приезжай.

Быть может, ничего особенного не было в этом разговоре, но Курбатов, выйдя в коридор, не мог заставить себя спуститься этажом ниже, где был отдел кадров.

Стоя в пустом коридоре, он дрожащими руками пытался зажечь спичку и закурить, но спички ломались, не зажигаясь. Он плакал...

Гости собрались как-то все сразу, будто поджидали друг друга на улице. Таня, возбужденная, раскрасневшаяся, всё металась от стола на кухню, всё суежилась и, казалось, готова была всплакнуть, просто так, — про-

сто потому, что плохое уже позади, а сейчас всё как встарь: и гости за столом, и Оленька на руках у отца, и тепло дома, и так уютно поет самовар — подарок дяди Павла Алешина.

Алешин, поначалу тоже возбужденный и радостный, теперь сидел нахмурившись. Улыбнулся он только один раз — когда Курбатов рассказал, как его принял Гризодуб. Курбатов заметил, что Алешин мрачен, и спросил:

— А ты что задумался, дядя Павел?

— Да так... Черт его знает: металлиста в какую-то вонючую живопырку загоняют. Знаю я эту фабрику...

Курбатов положил свою руку на руку Алешина:

— Ничего, дядя Павел, всё уладится.

Но он и сам не очень верил в это «всё уладится»... Ночью ему не спалось. Он стоял у окна: на улице было темно, под косыми струями ливня мотался одиноким желтым пятном фонарь. В серой мути не было видно ничего, только это желтое пятно. Курбатов курил, шурясь от дыма, и внезапно мысль мелькнула в голове: «Да ведь я живу! Живу! И, действительно, всё уладится».

Тихо спала дочка, разметалась во сне Ганя. Он осторожно прикрыл обнаженные плечи жены и, глядя в ночную темноту, на одинокое светлое пятно, затянутое пеленой воды, беззвучно рассмеялся от радости, что действительно жизнь продолжается и что всё будет в ней — и счастье, и работа, и люди, к которым он привык...

Он так и не уснул в эту ночь. «В конце концов, справлюсь, — думал Курбатов. — Это только в начале страшно. Говорят же, что человеку свойственна боязнь перемен...»

Дождь кончился уже под утро, когда за стеклом проступили серые, мглистые осенние сумерки. Осторожно, чтобы не разбудить Таню и Оленьку, он побрился «на ощупь», без зеркала, оделся и вышел — просто побродить по просыпающемуся городу.

...Приказ о назначении Курбатова пришел на пятый день после его возвращения из Москвы.

На следующий день Курбатов проснулся рано: не спалось. Неосторожно повернувшись, чтобы взять папиросу, он толкнул Таню, и та, открыв глаза, пробормотала:

— Что тебе не спится, Яша? И мне мешаешь...

— Не могу спать! Да уж надо вставать — сегодня ведь на работу.

— Тогда хоть полежи спокойно, — недовольным тоном сказала Таня.

— Спокойно? Да разве я могу быть спокойным! Столько лет был на партийной работе, Татьянка, а сегодня меняю профессию. Хозяйственник... директор. Всё неизвестно. Новые люди... А ты — «спокойно»!

— Освоишься! — сонно ответила Таня.

Курбатов воскликнул:

— Конечно, освоюсь, но ведь всякое начало волнует! Хочешь, расскажу, как я думаю начинать...

— Яша, замолчи, спать хочется... Ну расскажи уж, если хочешь...

Курбатов, взволнованный, приподнялся на локте и зашептал, удивляясь тому, как это он раньше ничего не рассказал жене:

— Еще в Москве мне Гризодуб сказал: «Вот, Курбатов, ты и директор. А директор, — говорит, — это не шутка, это почетное для коммуниста звание. Ты правильно сделал, что согласился идти на маленькое предприятие. Большие дела всегда начинаются с малых. Если хочешь быть хорошим хозяйственником, начинай с малого. Только всегда помни, что дебет, кредит да баланс это еще не самое главное. Главное — люди...» Всюду люди, Таня... Да ты спишь?!

Да, Таня спала. Курбатов, медленно погасив палитросу, откинулся на подушку, не понимая, как она могла уснуть сейчас. «А может быть, это я такой эгоист? Она ведь устала... Нет. Неужели мы всё-таки разные с ней?» Он снова погрузился в думы о своей семейной жизни. Он недавно прочитал у Стендаля, что бывают разные виды любви: любовь сердечная, любовь рассудочная, любовь-привязанность, любовь-страсть, любовь-влечение. «Пожалуй, у Тани ко мне была слишком рассудочная любовь. Она любила больше себя, чем меня. А сейчас, конечно, она меня вообще не любит. Так, одна привычка осталась. Видно, прав был старик Булгаков, когда говорил мне: „Только в испытаниях и труде можно разобраться, что же за человек твоя жена“. Но ведь испытание уже было — меня сняли с работы, а она чуть ли не рада этому. Таня, Таня, другая ты стала. И по-

чему это ты радости со мной делить согласна, а когда приходит горе, беда, ты оставляешь их целиком мне?»

Ему захотелось закричать, словно от неожиданной боли. Зарывшись лицом в подушку, он проглотил душастый комок, вставший в горле, и с минуту лежал так, пока не успокоился.

В семь часов, когда Таня встала, он спросил ее:

— Значит, ты меня так и не дослушала?

— Я не заметила, как заснула, — рассмеявшись, ответила Таня.

Курбатов, притянув ее к себе и целуя в теплые, пахнущие подушкой волосы, спросил с мягким укором:

— Тебя разве не интересует моя новая работа?

Таня поглядела на него задумчиво, как бы со стороны, и Курбатов испугался этого взгляда.

— Ты прав, не интересует...

— Но, Таня...

— Я устала, Яков, устала, понимаешь?.. Я устала от всего. Ты знаешь, как тяжело мне было...

Таня говорила приглушенной скороговоркой, она словно не могла остановиться; всё, что наболело, она сейчас выносила наружу, не задумываясь над словами, над тем, обидно это мужу или нет, забывая о том, что иногда одним словом можно глубоко ранить душу. Курбатов не узнавал ее. И только на улице, идя на работу, он подумал: «Неужели она права? Не знаю... Не даю...»

Шел мелкий дождь, холодный осенний дождь, и Курбатов поднял воротник своего макинтоша, — его снова знобило.

Здание было старинное, тяжелое, оно ничуть не напоминало фабрику. Узенькие окна, похожие на бойницы, подслеповато смотрели на обширный мощеный двор и дощатые сарайчики. Подходя к фабрике, Курбатов еще издали увидел какие-то ободранные стены, все в сырых подтеках, будто покрытые гарью. Кое-где штукатурка отбилась, виднелись кирпичи... Курбатов усмехнулся: ничего себе помещение! Вспомнилось, как мальчишками они побавлялись ходить сюда, в пустые залы со сводчатыми низкими потолками. Тогда это был склад,

стоявший на отшибе разросшегося города, словно бы город не хотел его принимать...

Издали рассматривая фабрику, Курбатов морщился: действительно, даже трубы-то порядочной нет. Он быстро подавил возникшее вдруг чувство горечи и заспешил. Смена уже началась, он пришел вовремя.

Едва он вошел на широкий двор, как из дверей фабрики, словно бы навстречу ему, вышло несколько рабочих; с ними шел человек в форме пожарно-сторожевой охраны.

Курбатов, поглядев на людей, заметил, что они тоже смотрят на него и во взглядах затаили любопытство, ожидание, настороженность.

— Кто у вас на фабрике парторг? — спросил он пожарника.

— Я и есть парторг, — весело ответил пожарник, поднося руку к фуражке. — Палкин, начальник охраны,

Курбатов качнул головой:

— А я новый директор фабрики. Будем знакомы.

Палкин довел Курбатова до директорского кабинета, из-за дверей которого доносился высокий, сразу же показавшийся Курбатову неприятным, голос. Он толкнул дверь: за столом сидел грузный бритоголовый мужчина и кричал в телефонную трубку, прижимая ее плечом к уху:

— Что, что?.. Кто это? Канючин, миляга, ты меня слышишь?.. Да, я... Как живу? Какие новости?.. Подожди-ка минутку.

Человек оторвался от трубки и, хмуро поглядев на Курбатова, бросил:

— Я занят. Выйдите в коридор.

— Работайте, работайте, я вам не помешаю. — Курбатов спокойно прошел в кабинет.

— Гражданин, выйдите!

— Ну, а если я всё-таки не выйду? — уже с раздражением ответил Курбатов.

Бритоголовый опешил. Потом, видимо что-то сообразив, прокричал в трубку: «Канючин? Я тебе позже позвоню. Да, позже... Сделаем, сделаем...» — и, повесив трубку, снова обернулся к Курбатову:

— Простите, с кем имею честь?..

Он уже не нравился Курбатову, — и это была твердая антипатия. Узнав, что Курбатов — новый директор,

бритоголовый вскочил, мотыльком выпорхнул из-за стола и, подбежав к Курбатову, вцепился обеими руками в его руку:

— Заждались! Кривин. Кривин, Лука Кузьмич, ваш зам по коммерческой части.

Он выхватил из рук Курбатова кепку, и тот не успел опомниться, как Кривин уже снимал с него макинтош.

С трудом отделавшись от Кривина, Курбатов повесил свой макинтош и, стягивая сзади под поясом гимнастерку, прошел к столу.

Кабинет был небольшой, но хорошо обставленный. Перед столом стояли два массивных кожаных кресла, у стены — диван, покрытый пестрым ковром. В углу, на небольшом круглом столе, красовалась высокая ваза, в которой торчал большой букет засохших, почерневших цветов... Может быть, из-за этих-то цветов и пахло в кабинете чем-то затхлым, несвежим.

Сев за стол, Курбатов на минуту задумался, потом, увидев кнопку, нажал ее. Девушка-секретарша, которую он не заметил, входя сюда, появилась на пороге. Она выжидающе и с любопытством смотрела на Курбатова.

— Подойдите поближе, не бойтесь... Вот так. Ну, здравствуйте. Зовут меня Яков Васильевич Курбатов. Да... товарищ Курбатов.

Девушка застенчиво протянула руку.

— Ну, а теперь о деле. Сегодня меня здесь не будет. Ищите в цехах. Буду с производством знакомиться и с людьми... Вы же тут без меня не скучайте. Да, вот еще: приведите в порядок кабинет. Откройте окна, проветрите.

Увидев табличку «Лаборатория», Курбатов открыл дверь и вошел в помещение. В большой комнате стояли заставленные приборами столы, за которыми сидели лаборантки в белых халатах, — всё это было похоже на аптеку. Курбатов, подойдя к одной из лаборанток, спросил, можно ли видеть начальника лаборатории, и та, соскочив с табурета, ринулась в соседнюю комнату. Курбатов, оглядываясь, заметил уже знакомые ему любопытствующие взгляды и неожиданно смутился:

здесь работали только девушки, и взгляды были не просто любопытствующие, но и кокетливые.

Через минуту дверь из соседней комнаты отворилась, и в лабораторию вошла, щурясь от яркого света, женщина. Она сразу же зажмурила глаза, а потом широко раскрыла их. Увидев Курбатова, направилась к нему:

— Извините, я из темной комнаты, и глаза привыкли к темноте... Вот так, сейчас лучше... Чайка.

— Курбатов, ваш новый директор.

Чайка была одного с ним роста, и Курбатов, глядя прямо в ее серые, лучистые, как у ребенка, глаза, вдруг поймал себя на том, что снова смутился. «Этого только не хватало! Хорошо, что она еще не привыкла к свету и всё щурит глаза, а то было бы вовсе неудобно...»

— Я вас прошу познакомить меня с лабораторией. А главное — с людьми, — улыбнулся он.

— С удовольствием.

Чайка повела его вдоль столов лаборатории, и Курбатов, стараясь прогнать появившееся было — совсем некстати! — смущение, слушал ее объяснения. Она называла какие-то химические формулы, и Курбатов пытался запомнить их, чтобы разобраться на досуге, но потом мысленно махнул рукой: всё равно не запомню, легче будет прочитать. Он с удовольствием слушал ее мягкий грудной голос. Неожиданно он улыбнулся, заметив, что лаборантки не отрываясь смотрели на него. Чайка, уловив улыбку, строго посмотрела на девушек и те, опустив головы, уткнулись в свои пробирки, словно желая сказать, что новый директор — не бог весть какое выдающееся событие и эти пробирки куда интереснее. «Однако они ее побаиваются», — подумал Курбатов. Почему-то он сравнил Чайку с Таней. Конечно, Таня была красивее, но от этой женщины веяло какой-то особой, покоряющей и притягивающей к себе чистотой и добротой.

Полчаса спустя, выходя из темной комнаты, где про-являлись пленки, Курбатов признался Чайке:

— Откровенно говоря, я больше половины не понял. Вам, товарищ Чайка, придется меня просвещать. Впрочем, говорят, что я не такой уж непонятливый. И вот еще что... о чем я хочу вас попросить...

Чайка ждала. Курбатов, хмурясь и улыбаясь одновременно, сказал:

— Я тут всего часа два, людей не знаю, а в кабинет идти не хочу... Не люблю я бумаг, по совести говоря. Может, провели бы вы меня по цехам да растолковали, что к чему?..

Женщина кивнула:

— Я, конечно, с удовольствием, но... Трудно будет растолковать всю нашу технологию. Она у нас сложная.

Она замаялась, и Курбатов, поняв то, что было недоговорено, подхватил:

— Химию я немного знаю. А в цехах не один раз собираюсь бывать. Вы инженер?

Она кивнула снова.

— Вот и возьмите надо мной шефство.

Чайка рассмеялась:

— Мне нравится ваша деловитость, товарищ директор... Ну что ж, от шефства не откажусь. Будет еще одна нагрузка... Пошли!

Войдя в эмульсионный цех, Курбатов растерялся. Просто трудно было поверить, что здесь могут работать люди. Мимо него двигались какие-то смутные тени, в углах светились густо-красные пятна светофильтров, их закрывали клубы дыма. Духота здесь стояла такая, что у Курбатова сразу перехватило дыхание. Чайка, поняв состояние Курбатова, решительно взяла его под руку.

— Темновато... — словно в чем-то оправдываясь, сказал Курбатов. Это прозвучало так робко, что Чайка улыбнулась, но он не видел ее улыбки.

— Это только вначале так. Глаза скоро привыкнут.

Действительно, глаза постепенно привыкли к темноте, он начал различать предметы.

— Почему рабочие в черных халатах? — спросил он. — Ведь в белых-то легче работать в этой комнате.

— У нас еще много этих «почему», — ответила Чайка, усмехнувшись.

Остановившись у одной из ванн, от которой сильно пахло нашатырным спиртом, Чайка начала объяснять новому директору, что такое температурный режим. Вдруг она перебила себя и спросила в темноту:

— Правильно объясняю, Дмитрий Андреевич?

Оттуда донесся глухой голос:

— Да верно, вроде бы...

— Знакомьтесь, — сказала Чайка в темноту. — Это наш новый директор товарищ Курбатов, а это товарищ Мурашко, бригадир. Он хотя и не инженер, но у него и инженеру не стыдно поучиться. Сорок лет работает — почти человеческая жизнь...

— Здравствуйте, товарищ Мурашко, — Курбатов протянул руку в темноту; ему ответили крепким пожатием. — Я вас почти не вижу, но вы всё-таки расскажите, как здесь колдуете.

— Отколдовался уж я, — глухо ответил Мурашко. Чайка встревожилась:

— Что случилось?

— Да так... Последний день сегодня работаю. Допек он меня. Уволил.

— Почему? Кто и за что вас уволил? — настороженно спросил Курбатов.

Мурашко молчал. Чайка объяснила:

— Уволил бригадира, должно быть, Сорин. Это старая вражда; Сорин не терпит, чтобы кто-нибудь лучше его знал производство. И потом, он боится всего нового, а дядя Митя — рационализатор.

— Рационализатор? Замечательно! Ну, а с Сориным разберемся, — сказал Курбатов. — Вы, товарищ Мурашко, заходите ко мне. Сегодня же и поговорим.

— Не бывал я там, — усмехнулся Мурашко. — Может, не стоит?

— Обязательно заходите, я буду ждать.

— Ну, если только ждать будете... — Голос старого рабочего неожиданно потеплел. — Я тогда со всеми приду... Соберу людей и придем. Ждите!

Рабочие входили нерешительно, жались к стенам, садились на краешки стульев. Курбатов, стоя возле стола, ждал, пока все рассядутся. Он подумал: «Ведь за одно это, за то, что рабочие так робеют в директорском кабинете, надо было прежнего директора отдать под суд. А ведь нет — живет и здравствует где-то этот человек, и водочку пьет, и в ус не дует. Спасает его от

всех бед громкое звание «бывший директор». — Курбатов даже зубами скрипнул от злости. — Когда же у нас не по анкетам будут судить о людях? Ведь человек — это всё равно, что книга: о ней нельзя судить по переплету».

Он не заметил, как заполнился большой кабинет, Мурашко постарался на совесть, — пришла чуть не половина цеха. Найдя глазами Палкина, Курбатов кивнул ему: «Проходи сюда, вместе будем разговаривать».

До собрания он обдумал, что будет говорить, а теперь всё забыл. Но когда начал свою речь, то удивился: как всё легко и просто получалось.

— Я, товарищи, сегодня первый день на фабрике. Работать же думаю не день и не два. По совести — производства не знаю. Директором вообще работаю только первый день. Не скрою от вас: новой работы немного побаиваюсь. Однако если поможете, то с работой справлюсь. Хотя я сегодня и был в цехах, но еще многого не усвоил. Да и говорить-то во время работы много нельзя: вы ведь на сделщине. Ну, а сейчас над нами не каплет. Вот я и прошу вас откровенно рассказать не только о своем цехе, но и вообще о фабрике. Конечно, меня больше интересуют недостатки, сами понимаете. Выкладывайте, у кого что болит. Начнем с товарища Мурашко. Он, кажется, ветеран этой фабрики...

Курбатов осмотрел лица рабочих, пытаясь узнать, кто из них Мурашко: ведь они встретились в темноте. И он не ошибся, остановившись взглядом на низеньком, сухоньком старике с бледным, словно бескровным, лицом. Мурашко встал со стула.

— Вас на фабрике все, кажется, дядей Митей зовут?

Мурашко несмело улыбнулся. Комкая в руках кепку, пробормотал:

— Да я и говорить-то на собраниях не умею. Ну, да вот насчет предложений... Говорят, партия поддерживает тех рабочих, которые разные предложения делают. А у нас вот этого не любят. Я, к примеру, два года бьюсь, чтобы заменили посуду для варки эмульсии. Посуда у нас тяжелая, керамическая, да и мала уже. На других фабриках из нержавеющей стали посуда есть. Она и рабочему лучше... Так я вот насчет этого, товарищ директор. В два раза больше можно будет эмульсии варить... И вот еще что...

Мурашко повернулся к рабочим, и те закивали, за-
улыбались ему.

— ...И вот еще что... Мне сегодня как-то удивитель-
но стало. Новый директор с нами на равнях держится.
Прежний-то только фыркал... Ну, а раз директор с нами
так, значит и мы с ним так будем... Мне-то, конечно,
не придется, уволен уже... Вот и всё. Вспомню еще чего,
скажу.

Мурашко сел, натягивая и приглаживая кепку на
колоне. Теперь все смотрели на Курбатова: тот протя-
нул Палкину листок бумаги, парторг прочитал и одоб-
рительно кивнул. Тогда Курбатов повернулся к Му-
рашко:

— Приказ Сорина я отменил, будете работать по-
прежнему. Кто следующий?..

После Мурашко выступили работницы. Они жалова-
лись на то, что Сорин две комнаты занимает, а в обе-
денный перерыв негде поест, что для сушки пленки не
хватает пару — мал котел, что зря пропадает много
азотнокислого серебра, целлулоида, желатина... Кур-
батов слушал и тщательно записывал всё на листке бу-
маги. Он просто был счастлив сейчас: «Пойдет дело.
Пойдет!..»

39

В кабинет Курбатова Чайка вошла без халата,
в скромном, красиво сшитом шерстяном платье.

— Вот и я, — весело сказала она. — Зачем вы меня
вызывали?

Взглянув на нее, Курбатов слегка покраснел. Чайка
сделала вид, что ничего не заметила.

— Эх вы! Уже забыли, что шефство надо мной взя-
ли? Хочу с вами посоветоваться. Садитесь, пожалуйста.

Придвинув стул, Чайка села рядом с Курбатовым
и выжидающе посмотрела на него.

— Вот... по эмульсионному цеху есть предложе-
ние... — запинаясь, начал было Курбатов.

Чайка, догадавшись, о чем пойдет речь, перебила его:

— Знаю. Если достать бачки из нержавеющей ста-
ли и большей емкости, тогда на этих же площадях мож-
но увеличить выработку эмульсии.

— Вот-вот, — обрадовался Курбатов. — Рабочие мне

об этом говорили. Посуду мы новую достанем. Подсчитайте-ка, сколько эмульсии тогда мы изготовим за год?

Чайка, заглядывая в материалы, стала считать на логарифмической линейке.

— Вот, получилось, — сказала она. — Можно увеличить выработку на пятьдесят процентов.

— Неплохо. А теперь посмотрим по поливному цеху. Рабочие говорили, что надо пересмотреть установку... этих самых... ну, вешал.

— Дело там не только в вешалах. От этого котла не хватает пара для сушки пленки. Надо что-то с котлом делать. Вызвали бы вы Дьякова, главного механика.

— Уже ночь, между прочим, — засмеялся Курбатов.

Чайка, взглянув в окно, удивленно подняла брови:

— Да. Время позднее. Но Дьяков на фабрике, он ведь здесь же и живет... в вахтерке.

Курбатов попросил уборщицу вызвать к нему Дьякова и, возвращаясь к столу, подумал, что надо заняться жильем для рабочих; в словах Чайки ему послышался скрытый намек, и он был благодарен ей за него.

Вошел пожилой человек с седеющими усами, живыми глазами, в засаленной кепке, сдвинутой назад. Подоровавшись, Курбатов сразу же спросил его:

— Как можно, товарищ Дьяков, увеличить мощность нашего котла? Это очень необходимо... Садитесь, не стойте в дверях.

— Спасибо, товарищ директор... — Подумав, механик сказал: — Видите, товарищ директор, дело-то в том, что котел у нас системы «Стреля», самый простой и маломощный. В таком виде с ним ничего не сделаешь.

Дьяков снова подумал, поджимая губы, потом добавил:

— Вот разве секции добавить. Когда монтировали этот котел, то зачем-то треть секций выбросили. Они сохранились. Вон за вашим окном под навесом валяются. Пожалуй, если добавить все секции, то пару можно будет больше снять... Этак примерно на четверть, а то и более...

— Сколько нам дополнительно нужно пара, товарищ Чайка? — обернулся к ней Курбатов.

— Того, что Николай Иванович обещает, хватит, — уверенно ответила Чайка.

— А можем мы, Николай Иванович, перемонтировать котел своими силами? — спросил Курбатов.

— А почему нет? Работа несложная... — Дьяков замаялся. — Если хозяин еще подбросит рабочим, то дня за три управимся. Будьте спокойны.

— Это хорошо. Спасибо вам, товарищ Дьяков. Только вот, очень прошу, не надо меня хозяином называть.

Дьяков покраснел:

— Чудно!.. Извините, привыкли... Всё сделаем, товарищ директор, это как бог свят. Когда прикажете приступить?

— Я потом вам скажу, — ответил Курбатов. Заметив, что главный механик вроде бы разочарован этой неопределенностью, он поспешно добавил:

— Делать эту работу мы будем обязательно, только нам еще всё подсчитать надо.

— Известно, — сразу оживился Дьяков. — Хозяйство счет любит. Ну, я пойду, в добрый вам час. Если что нужно, то крикните, я здесь буду.

— Вот всё и ясно! — удовлетворенно выдохнул Курбатов, когда Дьяков ушел.

Чайка улыбнулась и, сразу посерьезнев, опять нагнулась над расчетами. Сделав расчет, она откинулась на спинку стула и, глядя на Курбатова своими ясными глазами, радостно сказала:

— С учетом страховки план будущего года можно увеличить на сорок процентов, себестоимость снизить на десять.

— Ну вот. Это уже похоже на дело. Спасибо вам, милая морская Чайка, мой дорогой шеф! — Курбатов осторожно пожал и потряс мягкую, теплую руку женщины.

Решительное объяснение с Сориным состоялось раньше, чем ожидал Курбатов.

Сорин сам пришел к нему.

Приветственно кивнув головой, он сел в кресло и, вытянув ногу, начал рыться в кармане — искал спич-

ки. Курбатов понял: разговор будет долгим, — и закурил сам.

Выпустив изо рта колечко дыма и следя, как оно, покачиваясь, поплыло над полом, Сорин спросил:

— По-видимому, со мной вы решили не считаться? Вы больше с мадам Чайкой производство изучаете... я имею в виду азы, конечно...

Курбатов курил по-прежнему молча, с любопытством наблюдая за главным инженером и ожидая, что последует дальше. Сорин, не глядя ему в глаза, переспросил:

— Так ведь?

— Слушайте, Сорин...

— Я весь превратился в слух!

Курбатов рассматривал в упор инженера — это полное и, пожалуй, красивое лицо, этот аккуратный пробор, нервные сухие руки с длинными ногтями. Издевательские слова прошли мимо: Курбатов сделал вид, что не расслышал их. Он думал сейчас об одном — только бы не сорваться. И, когда начал говорить, сам удивился тому, как спокоен его голос:

— Так вот, товарищ Сорин. Вы знаете, что у нас на фабрике нет ни столовой, ни красного уголка. Рабочим негде отдохнуть, и обедают они в коридоре...

— Позвольте, но при чем здесь я? Они могут и совсем не обедать, это их личное дело.

Курбатов, удивляясь сидящему перед ним необычному человеку, спросил:

— Кто вы такой? Кто вам дал право так относиться к рабочим? Да понимаете ли вы...

— Что? Вы еще повышаете голос из-за такой чепухи?

— Чепухи, говорите вы? — крикнул, не удержавшись, Курбатов. — Да понимаете ли вы, что эта самая «чепуха» и есть то, из чего мы жизнь строим!

— Понимаю... Но давайте ближе к делу!

— Пожалуйста, — подавил вспышку гнева Курбатов. — Я предлагаю вам сегодня же освободить свой кабинет и переселиться в кабинет моего заместителя по коммерческой части. В вашем кабинете мы оборудуем красный уголок для рабочих.

— Ах вот оно что! Вы хотите пряник рабочим бросить? Как говорят — заработать авторитет...

Посмотрев на лицо Курбатова — впервые за всё время разговора, — он добавил:

— Если вы это серьезно, то такого приказа я не выполняю, не рассчитывайте. Вы не имеете права лишать меня кабинета.

Сорин сказал это таким тоном, что Курбатов снова взорвался:

— Сегодня же, понимаете, сегодня же освободите кабинет!..

Сорин вскочил; он был бледен, губы его дрожали:

— Этого не будет. Так со специалистами не обращаются. Вы, вероятно, не знаете, с кем имеете дело. Я крупный специалист по фотохимии.

— Никто от вас этого не отнимает. Товарищ Сорин, лучше давайте по-хорошему, а то...

— Что?

— Да то, что я с вами работать не буду, — тихо и жестко ответил Курбатов.

Сорин повернулся к нему:

— Вы украли мою мысль. Я хотел сказать то же самое. Интересуюсь только, как вы это думаете сделать. Не забывайте, что должность моя не выборная и не зависит от желания рабочих.

Он так и буравил Курбатова своими узкими глазами.

«Ай да лисичка с прижатыми ушками! Ай да зверек! — подумал Курбатов. — Из таких вредители вербуются».

— Вот что! — наконец сказал Курбатов. — Будет лучше, если вы подадите заявление об уходе, а то всё равно выгоним... С треском выгоним!

— Ну, этого я не допущу! Я благоразумный человек. И осторожный к тому же, я к семнадцати не прикупаю... Заявление я подам, конечно, но имейте в виду, что решать обо мне вопрос будете не вы, а начальник главка товарищ Гризодуб.

— Давайте заявление, послезавтра я еду в Москву, — устало сказал Курбатов.

— Что так спешно? Хотите скорее избавиться от меня?

— Ну, скромностью вы не отличаетесь, — усмехнулся Курбатов. — Не такой уж серьезный вопрос — ваш уход, чтобы специально из-за него в Москву ехать.

Сорин вскочил. Опираясь костяшками пальцев о стол, так что они побелели, он перегнулся к Курбатову:

— Я буду жаловаться... Словом, еще посмотрим, товарищ директор...

Он произнес эти слова с особенным нажимом, с такой язвительной улыбкой, что Курбатов невольно подумал: «Черт его знает, что это за человек, надо спросить у Палкина...»

Встретившись с парторгом, Курбатов спросил его о главном инженере.

— В общем, штучка он, — ответил Палкин. — Сын дворянина. Знающий. Имеет ученые труды, но Мурашко на практике его забивает. А вообще — наглец он и ничему, вроде, не научился.

Курбатов рассказал парторгу о разговоре с Сориным и о своем решении. Палкин одобрил:

— Правильно!

— Значит, я в точку попал? Только уж будем доводить дело до конца. Ты, Палкин, скажи, пожалуйста, своим вахтерам, чтобы всё барахло из соринского кабинета перенесли к Кривину.

41

Курбатов возвращался домой поздно вечером; он спешил, усталость давала себя знать; ему хотелось поскорее поужинать и лечь. Конечно, сегодня опять за учебники не сесть, какие уж тут занятия! Впору только газету почитать да напоследок, перед сном, немного повозиться с Оленькой, если она не спит... И так было уже много дней, с тех пор как принял он этот заводик... Да, хоть и маленький, а не давал заводик покоя. Каждый день открывалось что-нибудь новое, непредвиденное, упущения, подвохи... Хорош был здесь хозяин, нечего сказать!

Подходя к дому, Курбатов не обратил внимания, что в окнах квартиры нет света. На звонок ему никто не открыл; он достал свой ключ.

Тихо и темно было в квартире. Почуввав недоброе, он быстро вошел в комнату, зажег свет. В глаза сразу же

бросилась записка, прислоненная к вазочке. Еще не понимая, что произошло, он оглядел комнату.

Оленькина кровать была пуста, на голом матрасе валялись вещи. Ящики комода были выдвинуты...

Он схватил записку, буквы так и запрыгали у него перед глазами:

«Яшенька, прости меня! Жить с тобой так я больше не могу. И лгать тебе тоже не могу. Для тебя существует только твоя работа; дочка и жена тебе не нужны. Я уехала к отцу.

Таня».

Что-то кольнуло в сердце. Ему не хватало воздуха. Боль в груди всё разрасталась — грубая, сильная, непреодолимая. Он сделал несколько шагов и, схватившись за грудь, задыхаясь, тяжело рухнул на кровать...

Всю эту ночь Курбатов не мог заснуть, мучаясь мыслями о себе и о Тане, о своей неудавшейся семейной жизни. «Таня, что ты сделала, Таня! Ну, сказала бы, поговорили бы, но зачем было уходить?»

Уход Тани потряс его так, как до сих пор ни одно событие. Он знал, что в жизни есть непрочная дружба и неверная любовь, что друзья и жёны могут и покинуть, но никогда не думал, что именно с ним это может случиться. Он не предполагал, что пусть и острые, но всё-таки *семейные* ссоры смогут перерасти во что-то значительно большее. Он искал и не находил своей вины в том, что случилось. Пытаясь обвинить во всем Таню, не мог и этого сделать. В конце концов он приходил к одной и той же мысли: что ж, насильно мил не будешь...

Утром у него повторился сердечный приступ, и он не смог пойти на фабрику... Палкин, придя к директору домой, нашел его в бреду и вызвал «Скорую помощь».

Только на третий день Курбатов поправился. Едва встав, он, после некоторого раздумья, решил пойти к Чухалину, — один он не мог справиться с тем, что творилось в душе. Вспомнилось ему, как в молодости ходил к Чухалину со своими сердечными делами. «Неужели рассердился он на меня и дверь не откроет? —

думал Курбатов. — Или всё еще помнит старое, понял всё?...»

Чухалин жил один в огромной, пустой квартире, оставшейся у него от директорских времен. Эта квартира словно бы наложила на него свой отпечаток: он сделался угрюмым, замкнутым, никуда не ходил и никого не приглашал к себе. Стопка книг, среди которых были и старые издания карамзинской истории, и разрозненные журналы «Мира приключений», тоже свидетельствовала скорее о его равнодушии ко всему, чем о страсти к чтению.

И всё-таки Чухалин хорошо принял Курбатова. Страдание ли, пробудившиеся ли воспоминания о прежних временах, но что-то вернуло его к прежнему Чухалину.

Курбатов рассказал ему всё, и долго они беседовали о том, как это могло произойти, кто в этом повинен, да так и не нашли виновных. Но Курбатову стало легче; сам того не подозревая, он просто искал сочувственного теплого слова — и нашел его здесь.

Во время этой встречи Курбатов вдруг сказал Чухалину:

— Об одной вещи хочу тебя попросить, дядя Гриша. Не обидишься?

— Я уже давно ни на кого не обижаюсь.

— Иди ко мне работать.

Чухалин не сразу ответил:

— Вахтером, Яша?

— Нет, начальником планово-экономического отдела.

Чухалин улыбнулся, морща на лице желтую кожу, и, подумав, ответил:

— Что ж... Ты это раньше придумал или сейчас в голову пришло?

— Давно думал.

— Пойду. Трудно мне одному... А на людях — стыдно. До сих пор стыдно, ей-богу. За то, что барином заделался, что с прохвостом Семенковым связался, за то, что на хороших людей тень навел, даже в Кияте сомневаться стал. Эх, да что говорить, Яша.

Курбатов молча положил руку на плечо старика.

В Москву вместо заболевшего директора поехала Чайка; Курбатов написал Гризодубу большой подробный отчет за месяц работы. Чайка, вернувшись через несколько дней утвержденным главным инженером (об этом Курбатов тоже просил в своем письме), со смехом рассказывала, как ее встретил Гризодуб:

— ...Схватил со стола пачку писем и говорит: «Вон сколько на вашего директора кляуз написали. Что, много дров наломал?» Оказывается, он звонил в горком, справлялся о вашей работе.

— Что же ему ответили?

— Говорят, хорошо взялись.

— Ну, — усмехнулся Курбатов, — этого они, положим, не знают, за весь месяц никого из горкома не было.

Курбатов еще не оправился от болезни, и Чайка с тревогой вглядывалась в его осунувшееся лицо. Хотя она толком не знала, что у директора случилось дома, но чувствовала, что болезнь его связана именно с семейными делами. Она видела, что Курбатов сейчас работал порой просто потому, что надо было работать, глушил себя работой, как алкоголик водкой; домой он совсем не ходил, ночевал в своем кабинете на диване.

Как-то Чайка спросила его:

— Вы бросили семью? Простите, что я задаю такой вопрос, но об этом говорят...

Она смутилась. Курбатов усмехнулся:

— Значит, уже говорят? Ну, а на самом деле всё наоборот: семья меня бросила. Жена ушла из дому — вот и всё.

Чайка, на секунду опешив, спросила тихо:

— Почему же вы раньше ничего не сказали? Тут ведь люди не чужие...

Это был упрек, но такой ласковый, почти материнский, что Курбатов порывисто вскочил и, подойдя к Чайке вплотную, без слов слегка притянул ее к себе. Чайка смутилась, осторожно уперлась ему ладонями в плечи.

— Спасибо, — сказал он горячо. — Но этому не можешь.

Подойдя к двери, Чайка обернулась:

— Если любите, вы должны ее вернуть... Обязательно...

Курбатов остался один и долго смотрел на дверь, закрывшуюся за Чайкой; он прислушивался к себе... Да, он любил Таню и продолжал любить ее сейчас той сложной и противоречивой любовью, к которой всё сильнее и сильнее примешивалось оскорбленное мужское самолюбие...

43

В горькоме Курбатову попало за «разгон кадров». Нажаловался Сорин, написал огромное письмо плановик Полуштукин. К своему удивлению, Курбатов услышал среди жалобщиков и еще одно имя — техника Бочкарева. Вот уж кто, казалось бы, меньше всего подходил к такой роли! Этот тихий, неприметный человек всегда краснел, смущался и терялся, как красная девица, когда Курбатов, заходя в цех, заговаривал с ним. О Бочкареве рабочие отзывались неопределенно: «Из-за угла пыльным мешком тюкнутый». И вот, Бочкарев, оказывается, тоже сочинил клязу, да еще с такими словами, как «антигосударственная политика директора» и «подтасовка, инспирация фактов». Курбатов в горькоме не мог удержаться от смеха, узнав об этой «инспирации», а, вернувшись на фабрику, вызвал Бочкарева.

Тот, стоя на пороге и не решаясь войти в кабинет, мямл в руках кепку. Курбатов смотрел и не верил, что этот худенький, невзрачный человек сочинил громогласную жалобу. Палкин — тот прямо заявил: «Это дело Сорина. Бочкарева на чем-то поймали, он и написал». Надо было выяснить, так ли это.

Однако, едва Курбатов, спросил техника о письме, тот торопливо, будто боясь, что ему не дадут договорить, выпалил:

— Да, это писал я... Увольнение таких специалистов, как Сорин, недопустимо. Так мы в лужу сядем. Вот Чайка из Москвы новые бачки привезла: они из нержавеющей стали и для варки эмульсии не годятся.

Он вытер капельки пота, собравшиеся на переносице. Курбатов, удивленно разглядывая его, подумал:

«Неужели он прав? Может, просто честный человек, и то, что говорит, — это от души?»

— Но ведь такие бачки уже используются на других фабриках. Не мы первые...

— У нас характер эмульсии особенный. Я опасаюсь, что мы в этой посуде ни одной качественной варки не дадим. От металла будет большая вуаль, а это — брак... Как же на такой риск можно идти?

— Хорошо, — кивнул Курбатов, — проверим...

Он и сам немного сомневался: в конце концов, в успехе он был уверен постольку, поскольку его уверенность поддерживали другие. Но что если всё построено на «энтузиазме»? На нем одном далеко не уедешь. Может быть действительно стоило не останавливать фабрику на неделю для переоборудования двух цехов, а спокойно, исподволь провести опытную варку? Он не делился своими сомнениями ни с кем: люди верят в успех, не надо их разочаровывать.

Чайка тоже волновалась, и это было заметно, хотя она пыталась скрыть свое волнение за внешней веселостью. С полной невозмутимостью отнеслась она к тому, что Сорин отказался сдавать ей дела; пожав плечами, она сказала нагло улыбавшемуся главному инженеру:

— Очевидно, вам и сдавать-то нечего, товарищ Сорин...

Неделю фабрика гудела, как большой, растревоженный улей. Повсюду настежь открыли окна и двери; в цехах всё чистили и переставляли, мыли стекла, обметали стены; даже конторские работники, надев халаты, таскали ведра с водой, оклеивали комнаты новыми обоями, выбрасывали и жгли груды ненужных бумаг...

Чайка буквально с ног сбилась в эти дни; пока рабочие переоборудовали и приводили в порядок цехи, лаборатория вела опытные варки, разрабатывала температурный режим... А в плановом отделе, забравшись на стол, чтобы не мешать уборщикам, уже сидел Чухалин и, морща лоб, крикая и беззвучно матерясь, изучал полуштукинское наследство.

Наконец «сабантуй», как назвал уборку Палкин, кончился. Курбатов шутил: «Не фабрика, а поликлиника, честное слово», — все ходили в новых белых халатах, неловко вытянув вперед руки, чтобы, не дай бог,

не испачкаться, хотя чистота всюду была такая, как дома под праздник.

Курбатов, сам в белом халате, тоже не знал, куда девать руки, — это было немного смешно, и он чувствовал себя, как ребенок, получивший в подарок долгожданную вещь.

И вот наступил день, когда в цехе началась варка. Чтобы никого не смущать и показать, что для беспокойства нет оснований, Курбатов ушел из цеха. И только оставшись один в кабинете, впервые за все эти дни, почувствовал, что смертельно устал, что не может больше жить в таком нервном напряжении. Одному оставаться было трудно, и, покинув кабинет, он быстро пошел по коридору. Несколько рабочих, устроившись в бывшей комнате Сорина, пили чай, подстелив под стаканы газеты. Когда Курбатов вошел, они разом закивали ему, загремели стульями, подвигаясь и давая место директору. Кто-то сразу подвинул ему стакан с жидким, но горячим чаем, на клочке газеты рядом со стаканом оказались два куска сахара.

Курбатов молча сел и, не замечая ожидающих глаз, отхлебнул из стакана. Молчали и рабочие; им неудобно было начинать разговор первыми. Все-таки один из них не выдержал:

— Волнуетесь, Яков Васильевич?

— Не без этого.

— Ну, ничего... И Москва не сразу строилась.

— Не расстраивайтесь, Яков Васильевич. Дело верное.

Весть об успехе принесла Чайка, разыскавшая Курбатова. Когда она вошла в комнату, все вскочили и обступили ее.

Напряжение, которое владело Курбатовым последние дни, тревожные часы ожидания, споры, сомнения — всё это собралось сейчас в один клубок, сжалось, как пружина, готовая с силой распрямиться и ударить...

— Как?.. Какой результат?

Чайка тяжело опустилась на пододвинутый стул. Голос ее звучал спокойно, по-деловому:

— Результат хороший. Вуали нет. Да так и надо было ожидать.

Валерия Чайка получила в новом доме квартиру из одной комнаты, прихожей и кухоньки. Но, прежде чем зайти к ней, как обещал, Курбатов обошел весь дом, радуясь тому, что людям наконец-то дали долгожданное жилье. Общежитие ему не понравилось; работники, поселившиеся в нем, пожаловались на многие недоделки. Курбатов обещал написать об этом в стройтрест.

— Спасибо вам, — поблагодарила одна из работниц. — И как не совестно им! За двадцать-то с лишним лет советской власти и не то научились делать, а вот дома строят — ровно для галочки.

— Для какой Галочки? — не сразу понял Курбатов.

— А для такой, что в бумагах ставят. Сделают дом и поставят галочку — мол, готово. А что в него живой человек въедет — неважно. Вот и получается, что для галочек работают.

Курбатов решил, что обязательно поговорит о новом доме не только в исполкоме, но и в горкоме; в конце концов, строительство — это та же политика; вон как работница говорит: за двадцать с лишним лет советской власти не научились...

Чайка ждала его. Когда он, хмурый, раздосадованный недавним разговором, вошел в ее квартиру, Чайка обрадованно кивнула на вешалку:

— Ну что ж вы не раздеваетесь? Или это обход по обязанности?

Стягивая реглан и вешая его, Курбатов спросил, нравится ли ей новая квартира, и Чайка ответила, что в мире всё относительно; прежняя комната была куда хуже.

Приглаживая волосы, Курбатов вошел в комнату. Здесь он увидел мальчика лет девяти, поднявшего на Курбатова огромные, такие же, как у Чайки, серые глаза. Только глазами он и напоминал мать. Протянув тонкую белую руку, он сказал: «Сережа», — и отошел к маленькому столику со школьными тетрадками.

— Это... ваш? — тихо спросил Курбатов. — Вы никогда не говорили...

— Просто не приходилось. Садитесь. Я пойду разогревать чай.

Курбатов остался вдвоем с Сережей. Не зная, как начать разговор, он спросил то, с чего обычно начинают взрослые, не умеющие разговаривать с детьми:

— Как ты учишься?

— Ничего.

— Пэсэ есть?

— Что? — не понял Сережа.

— Пэсэ. Вот когда я учился, нам такую отметку ставили — пэ-сэ. По-сред-ственно. И я ее получал тоже.

Сережа засмеялся. Курбатов прошелся по комнате, рассматривая вещи, стараясь угадать по ним характер их хозяйки, — ведь вещи всегда несут на себе черты тех, кто ими владеет. Но на этот раз они были молчаливы. То ли потому, что все, или почти все, вещи были здесь новыми, то ли потому, что Курбатов не понял их языка, — он видел просто чистую, уютную комнату. Фотографии, аккуратно развешанные на стене над диваном и Сережиным столом, заинтересовали его больше... В раме из багета висел портрет мужчины, — на Курбатова глядело властное, даже чуть грубоватое лицо, с капризными тонкими губами. Курбатов кивнул:

— Это отец?

— Да.

Лицо Сережи потемнело, — очевидно, об отце здесь не говорили или, во всяком случае, не спрашивали.

Когда Чайка, держа в одной руке чайник, а в другой тарелку с хлебом, вошла в комнату, Курбатов и Сережа сидели на диване и Курбатов показывал фокус: «втирал» в рукав монету, которая мгновенно, чудесным образом, оказывалась у него за воротником. Сережа, повизгивая от восторга, добивался от гостя, «как это делают».

— Идите к столу, мужчины, — распорядилась Чайка.

За столом неожиданно наступила томительная, неловкая тишина. Сережа как-то торопливо допивал свой чай, косясь то на мать, то на Курбатова; потом он, попросив у Чайки разрешения, вышел из-за стола и полувопросительно, полуутвердительно сказал:

— Я пойду гулять.

— Иди, дорогой. Только не забудь об уроках...

Когда за Сережей захлопнулась дверь, Курбатов задумчиво сказал:

— Большой у вас сын...

Чайка промолчала. Оба по-прежнему чувствовали себя неловко.

Чайка первая прервала молчание: она заговорила о делах, о новом строительстве, о том, что хорошо было бы расширить сушильный цех за счет освобождающихся складских помещений, и Курбатов чувствовал, что говорит она это, чтобы скрыть такую же, как и у него, неловкость. Он отвечал односложно, думая о том, что с этой женщиной у него складываются какие-то странные, необычные отношения. Он не хотел лгать ей, не хотел говорить, что любит ее. Но Чайка была дорога ему, близка, он во всем находил в ней отклик. И, думалось ему, может так и надо? Может, это — влечение к женщине-другу? Он тихонько окликнул ее по имени:

— Валерия...

— Что?

— Я хочу спросить вас...

— Не надо, — она сказала это испуганно, опуская глаза.

— Если можете... расскажите о муже...

Чайка поднялась и подошла к дивану, посмотрела на фотографию мужа. И когда она обернулась к Курбатову, он поразился угрюмому и суровому выражению ее лица.

— Его украли у меня. Это было давно, сейчас я почти всё забыла. Но Сережа... Понимаете, дети не должны расти без отцов, а он этого не понял или не хотел понять... Так вот — деритесь! Не отдавайте никому жену и дочь.

То, что сейчас говорила Чайка, шло из таких душевных глубин, куда Курбатов никогда еще не заглядывал. Чайка была бледной; когда он бросился к ней, бормоча какие-то успокоительные слова, она вытянула вперед руки, словно защищая себя:

— Не нужно... Идите, Яша. Я боялась этой встречи. Не так-то легко оттолкнуть вас, но уходите...

Он вышел на улицу потрясенный. Был вечер. Теплый июньский ветер шевелил верхушки молодых лип, высаженных вдоль тротуаров. В этот предвыходной день на улицах былолюдно, но Курбатов шел, никого не замечая, и не сразу расслышал, как его кто-то окликнул. Это был Алешин.

— Ты что такой мрачный?

— Да так, — неопределенно ответил Курбатов.

Ему хотелось сейчас побыть одному, но Алешин тащил его в городской парк:

— Пойдем, посидим, выпьем по кружке пива. Такая погода стоит, что и меня, старика, на люди потянуло. Пойдем.

Пришлось пойти: не хотелось обижать Алешина, да, может, так было и лучше.

Они сидели в парке, Курбатов отхлебывал из кружки теплое горьковатое пиво и рассеянно слушал, что ему говорит Алешин. Внезапно он подумал: «А ведь она права, Чайка! Тысячу раз права!»

— Дядя Павел, погоди...

Алешин замолчал, подняв седые брови.

— Помоги мне разобраться...

Когда он рассказал ему всё, Алешин усмехнулся:

— В двух соснах заблудился. Эх, Яшка! За одну, за одну держаться надо. Конечно, дерись! Дерись, брат!

...По дороге к дому Курбатову повстречался Озеров.

— Как живем, дядя Коля? — пожимая руку старику, спросил Курбатов.

— Да что, живем, работаем, к бою готовимся. Смотри, как лучше жить-то стало. Вовсю разворачиваемся. Сила, у нас сила.

Озеров любил поговорить о международном положении, и при этой встрече он не утерпел и спросил Курбатова:

— Ты веришь, Яков Васильевич, в договор, который мы заключили с Гитлером? А я так, по правде тебе скажу, не верю в него, не верю.

Сам Курбатов не особенно верил в силу договора с фашистской Германией, и он ответил старику:

— Что вам ответить, право не знаю. Одно мне ясно, что порох нам надо держать сухим и успокаиваться нельзя...

* * *

В тот самый день, когда Курбатов и Алешин сидели в парке, когда смеялись кругом люди, когда чудесная июньская ночь плыла над миром, зажигая неяркие

звезды на светлом северном небе, — чужая, огромная, полная ненависти сила замерла далеко отсюда, у государственной границы, чтобы спустя несколько часов ринуться на мирную страну... И многое, что казалось людям очень важным и значительным в жизни, вдруг стало мелким и неважным, и все поняли одно: главное — выстоять, победить озверелого врага!

Таня и Оленька приехали на следующий день после начала войны. Курбатову было ясно, что побудило вернуться жену: слишком велика была человеческая беда, чтобы ее можно было встретить порознь.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Уезжал он из Новогорска на рассвете. Тани не было дома: ее срочно вызвали в областной центр организовывать эвакуацию детских домов на Урал. Она уехала вместе с Оленькой, и Курбатов, собираясь в дорогу, с грустью брал в руки игрушки, брошенные на полу, смотрел на карандашные черточки у дверного косяка, отмечавшие ежегодно Оленькин рост, на пустую дочкину кровать...

Он невольно стал вспоминать всё, что произошло с ним за последние дни... Да, иначе он поступить не мог. Что из того, что у него была так называемая броня, дававшая право не идти на фронт. Можно ли в такое время сидеть в тылу? Понадобилось немало хлопот и напряжения, чтобы убедить секретаря горкома отпустить его.

Выведенный из себя настойчивостью Курбатова, сек-

ретарь кричал на него: «Да ты понимаешь, чего хочешь?! У тебя фабрика, новое строительство... Ведь это тот же фронт... И не дури, не отнимай у меня и у себя время. Оно, брат, сейчас очень дорого...»

Курбатов терпеливо выслушивал секретаря горкома и, как бы соглашаясь с ним, кивал головой, а потом начинал всё сначала.

Это он предложил сделать Чайку директором. В конце концов секретарь горкома сдался. Радостный, Курбатов прямо от него побежал в военкомат получать документы.

Потом он сдавал дела Чайке... Валерия была бледна и скучна. Ни с того ни с сего она завела разговор о Китае, и Курбатов рассказал ей о своем друге. Рассказал, что перед самой войной получил от него письмо. Валя писал, что работает токарем, чувствует себя хорошо; правда, восстановиться в партии ему пока не удалось, но совесть его чиста, в свою правоту он верит.

В столовой Чайка купила несколько пачек печенья, и, когда они вернулись в кабинет, она взяла чемоданчик Курбатова, открыла его и положила туда покупку. «Это, Яша, вам на дорогу, вспоминайте меня», — она сдержанно улыбнулась и посмотрела на него своими большими красивыми глазами. Потом отвернулась и всхлинула...

— Не надо! — волнуясь, чувствуя застрявший в горле комок, проговорил Курбатов.

Чайка попыталась улыбнуться, но вместо этого совсем расплакалась и стала пить из стакана воду.

Курбатов посмотрел на часы.

— Мне пора, — отрывисто сказал он. — Давайте поцелуемся, что ли, по русскому обычаю...

Чайка отпрянула от него.

— Кто знает, может не увидимся, — проговорил он. — В первый раз, может и в последний...

— Нет, нет, не надо... Я сама... — Она подошла к нему и крепко поцеловала в губы.

— Но я твердо верю, что вы вернетесь с войны, — тихо добавила она.

Придя домой, Курбатов обнаружил в почтовом ящике письмо. Почтовый штемпель «Магнитогорск 15641» удивил его. Он торопливо разорвал конверт, вынул письмо и прочитал:

«Дорогой Яков Васильевич!

Пишет известная вам Надя Белкина, та самая девушка, которую вы когда-то выручили из беды. Прошу извинить меня за то, что я, после того как послала вам деньги, так ни разу и не написала. Мне просто стыдно перед вами, ведь вы сделали для меня так много. Но, по правде, я не хотела писать вам до тех пор, пока мы не построим наш завод и наш город... Вам теперь известно, что домны Магнитки задуты. На строительстве я освоила две профессии, а сейчас работаю лаборанткой в металлургической лаборатории нашего завода. Увлелась я, даже химию изучаю. Мне кажется сейчас, что счастье человека целиком зависит от того, удалось ли ему угадать свое призвание и выбрать себе профессию. Моя работа состоит в том, что я в определенное время беру пробу чугуна, делаю анализ на содержание в чугуне серы и углерода и сообщаю результаты анализа доменщикам. Эта работа мне очень нравится. Ведь самая высшая награда для человека — то, когда он увлеченно трудится. Может, я не права?

Дорогой Яков Васильевич, вы для меня сейчас самый родной человек на земле, даже больше, чем отец. Я хочу вам сообщить свою сердечную тайну: я здесь полюбила одного парня. Он самый лучший на свете. Он тоже меня любит. Мы решили пожениться. На воскресенье 22 июня назначена наша свадьба. Родителей у меня нет, и я очень хотела бы, чтобы вы, как мой названный отец, приехали на нашу свадьбу.

Приезжайте в Магнитогорск, дорогой Яков Васильевич. Я жду вас на свадьбу.

Крепко целую. *Надя Белкина.*

(Не забыли? Я «вредитель», и вы меня выручили из беды.)»

«Нет, не забыл я тебя, девушка моя хорошая! Но день для свадьбы выбран неудачно... — грустно подумал Курбатов. — Да, невеселая у тебя получилась свадьба. И жених твой, наверное, уже со сборного пункта отправлен в часть...»

В это время гул самолета прервал горькие размышления Курбатова. Немцы начали бомбежку тракторного завода.

Через два дня он прибыл на место назначения.

Командир полка — маленький, необычайно подвижной, излишне крикливый подполковник Ездаков — понравился Курбатову. И тем, как он принял нового комиссара — без частой у кадровиков полунасмешливой мины, — и тем, как сразу же начал рассказывать о делах, Курбатов безошибочным чутьем угадал в подполковнике простоту, которая вырабатывается среди таких же простых людей. На бледном, испещренном рябинками лице Ездакова он прочел следы глубоких волнений и страшной усталости.

— От самой границы драпаем, черт их дери. Ты посчитай, сколько это?.. Да, брат, не думали мы раньше, что так получится. Выходит, расплачиваемся за упущения и ошибки мирного времени. Не так ли, комиссар?

Курбатову не хотелось сразу же вступать в длинный разговор на самую болезненную для него тему, но и промолчать он считал для первого знакомства нетактичным. Он ответил просто и немногословно:

— Да. Много было у нас розового бодрячества. Хвастовство это по шеям нам обернулось.

Ездаков продолжал говорить торопливо, будто боясь, что его сейчас куда-нибудь вызовут или начнется бой и ему так и не удастся сказать новому комиссару самое важное:

— Комиссара у нас убили... Человек он был неплохой, но говорил больше лозунгами, кандидат философских наук. Кстати, учти: солдаты слова не очень жалуют. Вот когда коммунист поднимется первым в атаку да погромче крикнет: «За Родину!» — пойдут за ним, хоть земля расколится. А все эти речи — невтерпеж. Сам знаю, что без этого нельзя, а скучно. Понять надо: ребята, как говорится, «под богом ходят», сегодня жив, а завтра, глядишь, и нет. Песню любят, разговор по душам любят...

Курбатов усмехнулся, и Ездаков сразу уловил эту усмешку.

— Что? Знаю, знаю, сейчас мне лекцию прочтешь.

— Нет, помилуй бог, что ты! — Курбатов сделал жест, словно отмахнулся от чего-то. — Просто вспомнил, как я однажды приехал в Няндому, секретарем рай-

кома комсомола. Так мне ребята там точно так же говорили... Это было давно, много лет тому назад.

Курбатов вспомнил и рассказал Ездакову эпизод из своей биографии... В 1924 году комсомольская работа в Няндоме была очень развалена. Занимались только политпросвещением: доклады, лекции, беседы. И так это всем надоело, что многие перестали ходить в клуб. Собрался актив, а это были в основном рабочие ребята — комсомольцы из депо. После доклада Курбатова выступил один парень и сказал: «Всё полит да полит, у нас уже брюхо болит. Ты, новый секретарь, должен нас понять. На «полит» мы тогда будем ходить, когда ты нам и спорт, и художественную самодеятельность, и танцы организуешь, а голые словеса нам твои ни к чему...»

— Вот-вот, — мгновенно подхватил Ездаков, обрадовавшись тому, что нашел общий язык с комиссаром. — Ну да ладно, сам увидишь. Ты сейчас куда — в подразделения? Иди, попозже встретимся, разьясню обстановку. Хотя... хреновая она, брат, обстановка-то. Немец два дня молчит, не иначе как перед наступлением. Я его, подлеца, изучил...

3

Выбравшись из хода сообщения, Курбатов прошел мимо обгоревших деревьев, рядом с которыми стояла черная печь. От углей, рассыпанных вокруг нее, шло еле заметное тепло, — дом сгорел недавно.

— Вы, товарищ, шагайте обратно. Теперь я один дойду, — приказал Курбатов провожавшему его солдату.

Его окликнули сразу, едва он прошел руины. Он назвал пароль и подошел к часовому. Увидев батальонного комиссара с красной звездочкой на рукаве, тот вытянулся.

— Что здесь? — спросил Курбатов.

— Разведчики, товарищ комиссар.

Курбатов шагнул к землянке, откуда слышалось тихое бречанье на гитаре. Пригнув голову, чтобы не удариться о землю, Курбатов спустился по осыпающимся ступенькам и толкнул дверь.

В просторной землянке было человек пятнадцать.

Кто лежал, кто сидел на нарах, а коренастый паренек в голубой, полинявшей от стирки майке что-то рассказывал, очевидно смешное, потому что на всех лицах, повернувшихся к вошедшему, застыли улыбки.

Кто-то скомандовал: «Встать!» — и люди встали нехотя, вразвалочку. Курбатов подумал: «Плохо...»

Парень в майке, крепыш низенького роста, с веселыми глазами, бойко доложил:

— Отделение разведчиков отдыхает после поиска. Происшествий нет. Командир отделения — старшина Меркулов...

Потом старшина, склонив голову набок и прищурив зеленые кошачьи глаза, сказал:

— А я, вроде, вас, товарищ комиссар, впервые вижу.

— Я новый комиссар полка, — неторопливо ответил Курбатов. — Вот пришел знакомиться. Да вы садитесь. Вольно, товарищи.

Он чуть было не сказал по обыкновению «садитесь», — и спохватился, но поздно. Парень с кошачьими глазами понятиливо кивнул:

— Значит, с гражданки прибыли?

— Да. Вы что-то рассказывали, кажется. Досказывайте, а я послушаю.

Один из разведчиков приподнялся на нарах и тихо спросил:

— Долго здесь стоять будем, товарищ комиссар? Драпать когда опять начнем?

— Почему драпать? Может, наступать будем, — помедлив, отозвался Курбатов и понял, что ответ был не тот, которого от него ждали: люди уже прошли на восток сотни километров, вдосталь хлебнули и стыда и горя, а он только приехал и делал вид, будто ничего не знает и что отступление вроде бы закончено.

— Конечно, идем-то мы вперед, — раздался чей-то насмешливый голос, — только пятками.

— Вот-вот... И глаза на затылок переместились... — поддержал другой голос.

Курбатов мельком взглянул на одного из острословов, увидел ехидную улыбочку, такую неприятную, будто говорившую: «Много ты понимаешь, ты вот пошагай с наше и на брюхе под огоньком поползай, поголодай, подрожи от страха, а потом уж в командиры лезь...»

Да, он ждал таких улыбочек и таких настроений.

А может быть, парень не хотел сказать ничего подобного и настороженному Курбатову просто почудилось это? Он сказал не вполне уверенно:

— Отступать скоро кончим... Гитлер хвастал, что к осени выйдет к Уралу — и вот застрял же. Пора, вроде бы, и назад ему податься.

Слова были снова не те, которых ждали, но сразу других Курбатов не нашел: он просто высказал то, во что верил, о чем мечтал, — всё то, чем он жил эти месяцы. И он сказал уже твердо:

— Да, товарищи, отступать больше нельзя! Хватит, поугали нас гитлеровской силой, да и сами себя мы запугали. Когда я на грузовике добирался сюда в часть, то чего только не наслушался! Противно! Один солдат говорил, что у фашистов силы втрое больше. Втрое! Точно высчитал! Но пусть фашисты сейчас сильнее нас техникой, скоро мы им покажем! Хотите — верьте, хотите — нет... Сами убедитесь.

Разведчики внимательно слушали комиссара, но чувствовалось, что они не вполне верят ему.

Курбатов попросил старшину Меркулова проводить его в ближайшую роту, и тот с готовностью вскочил, натянул гимнастерку.

— Стреляют там, — услышал ехидный голос Курбатов. Он резко повернулся, встретился с говорившим глазами и сказал внятно, так, чтобы запомнился даже самый тон, каким он говорил:

— В меня, брат, уже тогда стреляли, когда ты в штанишки ходил... Понял?

Разведчики шумно рассмеялись. Вместе со старшиной Курбатов вышел из землянки.

— Языкастые у вас...

Старшина хитро улыбнулся:

— Одно слово — разведчики, товарищ батальонный комиссар. У жизни на самом краешке ходим. Ну и начальство, конечно, балует. Не без этого.

— Голубая кровь? — усмехнулся Курбатов. — Коммунистов в отделении много?

— Я один. Остальные — комсомол всё. И один бывший.

— Как бывший?

— Да так вот. Исключенный из партии. Он сейчас как раз в поиске. Только вот что, товарищ комиссар, —

неожиданно горячо заговорил старшина, дотрагиваясь до рукава Курбатова. — Я знаю всю его историю: неверно его из партии выгнали. Я и еще два коммуниста из батальона тут заявление составили, чтобы, значит, пересмотреть...

Они спустились в траншею: всё чаще и чаще их окликали, спрашивая пароль, и Курбатов не дал старшине договорить:

— Хорошо, после разберемся. Приходи, как будешь посвободнее, ко мне — поговорим. И своего «бывшего» обязательно тащи.

В этот день он побывал в нескольких ротах, заводя новые знакомства, разговаривая с коммунистами, и вернулся в штаб полка затемно.

Ездаков был бодр и суетлив по-прежнему, только синие мешки под глазами свидетельствовали о том, что командир полка прикорнул на пару часов.

— Ну как? — повернулся он к Курбатову. — Знакомься, вот наш начштаба, а это (он кивнул на двух офицеров) — комбаты, два и три. Чего интересного нашел?

— С первого взгляда много не найдешь, — уклончиво ответил Курбатов. — Как дальше дела пойдут? Наступления ждать?

— Надо думать, полезут, — ответил Ездаков, кивая на карту. — А приказ пришел — занять стойкую оборону. Видал, что за два дня мы наворотить успели? Первый раз такую оборону занимаем. Обычно как бывает? Копнет солдат лопаткой — голову спрятать, а фундамент весь наружу торчит.

Курбатов посмотрел на карту. Среди голубых, желтых и зеленых пятен, названий и цифр вились нарисованные красным карандашом линии траншей, значками торчали пушки, четко выделялись сектора обстрела. Это был район обороны полка. Курбатов, всматриваясь в линии и кружочки, сказал:

— А настроение-то у многих неважное. Не верят люди, что мы здесь остановились. Разведчики и те спрашивают, когда назад пойдём.

— Ну, а еще что заметил? Настроение? Вот и поднимай его. Это уже твоя обязанность, комиссар. Верно, настроение нужно. Без настроения воевать — всё равно что живым в землю ложиться.

Первый бой застал его в одной из рот. Суматошно и часто затрещали выстрелы. Где-то наверху прошеле-стели и грохнули позади траншеи первые снаряды. С неприятным квакающим звуком лопнула одна, другая, третья мина, и земля словно зашевелилась от стали, корежащей ее тело. Курбатов ощущал это движение земли почти физически. Он весь прижался к ней, словно стараясь уйти в нее, холодную и сырую, по-дальше от этих разрывов, каждый из которых нес одно: смерть. И это желание на какую-то минуту стало сильнее его; с трудом заставил он себя приподнять голову и оглядеться.

Рядом с ним в траншее сидели двое солдат; они жадно курили, и Курбатов заметил, что у обоих дрожат руки. «Крепятся... Значит, ничего... Значит, и я так должен». Он сунул руку в карман, вытащил портсигар, бросил в рот папиросу. Спички куда-то исчезли, напрасно он искал их по карманам. Боец поднес ему свою сигарку:

— Прикуривайте, товарищ комиссар...

Во рту было сухо от волнения.

— Немец еще нескоро пойдет, — доверительно сказал ему солдат, — так что успеем покурить.

Бой был трудным. Первая и вторая волны наступающих словно бы наткнулись на какую-то невидимую стену и затихли, залегли. Третий бросок гитлеровцам удался: они ворвались в траншею слева, но тут же, отсеченные огнем, откатились назад. С прорвавшимися немцами расправлялись врукопашную.

Когда немцы появились в траншее, Курбатов, стреляя по ним из автомата, впервые за время боя подумал о том, что сейчас его могут убить, и только наша артиллерия, с опозданием открывая огонь, отогнала эти мысли. Когда бой затих, Курбатов, оглянувшись, увидел солдата, у которого прикуривал: тот беспомощно лежал на дне траншеи, подвернув под себя ноги, и глядел в небо тусклыми, уже остекленевшими глазами...

К вечеру Курбатов вернулся в штаб с одной мыслью: скорее вымыться, вытряхнуть из гимнастерки землю и снова пойти по подразделениям. Надо узнать, как выполнялись короткие — устные, не записанные нигде —

решения партийных собраний. Потом — безобразие, что артиллерия опоздала; даже он, человек штатский, понимал, что между передней траншеей и наступающими гитлеровцами надо было поставить огневой заслон. Может быть, из-за этого промедления погиб и тот солдат, у которого он прикуривал! И Курбатов пошел к артиллеристам, резко поругался с майором-артиллеристом, поругался прямо с ходу, с первого слова, даже не спросив фамилии.

Ездаков разыскал его через связных:

— Шумишь уже? Шуми, без этого, конечно, нельзя. На начарта я взыскание наложу, это будь спокоен. Видите ли, не нашли времени пристреляться!.. Засуетились! Словно первый день воюют... А ты, между прочим, комиссар, на рожон не лезь; мне доложили: лежит себе спокойненько да из автомата строчит.

Лицо Ездакова стало жестким, он быстро зашагал по землянке и, резко остановившись перед Курбатовым, спросил:

— Тебя раньше за личный пример никогда не били?

Курбатов улыбнулся:

— Били.

— А здесь будем вдвойне бить. Наш-то философ хоть и любил митинговать, а ведь зря погиб: пошел в контратаку вот так же, с винтовочкой. Нет, брат, уж если надо — коммунист должен красиво, с толком погибать. Так должен погибнуть, чтоб людям жить хотелось! Прав я, комиссар?

— Прав, конечно, подполковник, — решительно поддержал Курбатов, улыбаясь про себя.

В землянку, постучавшись, вошел связной: комиссара вызывали в политотдел дивизии.

Ожесточенные атаки немцев были отбиты с большими для них потерями. С нашей стороны потери были незначительны, — и только благодаря тому, что солдаты глубоко зарылись в землю. Не пропала даром работа трудолюбивой пехоты: в бою сама земля стала ее союзником.

Курбатов ежедневно бывал в подразделениях, часто

и запросто беседовал с бойцами по интересующим их вопросам. К вечеру он возвращался в штабной блиндаж и здесь, за кружкой чая, говорил с Ездаковым о том, что было за день.

Однажды, вскоре после боев, они сидели, пили чай и разговаривали о том, какую казнь нужно будет придумать для Гитлера и его сподвижников после победы. Курбатов рассказал Ездакову о том, что в одном из подразделений сержант, геолог по гражданской специальности, предложил увезти фашистских главарей в Сибирь, в тайгу, раздеть их, привязать к деревьям и оставить на съедение гнусу.

— О, это страшное дело! — воскликнул Ездаков. — Бывал я в Сибири, в Особой Дальневосточной, под командованием Блюхера служил. Эта мошкара, этот гнус ни минуты покоя человеку не дает... Ни работать, ни отдыхать... Страшное дело! Хорошо придумал твой сержант!

— Да, я тоже так считаю, — сказал Курбатов.

В это время в блиндаж вошел небольшого роста, с винтовкой за плечом, сержант. Бросив руку к козырьку, он вытянулся у входа:

— Товарищ подполковник, разрешите доложить.

— Докладывай.

— Что делать с последними пленными? Прикажете отправить в дивизию?

— А сколько их?

— Два фрица.

Ездаков укоризненно посмотрел на маленького сержанта и ворчливо заметил:

— Нет у меня людей для конвоя... Ты же бывалый солдат, а из-за пустяка беспокоишь командира полка... Был я вчера у соседа, так у него такой случай был: двоих пленных немцев с солдатом-башкиром отправил он в штаб. Прошло минут пятнадцать, идет командир из подразделения к себе в блиндаж, и навстречу ему попадает солдат-конвоир. Полковник спрашивает его, почему он так скоро вернулся обратно. Молчит солдат и виновато смотрит на полковника. «Куда ты пленных девал?» — спрашивает полковник. «Да так...» — замылся солдат. «В расход пустил, да?» — «Так точно...» — «Почему ты это сделал?» — спрашивает полковник. Солдат вынул из кармана шинели газету и прочел заголо-

вок одной из статей: «Уничтожить фашистов всех до единого!» — Ездаков весело рассмеялся, показывая желтые от табака зубы.

Сержант всё еще стоял у двери блиндажа и переминался с ноги на ногу. Ездаков, откашлявшись, спросил у сержанта:

— Не дошло?

— Никак нет... дошло... Понял! Разрешите идти? — и сержант, козырнув, быстро вышел из блиндажа.

Курбатов, глядя на Ездакова, нахмурился и осуждающе, посуровевшим голосом, произнес:

— Неправ ты, подполковник... Мы не должны учить солдат слепой мести... С пленными мы не воюем... С безоружными тоже... — Сказав это, Курбатов вслед за сержантом вышел из блиндажа.

Недалеко от блиндажа Курбатов остановил сержанта:

— Постой-ка, друг... Ты из какого подразделения?

— Из комендантского взвода я...

— А как звать?

Сержант козырнул, отвечая:

— Егоров Петр...

— Ты чем занимался, Егоров Петр, до войны? Учился или работал?

— Колхозники мы... Из колхоза «Путь Октября», на Смоленщине.

— Понятно... — Курбатов минуту подумал, потом вынул из-за обшлага листовку. На одной ее стороне был изображен «бесноватый фюрер» на фоне могильных березовых крестов, а на другой стороне напечатан немецкий текст.

— Ты знаешь, что здесь написано? — спросил Курбатов, протягивая листовку сержанту. — Здесь сказано, что командование Советской Армии гарантирует пленным жизнь и не собирается уничтожать немецкий народ.

Сержант неловко взял листовку и повертел ее в руках:

— Знаю, товарищ комиссар. Приходилось мне такие листки видеть, и даже один раз я их сам забрасывал на нейтралку.

— Ну вот и хорошо, сержант Егоров. Возьми себе на память... и кумекай. Запомни: с пленными мы не воюем.

— Понял, товарищ комиссар, — сержант улыбнулся и с прищуркой посмотрел на Курбатова. — Политика, товарищ комиссар. Разрешите идти?..

— Идите... И знаешь что, сержант? Приходи ко мне завтра вечером. Поговорим.

— Слушаю, товарищ комиссар, — козырнул сержант.

6

Когда Курбатова вызвали в политотдел дивизии, он думал, что попадет на какое-нибудь совещание или инструктаж, а его сразу провели к начальнику политотдела. Пожилой и не очень опрятно одетый полковник дружески кивнул головой:

— Садись. Сейчас придет один человек... Мы его направляем к вам, пойдете вместе.

Курбатов хотел спросить, какой человек придет, но полковник, снова кивнув, уже звонил по телефону какой-то «Ласточке» и ругал эту «Ласточку» за то, что она задерживает отчет о приеме в партию. Потом, бросив трубку, он быстро повернулся к Курбатову и улыбнулся хорошей, молодой улыбкой:

— Вы, верно, еще не заметили: идет поток заявлений о приеме в партию. Каждый день разбираем. А хорошо это! Очень хорошо!... А-а, приехал! — Это относилось уже не к Курбатову, а к входившему в землянку человеку.

Курбатов взглянул на вошедшего. Высокий старик, в военной форме, но без знаков различия. Он шел к начальнику политотдела, на ходу расстегивая шинель.

Полковник, так же как раньше Курбатову, дружески кивнул старику:

— Не надо терять времени, Иоганн. Немцам пора услышать твой голос. Захвати свою установку и поезжай с комиссаром... Знакомься, комиссар: это работник политотдела армии, старый немецкий коммунист Иоганн Кнебель; он будет пока работать у тебя в части.

Немец приветливо пожал руку Курбатову.

Пока они, направляясь в полк, тряслись в крытой машине, на крыше которой был укреплен радиорупор, Курбатов жадно расспрашивал Иоганна о его жизни.

Старик оказался неразговорчив. После первой мировой войны, в 1918 году, он из русского плена вернулся в Германию; долго работал потом на заводах Сименс-Шуккерта. В тридцать третьем году партия отправила его в Советский Союз; потом он дрался в Испании в батальоне имени Тельмана и после этого снова вернулся в Москву. Теперь Иоганн работал в политотделе армии, проводил радиопередачи для немцев.

В тот же день на участке полка заговорила радиостановка, спрятанная в роще.

— Дейтше зольдатен, хёрт унзере рундфункзен-дунг!¹ — неся из рупора чуть хриплый голос Иоганна.

Дальше он сообщил краткую сводку боевых действий на фронтах, сведения о бомбежке немецких городов и о громадных потерях немцев на Восточном фронте.

Немцы, как видно, были настроены миролюбиво, и Иоганн без помех провел первую часть передачи. Наши солдаты в траншеях с удивлением прислушивались к незнакомому голосу, к незнакомым словам, пытаясь хотя бы немного понять их смысл. Временами кто-то обрадованно разъяснял отдельные слова: «Арбайт» значит «работа», «кринг» — «война», «остен» — «восток»...

Немцы сперва молчали. Потом яростно ударили, рывкнули, словно подворотные шавки, вражеские минометы; но кидали они мины вслепую.

Курбатов, слушая передачу, скорее догадывался, чем понимал, о чем говорит старый коммунист. Он знал, что речь идет о бессмысленности этой войны, о гибели, которая ждет гитлеровцев на русской земле, о том, что недалек час, когда германский народ скинет с себя нацистов... Разрывы мин не могли помешать голосу, — он гремел в чистом осеннем воздухе, и его было слышно далеко-далеко.

Это был голос другой, невоюющей Германии, той, с которой Курбатов встретился еще в детстве...

Сержант Егоров постучался в двери блиндажа комиссара полка, когда Курбатов пил чай с Иоганном Кнебелем. Сержант не мог понять, зачем пригласил его комиссар, и еще больше удивился, когда тот кивнул ему:

¹ Немецкие солдаты, слушайте нашу радиопередачу!

— Садись, Егоров. Ты уже пил чай? Ничего, еще выпей... Вот, с консервами. Да наливай, не стесняйся...

Иоганн дружески, за руку поздоровался с сержантом, потом снова уселся за дощатый, наскоро сколоченный стол, где сидел до этого, и продолжал начатый разговор. Он рассказывал Курбатову о фашистском «пивном путче», о хулиганских налетах штурмовиков на помещения компартии, о бесчинствах и убийствах, расчищавших Гитлеру путь к власти. Он говорил о борьбе немецких коммунистов с фашистами, о гибели многих своих товарищей... Тихий, чуть хриловатый голос Иоганна звучал монотонно, но он не мог скрыть волнения говорившего. Иоганн хорошо говорил по-русски, только изредка в его речи проскальзывал немецкий акцент, а «Гитлер» он произносил с придыханием — «Хитлер». Оборвав свой рассказ, он заторопился:

— Ну, я к тебе позже зайду. Машину надо ставить. Время самое подходящее.

Простившись, немец ушел. Егоров сидел и молчал, считая неудобным заговорить первым.

— Что ж ты чай-то не пьешь? — спросил Курбатов. Егоров поднял на него свои светлые глаза и ответил вопросом, который, надо полагать, мучил его давно:

— Кто это, товарищ комиссар?

— Это? А ты не понял? Это немец. Старый немецкий коммунист... Он у нас фрицев агитирует, слышал, небось...

Он особенно подчеркнул слово «немец», и Егоров вспыхнул. При неверном свете коптилки Курбатов увидел, как на лице Егорова появились красные пятна.

— Ясно, товарищ комиссар, — растерянно пробормотал сержант.

— Ясно? Ну вот и хорошо, — спокойно отозвался Курбатов. — Значит, уже не всех немцев собираешься перебить? Я тебя сегодня нарочно вызвал. Расскажи ребятам, что видел и слышал. Должно быть, они тоже интересуются. Есть гитлеровская Германия — будь она трижды проклята, — а есть и другая... Ты ее сегодня видел... А ты, между прочим, пленных доставил в дивизию или как?

— Доставил, товарищ комиссар, — вздохнул всё еще смущенный сержант.

Ездаков нервничал, — дивизионная разведка ушла и не вернулась, рация молчала уже пять дней, на связь разведчики не выходили. Его «хлопчики», как он называл разведчиков, пытались трижды пройти в тыл противника — и трижды отходили обнаруженные. Несколько дней (случай даже во время отступления редкий для Ездакова), несколько дней он жил как будто с закрытыми глазами и завязанными ушами. Черт его знает, что готовили немцы там, за лесом. На всякий случай солдаты продолжали совершенствовать оборону, и Ездаков вместе с Курбатовым не раз и не два обходил блиндажи, проверял расположение траншей, подолгу смотрел, как саперы минируют подходы к переднему краю и опутывают колючкой землю. Курбатову казалось, что эти, совсем незнакомые прежде, места стали ему особенно дорогими, словно роднее всех остальных, и уйти отсюда он уже не сможет.

В один из вечеров, сидя за картой, Ездаков вскрикнул как от давней, долго мучившей его боли:

— Что же делать-то будем, комиссар, а? Что ж всё-таки делать?

Курбатов, расхаживая по землянке, не заметил, что Ездаков поднял на него ожидающие, даже какие-то просящие глаза, и ответил не сразу:

— Надо посылать людей в поиск. Языка надо достать. Кстати, и я с ними схожу. Вернее дело будет.

— На стыках не пройти... — задумчиво качнул головой Ездаков. — У них такое боевое охранение на стыках, что мышь не проскользнет. Разве только...

— Что?

— Ложная атака. Отвлечь внимание на ложный участок прорыва, а в это время перебросить разведку... Только ты, конечно, никуда не пойдешь, об этом и разговора не будет.

Курбатов улыбнулся:

— Нет, будет.

— Нет, не будет, комиссар, — повысил голос Ездаков. — Хватит. Научили нас немцы уму-разуму. Я видел, как командиры и комиссары в атаку шли: словно на банкет. Офицеров немцы выбивали, и батальоны

гибли, полки... Хватит... Не позволю. И кончай со мной говорить об этом.

Курбатов промолчал, понимая, что спорить сейчас бесполезно: человек взвинчен, незачем его подогреть дальше. Ездаков принял это молчание как согласие и успокоился:

— Да... Ну, словом, так и сделаем. Завтра пойдут разведчики.

— У меня от них два заявления о приеме в партию поступило, — вспомнил Курбатов. — Надо рассмотреть, люди на серьезное дело идут.

— Вот и рассматривай, — примирительно сказал Ездаков. Лицо у него было такое, что Курбатов мог на нем прочитать: не лезь ты, куда тебя не просят; и без тебя, героя, разведчики обойдутся. «Ладно, — улыбаясь про себя, подумал Курбатов. — Поживем — увидим...»

— Как их фамилии? — спросил Ездаков.

— Не знаю, заявления еще не читал.

8

Он всё-таки пошел в поиск; как ни крутился Ездаков, как ни кричал — спокойствие и упорство Курбатова сломали его.

Ночью десять теней скользнули в нейтральную зону и растворились в ней. А в это время слева, уходя, гремел бой, там вспыхивали и мгновенно гасли столбы огня, трещали, захлебываясь, пулеметы. Тени на минуту появились снова, мелькнули в низком кустарнике и исчезли, на этот раз совсем.

Впереди группы шел старшина Меркулов. Когда он пригибался — пригибались остальные, бросался на землю — за ним бросались все; неважно, что было там, на земле: вода, оборванная проволока или острые камни.

На этот раз они прошли. Петляя по роще, десять человек вышли на болото: здесь не останется следов. И чем дальше уходили они, тем глуше доносились до них разрывы. Наконец они смолкли совсем...

Скоро на карте у Меркулова появились знаки, обозначающие сосредоточение немецких войск. Танки стояли за рощей, закрытые сетками. Артиллерию гитлеровцы

поставили километрах в пяти от передовой. Никаких укреплений не было: очевидно, немцы ждали приказа о наступлении. По каким-то, одним им ведомым, приметам разведчики определили: здесь собрана дивизия, причем новая. По дорогам прошли последние транспортные «бенцы» с пехотой. Старую часть, вероятно, измотанную в боях, отвели назад, в тыл.

Этого было достаточно, и Меркулов приказал возвращаться домой.

— Когда языка будем брать? — спросил у Меркулова Курбатов.

— Еще успеем, возьмем на обратном пути.

Невдалеке, в сотне метров от края болота, стоял сарай, и разведчики решили переночевать в нем. Послав вперед двух человек, Меркулов приказал следовать за ними.

Стало уже темнеть. Открыв скрипучую дверь сарая, Меркулов своим электрическим фонариком обшарил все углы. Он до потолка был набит сеном. В одном углу, полузарывшись в сене, лежали два человека...

— Хенде хох! — крикнул Меркулов, наставив на людей автомат. — А ну, выходи!..

Из сарая донесся испуганный голос:

— Свои мы, свои...

— А ну, вылазь, — еще раз крикнул Меркулов. — Да поскорее!..

Два человека в грязном, замызганном солдатском обмундировании появились в воротах сарая.

— Кто такие? — строго спросил Меркулов.

Курбатов тоже засветил свой фонарь и направил его на людей.

Угрюмые, обросшие щетиной лица незнакомцев, их запущенный одичалый вид делали их похожими на бродяг.

— Чего молчите? Будете говорить?

— Свои мы, — робко заговорил один, — выходим из окружения...

Меркулов попытался узнать у солдат, из какой они части и как оказались в окружении. Оба путали и чего-либо определенного добиться от них нельзя было.

Лицо одного из окруженцев показалось Курбатову знакомым, но он никак не мог вспомнить, где он его видел.

— Вы меня знаете? — спросил он у солдата.
Тот бросил на Курбатова быстрый, косой взгляд:
— Нет, не знаю.

С трудом удалось Меркулову выяснить, что недалеко, в двух километрах, находится большая деревня, в которой стоит фашистский гарнизон. В амбаре, в центре деревни, немцы держат пленных советских солдат. С утра в деревню стали прибывать новые фашистские части, а днем прибыли танки.

Курбатов решил сам понаблюдать за деревней, может быть, и освободить пленных. Как его не отговаривал Меркулов, он настоял на своем.

Всякое бывает в разведке, а потому комиссар условился с Меркуловым, что его будут ждать сутки, и если он не явится к вечеру, то группа должна возвратиться в часть и обо всем доложить Ездакову.

Расположившись на пахучем сене и выставив часовых, разведчики легли отдыхать.

Курбатов и его напарник, веселый, вечно смеющийся крепыш, один из самых дерзких разведчиков полка, дошли до околицы деревни. Здесь они зашли в ближайший овин передохнуть и обсудить, что делать дальше. Сведения о том, что в деревне находятся пленные советские солдаты, не давали покоя Курбатову. Он решил, что надо сделать всё, чтобы освободить пленных. Солдат-разведчик, — его звали все «Лихачом», — предложил Курбатову разведать, где находятся пленные и что можно сделать для их освобождения.

Курбатов остался в овине один.

Прошел час. Еще час. Лихач не возвращался...

С первым робким рассветом по дороге мимо овина, гремяхая моторами, вошли в деревню два десятка тяжелых танков. Сомнений быть не могло: накапливалась танковая часть. Но не это сейчас беспокоило Курбатова. Куда пропал разведчик? Неужели попал в лапы к фашистам? Он начал ругать себя, что отпустил Лихача одного. «Всё шуточки да смешочки... вот и попался, верно. Эх, зря разрешил!..» Но вскоре в дверь овина что-то царапнуло. Она бесшумно открылась и в нее, улыбаясь во весь рот, ввалился Лихач. Курбатов от радости бросился к нему, но сразу же посуровел:

— Ты что, ранен?

— Нет, товарищ батальонный комиссар, — всё продолжая улыбаться, отчеканил Лихач.

— Так где же ты гулял, пропащая душа?

— Всё в порядке, товарищ комиссар, — шепотом проговорил разведчик. — Так что наших пленных я освободил. Пришлось успокоить часового... Замка-то на двери не было, одна наружная накладка. Я объяснил нашим, куда идти. Ну, они один за одним втихую и двинулись. Только мне вот задержаться пришлось: танки в деревню входили.

Рассказ разведчика немного успокоил Курбатова.

— А почему не доложил, как надо было?

Лихач хитро улыбнулся:

— А я, товарищ комиссар, боялся — вдруг часового сменят. Этот, знаете, был такой замухрышка...

Курбатов рассмеялся.

— Ишь ты, опять прав... Ну, ладно, победителей не судят. А теперь пошли, а то нас старшина заждался.

В утренних сумерках вышли они из овина и вскоре пересекли лес по направлению к сараю. Еще с опушки Курбатов увидел возле сарая группу людей.

Меркулов, видимо, уже начал беспокоиться: радостно встретив Курбатова, он доложил ему о приходе пленных. Ночью старшина еще раз подробно допросил двух «окруженцев».

— Знаете, товарищ комиссар, один из них, оказывается, знает вас. Он вовсе и не солдат, а младший военный юрист. Но погоня сорвал, документы уничтожил, у одного из убитых солдат снял одежду и переделался.

«Так вот почему мне показалось, что я знаю этого человека, — подумал Курбатов. — Это же тот самый юрист-анонимщик, которого Чухалину всё же пришлось уволить. Как же его фамилия? Ах да — Семенков. Какие только не бывают встречи на военных дорогах!»

Курбатов подошел к Семенкову и спросил его:

— Так вы узнаете меня или нет?

Семенков, пристально посмотрев на Курбатова, ответил:

— А чего мне вас не узнать. Курбатов вы.

— А почему же вчера не узнали?

— Много воды утекло...

Остаток дня разведчики провели в лесу, а к ночи снова двинулись в сторону переднего края.

Возвращаться они должны были кружным путем и выходить на участок соседней части — во избежание неожиданностей. Там было огромное, тянувшееся на многие километры болото, и позиции соседней части подходили к нему вплотную. Меркулов рассудил верно: если немцы готовятся к наступлению, на болоте или около него они выставят всего лишь боевое охранение.

Он оказался прав.

Скоро идущие почувствовали гнилой запах болотной воды, не убитой морозом; вокруг ни одной живой души. Это была удача, просто удача: значит, они пройдут без особых помех.

Впрочем, по опыту разведчики знали (а Курбатов — догадывался), что об удаче можно будет говорить только тогда, когда вернешься к своим. Так было и на этот раз.

Первым увидел немцев Меркулов; он мгновенно повалился в жухлую траву, выставил вперед автомат. Человек пять или шесть, — в сгустившихся сумерках трудно было определить точнее, — шли по самой кромке болота, посвечивая фонариками и громко разговаривая.

У Курбатова бешено заколотилось сердце: что ж он медлит, Меркулов? Нужно наброситься — и уйти за болото. Но Меркулов лежал по-прежнему без движения, и Курбатов тоже не двигался, подчиняясь его воле.

Вдруг он ощутил какое-то легкое, едва уловимое движение слева. Две тени скользнули, как змеи, вперед, словно от ветра колыхнулась трава, и Курбатов понял: разведчики решили брать языка.

Прошло несколько минут, и вдруг до Курбатова донесся один приглушенный вскрик, другой, звуки какой-то короткой, но яростной борьбы, — и снова кругом была тишина. «Кончено? Неужели так быстро?..»

В болото они вошли, таща на себе гитлеровца. Меркулов, кивая на спеленутый предмет, мало чем напоминавший человека, шепнул: «Кажется, офицер».

...К рассвету разведчики вышли в расположение своей части.

Зима застала Курбатова там же, куда он прибыл два месяца назад. Полк врос в землю; прошли тяжелые бои, когда в день приходилось отбивать до десяти атак. Сейчас немецкое командование не очень беспокоилось за этот участок фронта: гитлеровцы рвались к Москве. А здесь стояла тишина, и слышно было, как на той стороне, в немецких окопах, играет фокстроты патефон.

Для Курбатова, тем не менее, наступили самые тяжелые дни, — тяжелые потому, что сводки шли одна другой хуже и надо было собирать всю свою волю, чтобы появляться в подразделениях по-прежнему спокойным, уверенным. Солдаты молчали. Душой они были там, в Подмоскovie, где сейчас решалась судьба невиданной битвы.

Ровным, спокойным голосом объяснял Курбатов, что там, под Москвой, непременно должен наступить перелом. Однажды кто-то из солдат, поддерживая его, сказал:

— Даже если отдадут — ничего. Кутузов отдал ведь Москву французам, а войну выиграл.

Курбатов обернулся к говорившему. Он понял: солдат придумал оправдание на тот случай, если немцы всё-таки возьмут Москву. Но его не обманула эта ложная попытка успокоить самого себя и других.

— Так ведь это когда было, — осуждающе качнул головой Курбатов. — Теперь всё другое: и война другая, и обстановка другая, и Москва другая. Столица Советского Союза! Отдать ее нельзя... Я, товарищи, в Москве Ленина видел... — И он рассказал притихшим бойцам о том, что бережно, долгие годы хранил в своей памяти.

— ...Вот так, товарищи... А ты говоришь, солдат: «Отдадут — ничего»...

Но иногда он ловил себя на мысли: «А сам ты веришь, что Москву не сдадут?» И отвечал сам себе: «Верю. Нельзя ее сдать». Это была не слепая вера в какое-то чудо: он всем своим существом чувствовал это «нельзя» и знал, что то же самое чувствуют сейчас все советские люди.

Время тянулось томительно долго. Дни были похожи один на другой, и порою даже забывалось, что

здесь тоже фронт и война. Бои шли уже под самой Москвой...

В один из этих дней немцы неожиданно стали бомбить позиции полка. Вслед за бомбежкой грохнули первые снаряды. Такого здесь не было давно, и Курбатов кинулся на КП. Ездаков был уже там; прижав к глазам бинокль, он всматривался в серую рассветную муть.

— Неужели фрицы попрутся в атаку? — спросил он раздумчиво, будто обращаясь к самому себе.

Снаряды рвались то впереди, то с шелестом или завыванием проходили над головой.

— Перепились там фрицы все, что ли? — ворчал Ездаков. — Соедините меня с дивизией!

Он что-то кричал в трубку, закрывая рукой ухо, переспрашивал: «Что-что?» — и вдруг, побелев от волнения, обернулся к Курбатову:

— Слышишь, комиссар? Поперли их от Москвы! Поперли! Ах ты, мать честная! По всему фронту бегут!

— Кого поперли?..

— Как кого? Да гитлеровскую мразь, бандитов этих! Вот это да!..

Курбатова заколотило, как в лихорадке. Он отвернулся: не хотел, чтобы кто-нибудь видел навернувшиеся слезы.

Теперь его место было там, в траншеях! Рассказать людям о том, что немцы, задрав штаны, бегут, что Москва спасена и торжествует победу. Он выскочил из блиндажа, пригнувшись скатился в траншею и побежал, нагибая голову.

Вот траншея кончилась... Курбатов с трудом выкаббался из нее, не чувствуя, что набрал полные рукава колючего снега, и поискал глазами ход сообщения...

Но было уже поздно.

Огнем плеснуло ему в лицо, жаркая волна бросила на землю, вспыхнули еще раз и померкли какие-то яркие пятна перед глазами...

Когда он очнулся, кругом всё еще гремели разрывы. Первое, что он увидел, повернувшись на бок, — это свою развороченную полевую сумку: из нее вывалились бумаги, а из пробитой жестяной коробки высыпался зубной порошок.

Он попробовал встать — и не смог. Словно кто-то невидимый больно держал, колол и дергал его ногу. Стиснув от боли зубы, — что-то хрустнуло во рту, — Курбатов пополз, волоча за собой ногу, и, задыхаясь, потерял сознание.

10

Некоторое время он еще пребывал в каких-то странных сумерках, сотканных из сна и действительности... Потом выступил белый потолок, белые стены, люди в белом — их можно увидеть, если скосить глаза. Постепенно из каких-то шумов и гулов до Курбатова начали доноситься далекие голоса; они всё приближались, и Курбатов напряг слух. Говорили по-русски, но вдруг появлялись непонятные слова, и он догадался: латынь. Курбатов понял: врачи, столпившиеся над ним, говорят о нем. Приподняв голову, он увидел, что какая-то женщина делает ему гипсовую повязку.

— Доктор, — слабо позвал он, не узнавая своего голоса. — Скоро я... встану?

Все повернулись к нему, радуясь, что раненый пришел в себя. Женщина скорбно улыбнулась и сказала:

— Ну, о чем вы думаете? Вам долго поправляться надо... Лежите, не думайте ни о чем.

Но Курбатов не мог не думать. Он спросил, какое сегодня число, и, услышав ответ, вздрогнул: «Долго же я валялся без сознания». Что же с ним произошло? В памяти начали проступать какие-то колеблющиеся отрывки воспоминаний: вой сирены, тревожные гудки паровозов... Где-то неподалеку раздался взрыв. Вагон? Да, он, кажется, был в вагоне... Вагон словно бы подпрыгнул на рельсах, стёкла так и брызнули внутрь, и в окна повалил густой черный дым... Здесь воспоминания обрывались. Другое, что он помнит, — чьи-то торопливые слова: «Шесть вагонов в щепки... хорошо, что снег пошел...» ...Или всё это ему чудилось?..

Курбатов, чтобы проверить себя, позвал снова:

— Доктор...

— Что вам?

— Нас в поезде бомбили? Я знаю — шесть вагонов.

— Какой поезд?.. Лежите, лежите, — откликнулась женщина. -- Вы всё время спали.

Курбатов улыбнулся. Он чувствовал, что зацепился за жизнь, что голова у него как будто в порядке — а это, вероятно, главное. То, что его поташнивало, а во рту появилась густая, неприятная слюна, в конце концов было делом пустым; ну, тряхнуло маленько при взрыве...

Однако мысли Курбатова о том, что он уцепился за жизнь, были еще далеки от истины. На второй день ему сделали серьезную операцию — резекцию коленного сустава — и уложили раненую ногу в тяжелый гипс, который доходил до груди. Воспалительный процесс обострился, врачи бессильны были его приостановить: начался сепсис — общее заражение крови. К вечеру температура поднялась, появилась сильная боль, и только уколы пантопона или морфия успокаивали его: он забывался, засыпал и пробуждался всё от той же боли...

То, что его жизнь теперь была в опасности, он понял по лицам и по отдельным репликам врачей. И чем тревожнее были эти лица, тем злее он повторял себе: «Нет, врешь, рановато! Выкарабкаемся еще!»

Он молчал, когда врачи подходили к его койке; однажды, лежа с закрытыми глазами, он услышал, как профессор сказал:

— Завтра прилетает главный хирург фронта. Может быть, он...

Курбатов открыл глаза. Профессор внимательно посмотрел на него и грубовато сказал:

— Да, да, может быть, придется топтать на одной ноге, молодой человек.

— Ну, это еще полбеды, — ответил Курбатов.

Когда его на следующий день принесли в перевязочную и сняли тяжелый гипс, он догадался: приехал главный хирург фронта. Хирург оказался пожилым, несколько обрюзгшим человеком, с подстриженными ежиком седыми волосами, густыми бровями, из-под которых живо глядели молодые глаза. Внимательно и молча осмотрев рану, он кивнул врачам на дверь, ведущую в смежную комнату. Дверь осталась открытой, и Курбатов мог слышать всё, что там говорилось. Ординаторы подробно доложили хирургу о состоянии больного, врач спрашивал у каждого, что он считает необходимым предпринять, чтобы спасти раненого. Ответы были одно-

сложны: «Все меры приняты, всё исчерпано, мы бессильны».

Тогда стал говорить хирург. Говорил он тихо, но твердо, уверенно, его слова Курбатов слышал отчетливо:

— Да, положение очень серьезное. Спасти комиссара трудно. Я предлагаю последнее средство; может быть, оно прервет воспалительный процесс. Предлагаю ампутировать ногу вместе с очагом, от которого идет заражение, — во второй трети бедра. Но, повторяю, надежд почти никаких, хотя, конечно, они могут и появиться.

После совещания операционный стол, на котором лежал Курбатов, окружили врачи. Вошел, поправляя на лице маску, хирург. Подойдя к изголовью, он положил свою ладонь Курбатову на лоб и тихо сказал:

— Отрежем ногу, комиссар. И без ноги жить можно. Другой и без ноги так ходит, что мне за ним не угнаться. Так отрежем или нет?

— Я слышал, что вы говорили там, в комнате, — ответил Курбатов.

— Ну и хорошо, что слышал. Если не отнять, то надежды никакой. А если отрежем — может, и проживешь еще полсотни лет! Ведь жить-то охота?

— Давайте уж скорее, — тихо и зло попросил Курбатов.

— Приготовить больного к операции! — властно приказал хирург.

Все забегали, засуетились... Курбатов с каким-то странным любопытством наблюдал, как хирург мыл руки, как протирал их спиртом, как надевали на него стерильный халат и перчатки. Вот он подошел к столу, и на лицо Курбатова надели маску:

— Считайте.

В нос ударил приторно-сладкий запах, начал душить Курбатова, ему невольно захотелось поднять руку и сорвать маску, но его крепко держали...

II

Очнулся он в палате. Сквозь мутную пелену, стоявшую перед глазами, проступило какое-то неясное белое пятно. Оно расплывалось, то приближаясь, то отдаляясь,

и он не мог понять, что это. Наконец он понял, ведь это — лицо, и, кажется, женское; да, говорила женщина. Постепенно пятно приобрело более четкие очертания. «Кто она?..» Женщина глядела на него влажными глазами, в которых бегали лучики света. «Да ведь это Таня, Танюша!..»

— Таня, это ты? — не спросил, а скорее выдохнул Курбатов.

— Нет, я не Таня, а сестра Юля, за вами буду ухаживать. Вы не беспокойтесь, всё сошло хорошо, сегодня и температура меньше. Завтра вам перельют кровь, и совсем будет хорошо. Постарайтесь заснуть — это восстанавливает силы. — Сестра положила ему руку на голову и стала нежно гладить волосы.

Однако Курбатов снова начал метаться и в бреду кричал:

— Таня, Таня, я должен жить! Мне надо жить!

Сестра отвечала:

— Будешь, мой милый, жить, успокойся! Всё пойдет хорошо.

Он снова проваливался в какую-то теплую, ласковую волну, а когда открыл глаза — Тани не было.

Курбатов позвал сестру. Пожилая женщина подбежала к кровати, схватив со столика маленький фарфоровый чайник: после наркоза больные хотят пить.

— Где Татьяна Курбатова? — прохрипел он. Видя, что сестра не понимает, он повторил уже с раздражением: — Курбатова! Татьяна Курбатова! Моя жена!

— Да ты успокойся, родненький, нету у нас такой. Успокойся, попей немного.

Курбатов вытер тыльной стороной руки проступивший на лбу пот.

— Поблазнило тебе, родненький...

Он и сам, впрочем, думал, что Таня ему просто помешалась: трудно было отличить сейчас, где кончалась явь и где начинался бред. Но должна же она приехать к нему! Он дождется ее, будет жить!.. В бреду он повторял только одно слово: «Жить, жить, жить...» — и соседи по палате настораживались, смотрели на него, а один из них, легко раненный, подходил и здоровой рукой осторожно поправлял одеяло, стараясь хоть как-нибудь облегчить боль этого грузного и такого беспомощного сейчас человека.

Он всё-таки выкарабкался. Выжил. И хотя не мог еще двигаться, хотя казалось ему, что всё его тело стало чужим, ватным, он видел кругом жизнь — и улыбался ей.

Он уже познакомился с соседями по палате.

Справа от него лежал пожилой сержант; его только что перевели из коридора. Соседу было за сорок лет. Стриженная голова его с отросшими русыми волосами, торчавшими ежиком, глубоко запавшие глаза, бледное, открытое русское лицо говорили о перенесенных страданиях. Как только его внесли в палату, он воскликнул:

— Вот и хорошо! А то один со скуки гибну, слова не с кем сказать. Соскучал по живому человеку!

И Курбатову сразу стало приятно, что сосед у него общительный, простой.

Познакомившись, к вечеру оба уже были друзьями. Как на фронте, в землянке, так и в госпиталях люди сходятся особенно быстро. Общая участь заставляет открывать друг другу самые потаенные думы и желания — всё то, о чем в обычное время человек никому не рассказал бы. В бою у Погостья Василий Лапин — так звали соседа — был тяжело ранен, ему ампутировали кисти рук. До войны он работал председателем колхоза в одном из районов Поволжья. Коренной волжанин, он и говорил на «о»... Разглядывая свои забинтованные култышки, Лапин, казалось, склонен был иронически отнестись к тому страшному и непоправимому, что с ним произошло.

— А что, брат, я ведь и без рук не пропаду? Голова на месте — значит, работать смогу. Я так думаю, что снова председателем колхоза пойду работать. Я ведь там всё хозяйство до тонкости знаю. Только вот как народ? Доверят ли мне колхозники? Выберут ли меня?.. Как ты думаешь, комиссар? — обратился он к Курбатову.

Курбатов живо откликнулся:

— Обязательно доверят и выберут, Вася. Народ твою беду поймет: ты для него старался и себя не жалел. Так разве он может не понять?

— Однако боюсь я, — задумчиво сказал сосед. — Меня ведь одевать, да и раздевать надо, и вот поку-

шать тоже... Правда, мне говорили, что протезы потом сделают, что я даже писать смогу... — И, помедлив, закончил: — Жена у меня хорошая, душевная. Да кто ее знает... Женщины — порода слабая.

— А ты разве за женой что-нибудь замечал?

— Что ты, комиссар! Ничего такого не замечал. Я в ней даже уверен; вместе, как-никак, пятнадцать лет прожили. Строгая она у меня, не вертушка — и постоянная. Серьезно-то ни разу и не ругались. Работник она тоже хороший. Телятницей в колхозе была. Когда я на курсах учился, один ерник из района ее обхаживать стал. Она так его турнула, что он больше в колхоз и носу не показал. Не знаю, не понимаю, как это люди могут за каждой юбкой волочиться. Я мужиков таких и за людей не считаю, брандахлысты они какие-то, а не люди. Как по-твоему, комиссар?

Курбатов, подумав, ответил:

— Я, Вася, с тобой согласен. И вот еще что: нам в этом война и поможет разобраться. Сейчас всё слабенькое на поверхность всплывает, как дерьмо на воде. А дерьма, слабины всякой, нам и не надо...

К этому разговору прислушивался лежавший в самом дальнем углу, у окна, молоденький танкист. Несколько дней назад, когда его вносили в палату, он громко стонал, вскрикивал и матерно ругал санитаров, перекладывавших его на кровать. Всем он как-то не понравился: ну ранен, ну больно, но зачем же так распускаться, да еще ругать людей, которые для тебя добро делают.

Курбатов познакомился с ним.

Он был ранен в горящем танке, когда начали рваться снаряды. Состояние его было тяжелое и опасное: как и у Курбатова — общий сепсис; лейтенант ничего не ел, был раздражителен, неразговорчив, замкнут. Курбатову и Василию казалось, что он озлоблен на всю жизнь, словно сломался. Танкисту ампутировали обе ноги, и вот уже несколько дней Заславский то ругался, то рыдал, ничто не могло его успокоить. Когда Курбатов или Василий пытались с ним заговорить, он в ответ только зло огрызался.

Курбатов разузнал, что лейтенант женат, жена живет в Москве у родителей, отец ее занимает там какой-то большой пост. Маргарита — так звали жену Заслав-

ского — была единственной, избалованной родителями дочерью; Сергей еще студентом влюбился в нее по уши, и сам не понимал, как это она согласилась выйти за него замуж.

Заславский — это было ясно — так тяжело переживал сейчас свое ранение из-за жены. Закинув руки за голову, он безучастно глядел в потолок и вдруг сказал, не обращаясь ни к кому:

— Как теперь она на меня посмотрит? Калека! Как в загадке: без рук, без ног, а стекла бьет.

Он заплакал. Курбатов громко, чтобы слышали все, сказал:

— Черт его знает, глядя на тебя, самому охота зареветь: может, здоровья прибавится. Зареветь, товарищи, что ли?

Заславский, яростно выругавшись, крикнул:

— Отстаньте вы от меня! Я в вашей морали не нуждаюсь, хватит мне комиссары преподавали эту мораль. Не ваше дело, как я себя веду и как мне надо себя вести. «Место в жизни», «народ в обиду не даст», — передразнил он кого-то.

— Вот ведь человек! — вздохнул Василий. — До чего же баба парня довести может. Ну и тряпка ты, однако!..

— «Народ! Народ!..» Вот кончится война — и забудут о нас, и смотреть будут на нас как на обузу. Я-то знаю. Попомните меня.

Василий быстро сел на кровати, с удивлением посмотрел на Заславского:

— И что ты за тип? Почему ты всех чернишь? Кто тебе такое право дал? Ведь сам-то ты, молокосос, еще и жизни не видел, а как ведешь себя? Эх ты, сопляк!..

Курбатов как можно мягче спросил у лейтенанта:

— Откуда у тебя такие настроения, Сергей?

— Что, в душу хотите влезть, отец комиссар? Мы здесь с вами на равных, а потому имею право и не отвечать.

— Эх! — крикнул Василий. — Ума-то у тебя полная сума, да только сума с дырой, ум весь и вылетел. Тяжело тебе, Серега, жить будет, если и дальше так пойдет...

Шли дни, проходили недели и месяцы. Для Курбатова было отрадой всё: и письма от Тани (она жила

в Новогорске, работала на заводе), и смешные Оленькины рисунки, и фронтовые «треугольники» от Ездакова, и книги, и неторопливые — благо времени было много — разговоры с людьми о жизни, о том, что было и что еще будет впереди.

Наступил май. Открылись окна. Деловая возня воровьев доносилась в повеселевшую палату. В окна было видно, как просыпалась от зимней спячки природа, набухали и лопались почки на деревьях, раскрывая навстречу солнцу глянцевые ладошки листьев. Весенний воздух пьянил, он был тем неповторимым лекарством, которое будоражило людей, срывало их по утрам с опостылевших коек к окнам, к розовому рассвету, к воровьей возне в тополях.

Однажды в палату зашел комиссар госпиталя — старый и уже седой офицер. Он объявил, что дела у всех в палате идут на поправку и не позднее июня «всю компанию» выпишут из госпиталя. Но так как всем самостоятельно до дому не добраться, то командование послало извещения семьям.

Выслушав комиссара, Заславский побледнел и злобно крикнул:

— Мерси за дурацкую услугу! — Поначалу все оторопели, но лейтенант, приподнявшись на руках, уже орал: — Я разве просил об этом? Кто вам разрешил писать моей семье? Это издевательство! Я, может, не желаю, чтобы моя семья не только приезжала за мной, но и знала о моей инвалидности. Может быть, я и домой не собираюсь ехать! Это свинство!

Никакие уговоры комиссара на Заславского не действовали. Его крик был слышен в коридоре, и раненые то и дело заглядывали в палату.

Первым не выдержал комиссар госпиталя:

— Не забывайте, лейтенант! Вы еще числитесь командиром Красной Армии, и я требую, чтобы вы вели себя как подобает командиру. Успокойтесь. Всё обдумайте. А я еще с вами поговорю.

Заславский затих, но лицо у него по-прежнему было злое и мрачное.

Как-то утром, во время завтрака, няня открыла большое окно. В палату ворвался свежий весенний воздух. Василий громко воскликнул:

— До чего же хорошо жить, черт возьми! Верно,

комиссар? Ведь мы будем не просто жить, мы еще и сделаем кое-что. А?

Он стоял у окна, растирая себе грудь забинтованными култышками, и Курбатов любовался им, — вернее, не им, а той могучей, светлой любовью к жизни, которую Василий нес в себе.

После дневного сна, когда еще было тихо, скрипнула дверь. В дверях, держась за косяк, оглядывая палату, стояла невысокого роста женщина. Увидев того, кого искала, она тихонько воскликнула:

— Вася, Васенька! Сокол мой ясный!

— Даша!

Курбатов, взволновавшись, с какой-то затаенной завистью смотрел на то, как Даша обнимала Василия. Женщина была красива простой, русской, уже чуть увядающей красотой. Толстая русая коса венком окружала голову. Строгое, немного печальное лицо было бледно, еле заметные морщинки лучиками расходились от переносья ко лбу. От ее лица веяло душевным теплом.

Потом она подходила к каждому и, протягивая руку, грудным приятным голосом говорила:

— Здравствуйте!

Когда женщина говорила с мужем, все старались делать вид, что не слышат их беседы, но они никого не стеснялись и продолжали громко говорить, обсуждая колхозные и семейные дела.

— Видел, что значит настоящая-то жена! — сказал после ухода Даши Курбатов, обращаясь к Заславскому.

— Рисуется, — сквозь зубы процедил тот.

— Кто рисуется? — громко крикнул Василий. — Моя Даша рисуется? Ах ты...

Курбатов укоризненно посмотрел на него. Он не меньше Лапина осуждал Заславского, но глубоко переживал его трагедию.

Курбатов отлично понимал, что хотя Заславский и выздоравливает, но тот душевный, внутренний надлом, который его мучил, никакими инъекциями или лекарствами не излечивается.

Все лежали тихо, каждый ушел в свои мысли, и так до сна никто не сказал друг другу ни слова.

На следующий день Курбатов подозвал Василия:

— Садись. Строго секретное совещание.

Он зажег ему папиросу, и Василий, благодарно взглянув на него, курил, щуря от дыма — или от удовольствия — глаза.

— Слушай, председатель, — тихо заговорил Курбатов. — У тебя в колхозе как? Ну, хорошо или неважно?

— У нас места хлебные, — словно обидавшись, покосился на него Василий, еще не понимая, куда клонится разговор.

— Ну, а дом срубить человеку можете? Работу найти...

— Ты это о ком?

— Ну, ты знаешь о ком... Давай сагитируем его. В конце концов человек он как человек, только малость кривобоким вырос.

Василий пристально поглядел на Курбатова, а потом воскликнул на всю палату:

— Ну конечно же!

Проснувшись ночью, Курбатов услышал приглушенный разговор. В комнате еле светилась синяя лампочка, и в полумраке он с трудом разглядел Василия, сидевшего на постели Заславского:

— Поедем. Ей-богу, поедем... Колхоз у нас хороший, народ тоже. Поедем, Серега.

Курбатов, улыбнувшись, спокойно уснул. Наутро, заговорщически подмигнув Василию, он спросил:

— Убедил? Нет? Давай теперь вместе убеждать. Убедим — человеком сделаем.

После перевязки, когда всё успокоилось, Курбатов издалека осторожно начал разговор с Сергеем о предложении поехать в колхоз. Василий горячо поддакивал и расхваливал красивые места Поволжья. Заславский долго молчал, потом сказал, отвернувшись:

— А всё же вы хорошие ребята... Если бы у нас больше таких было!

Курбатов усмехнулся:

— Таких людей у нас много, Сергей... Только ты мало встречался с ними.

На другой день Даша снова пришла, все с ней поздоровались как с очень хорошей знакомой. Василий начал что-то шептать жене, и Курбатов, хотя и не слышал ни слова, понял, что разговор идет о Заславском. Даша внимательно слушала, всплакнула, быстро вытерла глаза концами головного платка. Потом, повер-

нувшись к Заславскому, она кивнула ему головой, и тот ей ответил.

Ночью Курбатова поднял Василий: даже в полутьме палаты видно было, как у него трясется голова.

— Что? Что случилось?

— Сергей... — сдавленно, с усилием прошептал Лапин и указал на койку Заславского. Она была пуста. Лапин сбивчиво рассказал, что Сергей добрался на своих култышках до окна и выбросился с четвертого этажа.

— Проморгали человека, — стиснув зубы, глухо простонал Курбатов. То, что еще недавно он говорил Василию о слабых людях — о тех, которые в жизни не пригодятся, — теперь казалось ему злым и бесчеловечным. Заславский еще мог выправиться... Курбатов молчал, глядя трясущиеся плечи Лапина.

Он не спал всю ночь, и, когда утром открылись двери и женская фигура встала у входа в палату, он не сразу разглядел, что это Таня. Она прислонилась к косяку и, найдя глазами Курбатова, медленно пошла к нему, вытянув руки, словно слепая. Курбатов радостно рванулся ей навстречу.

Нет, всё-таки только она была самым родным ему человеком! И все его боли, невзгоды, горе, думы, тревоги отступили перед ней назад, в далекое прошлое.

13

— Лапин! Документы получать! — крикнула в дверь дежурная сестра.

Василий как-то сразу растерялся и сник. Поглядел на свои забинтованные култыпки, потом на Дашу, на Таню, вздохнул, встал и скорым шагом вышел из палаты.

Даша засуетилась. Она принялась бережно вынимать из тумбочки разные предметы и класть их к себе в кошелку. По-хозяйски заглянула под кровать. В палате царило молчание. Курбатов что-то читал, а Таня рывком выдвинула ящичек тумбочки, выложила оттуда вещи, вытерла ящик и постелила на его дно чистую газету. Потом всё, что вынула, положила обратно и задвинула ящик. Только она успела наклониться и от-

крыть дверку тумбочки, как в палату вошел Василий — в военном обмундировании и в накинутом поверх него белом халате. В этой одежде Василий был похож на бравого, бывалого сержанта, а не на раненого, пролежавшего здесь больше полугода. Только забинтованные культишки рук говорили о том, что он здесь не посто-ронний.

— Вот, комиссар, по чистой списали, дали первую группу инвалидности, — хмурясь, произнес Василий. С помощью культишек и губы он пытался развернуть какую-то бумажку. Но это у него не выходило...

— Давайте я... — Таня взяла у него бумажку.

— Обидно... довоевать не пришлось... Хотелось мне на немецкой земле побывать, в самую гитлеровскую берлогу заглянуть... — Лапин заметно волновался, с трудом произносил слова. Вдруг он отвернулся и уткнулся головой Даше в грудь.

— Вася, Васенька, не надо... родной... — гладила его голову Даша.

— Вот и с вами тоже расставаться...

— Успокойся, не казись, Вася, — тепло сказал Курбатов. — Ты не хуже других Родину защищал, за нее пролил кровь и отдал самое дорогое... Я уверен, что ты себя и на тыловой работе покажешь.

Василий уже начал успокаиваться; он посмотрел на Курбатова:

— Так думаешь, комиссар, выстою я?

— Крепкий ты, захочешь — выстоишь. А не захотеть ты не имеешь права. Носить партбилет в кармане да болтать про войну — не велика хитрость, а вот настоящие дела делать, которых от нас требует партия, нелегко...

— Всё это верно, комиссар! И на «гражданке» я сумею не сдрейфить. Наблюдал я до войны, что у нас частенько о человеке не по делам, а по языку судят...

— Бывало и такое, но в наши трудные дни, сам видишь, болтуны линяют... Теперь отношение к людям должно измениться. Руку, ногу повредишь — сживется, а вот если душу искалечишь — дело хуже.

— Страшновато, комиссар, — тихо сказал Лапин.

— Мужество без страха не бывает. Люди, не знающие страха, только в сказках существуют. Всегда помни, Вася, одно: пока человек не сдастся, он сильнее

своей судьбы. А в жизни, как и на войне, иди на врага грудью. Но горячиться тоже нельзя. Храбрость без поддержки приводит к глупости. Надо уметь владеть собой и всегда трезво оценивать обстановку. Вот тебе урок, преподанный комиссаром...

Василий, сидя на табурете, хмурился. Тяжело ему было расставаться с госпиталем, с друзьями. Через несколько минут он покидал привычную обстановку и начинал прокладывать путь в новую жизнь.

Всё еще хмурый, Лапин пристально, изучающе посмотрел на свою жену. И вдруг, совершенно неожиданно, спросил:

— Ну, так как, Даша?

— Что как? — удивилась Даша.

— Да вот, — показал на свои култышки Василий. — Может, пока не поздно, прямым ходом в дом инвалидов податься?..

Даша, покраснев, всплеснула руками, на глазах ее навернулись слёзы.

— Как вам не стыдно, товарищ Лапин! — не удержавшись, воскликнула Таня. — Вы же оскорбляете жену.

— Нехорошо, Лапин, — осуждающе проговорил Курбатов. — Не узнаю тебя... Или Заславский на тебя так подействовал? Сейчас же проси у жены прощения, а то...

— Что ты, комиссар, да разве я... — Василий преданно и смущенно посмотрел на Дашу, привлек ее к себе и стал осыпать поцелуями губы, щеки, глаза. — Прости, моя Шуточка, прости меня, вахлака неотесанного!..

Дома Василий называл свою жену «Шутка» и «Шуточка», производными от «Дашутка», «Дашуточка». Он обнимал и целовал Дашу так, что она начала осторожно вырываться:

— Вася, довольно...

— Ты, комиссар, как хошь, а в гости ко мне на Волгу приезжай. Стерляди наловим, уха добрая будет.

— Нет, верно, — целуя Таню, проговорила Даша, — приезжайте. Летом хорошо, польза Якову Васильевичу будет, да и вы, я знаю, отдохнете в нашем колхозе.

— Вы пишите, товарищ Лапин, — попросила сестра Юля.

— Обязательно напишу, Юленька.

Василий и Даша ушли. Тихо и пусто стало в палате. Таня и сестра тихонько вытирали глаза. Курбатов нахмурился, смахнув слезу.

— Ты, Яша, что? — спохватилась Таня.

— Просто так; трудно бывает прощаться с хорошими людьми...

14

Весна была дружная и теплая. Прошли первые ливни с громом и молнией. Еще вчера в госпитальном саду деревья стояли голые, с набухшими почками, а сегодня они покрылись свежей зеленью. Вдали у забора начала распускаться сирень, нежно-розовым, белым цветом покрылись яблони и вишни. Земля пахла влажными испарениями; она приготовилась к тому, чтобы возвратить сторицей человеку всё, что он посадит в заботливо обработанных полях и огородах.

В эти погожие прекрасные дни не верилось, что где-то за двести километров идет кровавая война, что фашистские полчища топчут нашу землю, ломают, жгут, уничтожают цветущие сады, зеленые озими, мирные города и села нашей Родины. Война всё дальше и дальше уходила на восток. Фашисты рвались к Волге...

Таня целые дни проводила в палате мужа; она бережно ухаживала за ним, и ее забота не пропала даром: Курбатов стал поправляться быстрее. Но Таня ухаживала не только за мужем, она помогала сестрам и санитаркам. Раненые считали ее своим человеком в отделении, обращались к ней запросто со своими просьбами и нуждами. Таня приходила в госпиталь утром и уходила поздно вечером. Командование госпиталя за добровольную, бескорыстную работу зачислило ее на котловое довольствие наравне со штатным персоналом.

Однажды, когда Таня уехала в Новогорск провести дочь, сестра Юля принесла почту.

— И вам, товарищ комиссар, письмо пришло, — Юля подала Курбатову бумажный треугольник.

По почерку Курбатов узнал, что письмо от Кията.

Едва он развернул треугольник, из него выпала небольшая фотография. Курбатов сразу определил, что снимал фотолюбитель. Перед ним стоял Кият во весь

молодецкий рост, на плечах лежали погоны майора. «Ого, далеко шагнул Валька, — подумал Курбатов, — умница, полгода назад рядовым служил. Ну, да Валька — человек с высоким потолком, такой в рядовых не засидится. Да, время... время, а вот я... — Курбатов невольно бросил взгляд на свою ампутированную ногу и грустно улыбнулся. — Отвоевался, на передний край не гожусь, только на малые дела. Но... — в глазах у него сверкнули огоньки, — еще поработаем. Как раз сейчас-то и пришла пора проверить старый комсомольский и партийный закал на прочность».

Курбатов принялся за чтение. Кият писал:

«Дорогой друг Яша!

Прошло полгода, как я потерял тебя. Я не знал, где ты, что с тобой. Несколько раз писал командиру твоей части, но он не ответил. Только на днях получил от него письмо; он сообщает, что ты тяжело ранен и находишься в госпитале. Но какая рана, он мне не написал.

Я уже писал тебе, что восстановлен в партии. Сейчас нахожусь в командировке. Только вчера приехал на Урал за техникой. А до этого пришлось мне, между прочим, побывать и на нашем тракторном, хотя и недолго...

Меня восстановили в моем довоенном звании инженер-капитана и как главинжа тракторного завода перевели в танковую часть. Вначале я был помпотехом в танковом батальоне, а сейчас воюю в должности помпотеха полка тяжелых танков; за ними-то я и приехал на Урал.

Дважды был я легко ранен, но в госпиталь не ложился, ходил на перевязки в медсанбат. Недавно наградили меня «Красной Звездочкой»; было тут одно боевое дело: пошарили по тылам у фрицев. Часть моя вот уже два месяца находится на берегу большой реки, той, что берет начало у озера Селигер. Под городом стоим насмерть. Отступать больше некуда, да и нельзя, — не позволяет гордость советского человека.

А фрицы прут и прут. Людей они не жалеют, как в кровавой мельнице перемалывают их. Но мы назад не сделаем больше ни шагу. Я точно знаю, что этого города мы не отдадим. По всем признакам, готовим здесь гитлеровцам русскую баню, в которой оконча-

тельно смоем с них фашистскую спесь. Вначале я воевал на Северо-Западном фронте. Вот там-то я и попал в большой перепплет. Ты уже наверно слышал об измене генерала Власова; я, к несчастью, был у него в соединении. Почувяв измену, я с экипажем одного тяжелого танка скрытно ушел и, пока хватило горючего, утюжил тылы немцев. Когда горючее кончилось и трофейным бензином заправиться стало невозможно, мы подорвали танк и ушли в лес. Долго плутали, но вышли-таки к своим. Я снова был зачислен в танковую часть... Хотел тебе много написать, но уже выдохся. Не умею писать письма. Когда встретимся, обо всем подробно поговорим; на такую скорую встречу я надеюсь. Воевать буду до победного конца. Много, Яша, во мне сейчас ненависти к фашистам накопилось, ей нужен выход. На днях получу технику, и снова в часть, на передовую. Опять буду в боях. Адрес твой знаю, с фронта тебе напишу. А ты лежи и как следует поправляйся. Напиши мне, куда ранен и скоро ли снова сможешь вернуться на фронт. Пиши, друг мой хороший, самый близкий. Спасибо тебе за всё, что ты для меня сделал.

Большой привет Тане и Оленьке. Если увидишь, то передай привет Валерии Чайке.

Целую и обнимаю тебя.

Валентин».

«Друг ты мой бесценный, — подумал Курбатов, — Валька, Валька, ты такой же, как был и раньше! Озеро Селигер... Эх ты, конспиратор! Ребенок знает, что отсюда берет начало Волга. Ладно, воюй, друг, и за меня теперь тоже, а я здесь, в тылу, за тебя поработаю. Но почему привет Чайке?.. Разве ты знаешь ее? Откуда? Почему ты мне не говорил об этом знакомстве?»

«Чайка... — задумался Курбатов. — Нет, я и тогда не был волокитой. Волокитство — времяпрепровождение пошляков, и для меня это — пустое занятие. Нет, к Чайке меня тогда потянуло одиночество, глупый Танин поступок, а глубокого чувства не было...»

Вскоре Курбатова зазнобило. Он закутался в одеяло, но согреться не мог. Пришла сестра, проверила пульс и принесла градусник...

— Смотрите, да у вас тридцать восемь, простудились. Я вам говорила, что кровать к другой стене надо

переставить. Ведь на сквозняке всё время. Вот и про-
дуло...

Пришли санитары, передвинули кровать. Курбатова стали лечить от простуды. Через несколько дней, когда установилась нормальная температура, он еще раз прочитал письмо Кията и сел писать ответ. Хотя на сердце скребли кошки, но письмо получилось длинное и приподнятое. Курбатов очень туманно написал о своем ранении и не преминул спросить у Кията, почему он должен передать привет Чайке. Это бодрое письмо не соответствовало настроению Курбатова, которое с каждым днем становилось всё хуже и хуже; всё его раздражало, всё было не так.

Курбатов много читал, но это не могло заменить живой работы, к которой он привык. Шли дни, и книга, принесенная библиотечаршей, раскрывалась всё реже. Курбатов серьезно загрустил. «Да ведь это от безделья!» — однажды подумал он. Подумал и рассмеялся, вспомнив, что может случиться от безделья: «Если у собаки вычесать всех блох, то она ведь сдохнет от скуки».

Это верно, но и хуже бывает: от безделья и скуки люди даже в петлю лезут. Нет, скорее надо выписываться отсюда, скорее надо вернуться к делам.

Чтобы с пользой занять свободное время, Курбатов стал помогать медицинским сестрам готовить в перевязочной операционные материалы для стерилизации: делал из марли шарики, скатывал бинты, заряжал стерилизатор. В перевязочную привозили его на каталке; иногда ему удавалось упросить сестер свезти его в палату к раненым бойцам, чтобы побеседовать с ними. И время перестало тяготить его; казалось, что и рана затягивается быстрее. Но Курбатов еще был слаб, на костылях он ходить не мог, — сказывались большая потеря крови и результат тяжелого сепсиса.

Давно присматривался Курбатов к двум санитарам хирургического отделения. Они помогали медицинским сестрам привозить в перевязочную на каталке тяжело-раненых, разгружали прибывшие с вокзала санитарные

машины, вносили в палаты раненых. Санитары кололи дрова, топили печи и выполняли много других мелких работ. Наблюдая за ними изо дня в день, Курбатов пришел к выводу, что такую работу смогли бы взять на себя не эти здоровенные молодые парни, а легкораненые, выздоравливающие или пожилые бойцы. Он отлично знал, как сейчас остро нуждался фронт в людях, помнил, как перед каждым боем из армейских и дивизионных тылов на передовые отправляли всех, кто может держать в руках винтовку.

Курбатов решил поговорить в удобное время с молодыми солдатами-санитарами. Такой случай вскоре представился. Однажды в палату зашел и принес Курбатову костыли один из этих молодых санитаров. Гимнастерка, чувствовалось, была ему мала и слишком туго обтягивала тело.

— Спортсмен? — усмехнувшись, спросил Курбатов у санитаря.

— Колхозники мы... — ответил парень.

— Откуда родом?

— Из Сибири, Омской области.

— На фронте был?

— Был. На Юго-Западном...

— Ранен?

— Да, в ногу.

— Сильно?

— Кость не задело...

— Давно вылечился?

— Да, поди, месяца три...

— А почему находишься в госпитале? — резко спросил Курбатов.

Парень смутился и сразу не нашелся, что ответить; после паузы тихо сказал:

— Про то начальство спросите...

— Почему сам не спросишь? — Курбатов пытливо смотрел на санитаря, и тот ответил:

— Так я же не один...

— Знаю. Меня интересует такой вопрос: неужели тебя совесть не тревожит? Ведь ты, молодой, здоровый парень, незаконно сидишь в тылу и, вместо того, чтобы Родину защищать, как тебе положено, выносишь утки и судна?..

Парень совсем растерялся:

- Так мы что, мы готовы всегда...
- Иди сейчас к комиссару госпиталя и потребуй, чтобы тебя выписали и отправили на фронт.
- Да я же им говорил, а они нипочем...
- Плохо, значит, говорил. Держать тебя они не имеют права.
- А как же здесь... раненые... кто за ними?.. — сбивчиво заговорил санитар.
- А здесь другой выздоравливающий, более пожилой, справится. Есть ведь у нас в отделении такие?
- Есть... Вон дядя Левонтий... Ему уже под пятьдесят... Палец у него на ноге оторван был. Выздоровел. Он бы мог.
- Ну вот видишь.
- Только, товарищ комиссар, начальник госпиталя тут строгий, не любит, когда перечат ему...
- Не бойся, в случае чего — приходи ко мне...
- Разрешите идти? — громко сказал санитар.
- Идите. Кстати, как ваша фамилия?
- Моргунов Павел Петров. Из колхоза «Рассвет» Омской области. Рядовой двадцать восьмого полка десятой дивизии.
- А домой-то ты пишешь? Не забыл? Может, мне за тебя привет написать родителям или колхозникам?
- Не надо, товарищ комиссар, — испуганно, изменившимся голосом, попросил солдат, — я сам напишу, не беспокойтесь!
- Ну ладно, Моргунов. Не забудь зайти ко мне.
- Есть, товарищ комиссар. — Солдат неловко повернулся и вышел за дверь.

После обеда Курбатов взял книгу и углубился в чтение. В палате стояла тишина. В последнее время, после отъезда Лапина, почти не было нового пополнения раненых. Курбатов знал: это означает, что на фронте затишье, что наши части находятся в прочной обороне, закрепились в землю.

Перед тем как задремать, он начал писать письмо в колхоз Лапину, но письма написать не удалось. В па-

лату стремительно, в сопровождении начальника отделения, политрука и старшей сестры, вошел начальник госпиталя — полковник медицинской службы Захватаев. Сразу было видно, что он взбешен: лицо и даже лысина его были красны от гнева, пенсне плохо держалось и всё время падало на грудь, удерживаемое тонким шнурком. Военная форма на полковнике была пригнана ладно, новенькие погоны отливали серебром, начищенные сапоги блестели как зеркало. Начальник госпиталя не был кадровым военным. По специальности он был хирург-гинеколог. Рассказывали, что до войны Захватаев жил в Москве, через своих пациенток имел большие связи. В первые же дни войны в военкомате ему вручили повестку, но на фронт он не поехал. Через Военно-санитарное управление Захватаев выхлопотал назначение начальником госпиталя в город Подольск под Москвой. Из-под Москвы госпиталь переехал сюда — в областной город. Начальник имел квартиру при госпитале, и его многочисленные, до четвертого колена, чада и домочадцы, жили сытно, спокойно, словно на даче.

Захватаев подошел к кровати Курбатова и, с трудом сдерживаясь, сказал:

— Товарищ батальонный комиссар, вы забыли, что находитесь здесь на положении раненого и не имеете никакого права вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь. Я... я... потребую вашего перевода в другой госпиталь. Не забывайте!

Курбатов спокойно, удивленно подняв брови, смотрел на взволнованного полковника, а тот распалялся всё больше и уже фальцетом выкрикнул:

— Вы, очевидно, не знаете, что время комиссаров прошло. Я был в Москве и видел проект... Скоро получим...

Курбатов сел на кровати, пристально вглядываясь в каждое движение и каждый жест начальника госпиталя:

— Вот что, товарищ Захватаев, может быть, стоит нам поговорить с глазу на глаз? Может быть, у сопровождающих вас товарищей найдутся другие дела?

Полковник посмотрел на свою свиту, и сопровождавшие его поспешили один за другим удалиться из палаты. Курбатов и Захватаев остались одни.

— Теперь я вас слушаю, товарищ Захватаев. Вы, кажется, недовольны моим поведением?

— Конечно. Зачем вы суете свой нос туда, куда не просят? — резко сказал Захватаев.

— Не понимаю вас, полковник, — обезоруживающе спокойно ответил Курбатов. — А потом, учтите, я не только раненый батальонный комиссар, но и коммунист, а коммунист, если видит, что гниль прет на поверхность, не имеет права молчать.

— Но какое вам дело до наших санитаров?

— Снова не понимаю вас, полковник...

— Да как же, час назад приходит ко мне санитар Моргунов из вашего отделения и требует, именно требует, чтобы я его немедленно списал на фронт...

— Вот молодец! — воскликнул Курбатов.

— Вам легко говорить «молодец», а что будет с отделением? На этих санитарах всё держится. Сестры не поднимут раненого... И потом — зря вы всё это. В других госпиталях такое же практикуют, и вы этого не искорените.

— Вы, полковник, представляете себе элементарные нужды фронта? Фронт очень остро нуждается в пополнении, в солдатах, в офицерах. Госпиталь — это своего рода ремонтная мастерская. Вылечившиеся, выздоровевшие бойцы должны немедленно возвращаться в строй, возвращаться на передовые, где их ждут, где в них нужда. Вы всё это знаете лучше меня.

— Несколько человек не решают проблемы пополнения фронта людскими резервами, — уже спокойно, на тормозах, сдавая свои позиции, ответил Захватаев.

— Вы неправы. И вы противоречите себе. Вы сейчас сказали, что практикуемое вами имеет место во многих госпиталях.

— А вы думаете, это не так?

— Нет, почему же, — ответил Курбатов. — Но если это так, то речь уже идет не о «нескольких человеках», а о тысячах обстрелянных бойцов. Вы понимаете, что это значит с государственной точки зрения?..

— Ну уж это политика, а не медицина...

— Нет, товарищ Захватаев, сейчас медицина тоже политика, и она должна быть принципиальной политикой. Я помню, где-то у Ленина я читал о том, что самая правильная политика есть принципиальная политика.

— Но что я буду делать без санитаров?.. Вы не представляете себе, сколько у нас трудностей: целый день как белка в колесе.

— Плохо это, полковник, — ответил Курбатов.

— Что плохо? — обеспокоенно спросил Захватаев.

— Да вот — «как белка в колесе». Бесцельно, непроизводительно...

— Не придирайтесь к словам.

— Боже упаси, не имею права...

— Перестаньте шутить. Посоветуйте по-товарищески, что мне делать. Могу ли я выздоравливающих бойцов заставить работать санитарам?

— По-моему, можете. Надо поговорить с ними. Уверен, что каждый выздоравливающий добровольно согласится выполнять обязанности санитаря, помогать своим товарищам — раненым бойцам.

— Хорошо, я обдумаю. Но прошу вас, товарищ Курбатов, чтобы эта беседа осталась между нами.

— Не то говорите, товарищ Захватаев. Кстати, знаю, что вы коммунист, но не знаю, с какого года...

Захватаев замялся:

— Я еще кандидат; три месяца назад приняли...

— Это видно, — безразлично сказал Курбатов и взял с тумбочки книгу.

17

Сегодня рана болела сильнее, чем обычно. Боль была такая, что просто не стало сил. Курбатов до крови искусал губы и не смог вытерпеть — тихо застонал. Врач велел сделать обезболивающий укол, после которого Курбатов заснул. Проснулся он тогда, когда солнце склонялось низко к горизонту. Но было еще светло, — как и положено в этих северных местах. В палату пришла дежурившая сегодня сестра Юля:

— Проснулись? Не болит сейчас? Обед проспали. Пойду скажу, чтобы разогрели.

— Не надо, Юля. Я не хочу есть, — тихо ответил Курбатов. — Скоро ужин. А сейчас я съем шоколаду. Хотя он и не очень вкусный, но надо же отдать должное помощи наших союзников. Посидите-ка лучше у меня. — Курбатов отодвинулся к стене, освободив место на кровати.

Юля взглянула на часы:

— Пожалуй, полчаса можно посидеть. — И она присела на край кровати.

Курбатов давно приглядывался к этой внимательной и радушной сестре. На вид ей было лет двадцать пять. Блондинка с голубыми глазами, она была красива и стройна. Молодость бродила в ней, как зеленый весенний сок, но глаза, как это давно заметил Курбатов, были полны невысказанной печали.

Курбатов при всех обстоятельствах стремился узнать о новом человеке возможно больше. Это стало своего рода профессиональной привычкой. Каждый новый человек представлял для него как бы книгу, которую было интересно прочесть.

— Знаете, Юля, я давно заметил, что вы чем-то опечалены. Извините, что я об этом заговорил.

— Вы наблюдательны, товарищ комиссар.

— Что же вас печалит? Если не секрет, поделитесь со мной.

На лицо Юли набежала тень. Любому человеку трудно рассказывать о своей жизни, и если бы это не давало душевного облегчения, то вряд ли кто-нибудь и стал рассказывать о себе. Не каждый способен выложить свою душу перед другим человеком. Чтобы решиться на это, нужно проникнуться доверием к человеку. Правда, эта потребность приходит тогда, когда уже так накопится на душе, что всё равно, кому бы ни рассказывать, лишь бы разгрузить сердце от щемящей душевной боли. Юля закрыла лицо ладонями, потом с силой отняла их и посуровевшим голосом ответила:

— Очень ошиблась в том, кому всем сердцем верила...

Курбатов взял руку Юли и сказал:

— В юности все мы немножко пессимисты, потому что хотим сразу многого, а достигаем мало.

— Нет, не то. Яков Васильевич, — ответила Юля. — То, что произошло со мной, это другое... — Она говорила спокойно, но в ее голосе звучала тоска.

— Может, на апельсиновую корку наступили, поскользнулись в жизни?

— Нет, я не поскользнулась, а вот чувства, да... Поскользнулись и разбились..

— Девушки часто мечтают об идеальных, благородных людях, чувствах...

— Нет. Я не девушка, а была замужем... Мне уже двадцать пять лет.

— Вот как! — воскликнул Курбатов. — Что ж... очевидно, с вами произошло то самое, что сейчас часто бывает при необдуманных браках. Расскажите, Юля. Я буду рад вас выслушать, а может быть, чем и помочь смогу...

— Н-нет, — горестно покачала головой Юля. — В этих делах мне уж никто не поможет... Извините, Яков Васильевич, я пробегу по отделению, скажу санитарам, что я у вас в палате! — Юля быстро встала и убежала.

Курбатов остался в палате один: его сосед, молодой лейтенант, раненный в руку, попросил вчера у начальника госпиталя увольнительную. Ему хотелось навестить свою семью, эвакуированную из Ленинграда.

Юля пришла через десять минут:

— Ну вот, сейчас можно и поговорить. — Она робко присела на край кровати.

— Рассказывайте, Юля! — попросил Курбатов.

— С чего и начинать, не знаю... Я вышла замуж перед войной. Жили мы с мужем хорошо, как говорят: душа в душу. Я просто не нарадовалась своему счастью. Муж был серьезный, работал на заводе слесарем-сборщиком, а вечером учился в техникуме. Не знаю почему, но вскоре он буквально заболел страстью к моторам, и в жизни у него появилась одна мечта: иметь собственную автомашину или, в крайнем случае, мотоцикл с коляской. Стал копить деньги. Сам, из запасных частей, решил собрать машину. В дровяной сарай таскал откуда-то разные части. Но шасси, кузова, моста и еще там чего-то нигде достать не мог. Однажды мой Коля пришел под утро усталый, бледный. Он умылся и, пока завтракал, сказал мне: «Ну, Юлочка, скоро я тебя по Карельскому перешейку катать буду. Первым делом в Выборг съездим». Я его спросила: «А что, разве ты всё достал?» Он мне ответил, что теперь всё есть, и даже запасные части останутся. «Сегодня после работы пойду, — говорит, — краски куплю, кузов надо перекрасить». Я спросила: «А сейчас какого он цвета?» — «Зеленый, — отвечает. — Некрасивый. Я хочу его кре-

мовым сделать». Ну, и ушел он на работу, а я дома осталась, на дежурство мне надо было в ночь идти. К вечеру приехала милиция. Был обыск. В сарае нашли части автомашины. Следователь сказал, что мой Коля уже арестован, что он и еще двое его товарищей угнали легковую автомашину и где-то под Парголово «раздели» ее. Погрузили всё на грузовик и привезли в город. А шофер грузовой автомашины заявил об этом в уголовный розыск. Был суд. На суде я едва сидела, — я тогда в начале беременности была. Коле дали пять лет. В перерыве суда он попросил свидания со мной, ему разрешили, и он мне так сказал: «Всё верно. Виноват я, Юлочка. Наука мне на пользу. А себя ты считай свободной от меня. Не дело тебе с арестантом жить, а тем более ждать меня. А машину, Юлка, я всё же иметь буду. Вот отсижу свое и потом честно на машину деньги заработаю».

Юля заплакала и сквозь рыдания проговорила:

— Жалко мне его было...

Вытерев слезы, она продолжала:

— Хотя Коля и сломал мою жизнь, но я чувствовала, что продолжаю его любить, и, конечно, я бы стала ждать его... Вскоре после суда я упала, и у меня случился выкидыш... До войны я два раза носила Коле передачу. Он был бодр, хорошо и много работал в мастерских тюрьмы. В конце первого месяца войны я узнала, что Коля добровольно из тюрьмы ушел на фронт, и вскоре от него получила первое и последнее письмо. — Юля вынула из кармана письмо и прочитала: — «Юлка! Не сомневайся во мне. То, что я по ошибке заработал, здесь, на фронте, с лихвой отработаю. Я даже и сам сейчас не могу понять, как такое со мной могло случиться. Голый азарт — плохая штука в жизни. Сейчас я в разведчиках, искупаю свою вину и докажу, что я не враг своей Родине. Я тебя, Юлка моя, по-прежнему люблю...» Ну, дальше адрес и всё такое... Я ответила ему на письмо. Я уже была призвана в армию, работала в госпитале. Мой ответ ему был теплый, обнадеживающий. Я чувствовала, что всё еще люблю его; ведь всякая любовь хочет быть вечной, в этом и состоит ее горькая мука. Я понимала, что раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Но Колино раскаяние мне показалось полезным не только для него лично, но и для

Родины, для победы над врагом; я знала, что его слово — крепкое. Если глянуть глубоко, в самое дно, то человек он был добрый, справедливый, для себя ничего, а за другого в огонь полезет. — Юля достала из кармана халата еще одно письмо и, подавая его Курбатову, проговорила:

— Это вы сами прочтите. — И глаза ее заблестели влагой.

Курбатов вынул из конверта бумажку и стал читать. В ней было написано, что Николай Павлов, защищая Родину, пал смертью храбрых. Командир части сообщал, что за отличное выполнение боевого задания Павлов посмертно представлен к боевой правительственной награде.

Видя, что Курбатов кончил читать, Юля тихо заговорила:

— Я совсем растерялась и не знала, что делать. Верно, товарищ комиссар, почему это так бывает: у одних в жизни сплошное сияние, а у других потемки? Вот мой Коля погиб. И, знаете, я что думаю: почему это бывает так, что когда человек умирает, то он для всех становится более значительным? А пока он жив, до него и дела нет никому. И почему это на меня все напасти валятся? Ведь я же в жизни ничего плохого не сделала. Что же это такое! — сдерживая рыдания, воскликнула Юля.

— Жизнь это, Юля, жизнь! — тихо сказал Курбатов, сжимая руку сестры.

— Я понимаю, что жизнь... Но почему же кругом, везде горе...

— Ну уж сразу «кругом», «везде». Из-за своих личных несчастий вы, Юля, видите сейчас в жизни только плохое. А это очень опасно. В жизни лучше видеть хорошее, чем плохое. Это поднимает интерес к жизни.

— Ну где же искать хорошее? Кругом сейчас столько горя, — машинально поправляя под головой у Курбатова подушку, сказала Юля.

— Я вот недавно читал воспоминания одной старой большевички о ее последней встрече с Розой Люксембург. Так Роза Люксембург сказала ей, что человек должен жить, как свеча, зажженная с обоих концов. Жить, Юля, это значит бороться, быть всегда там, где ты нужнее.

данскую комиссаром дивизии был, на Хасане полком командовал. А износился...

— А вы не уважали и не уважаете его, полковник, — сухо сказал Курбатов.

— Да уважать-то его не за что. Для госпиталя он ничего не сделал. Только и ругаемся с ним по разным вопросам.

— Знаете что, полковник?.. А ведь в вас нет ни грана партийности, и даже слабо проявляется гражданское чувство обычного советского человека. Нет, не пойду я к вам. Не сработаемся мы, полковник. Боюсь, что не ордена, а взыскания буду вам приносить в дальнейшем. И открыто, по совести скажу: мне давно уже не нравится ваше мещанское, обывательское отношение к жизни. Вот что я вам скажу.

Захватаев оторопел. Он испуганно вытаращил глаза на Курбатова, будто увидел что-то страшное, и, неуклюже повернувшись к собеседнику спиной, вялой походкой пошел по коридору прочь от комиссара.

19

Уже много дней из палаты, которую называли изолятором, доносились стоны, дикие крики и ругань. В эту комнату переводили с самыми тяжелыми ранениями. Попасть туда означало, что ты уже почти не жилец на этом свете. Месяц назад в нее положили раненого в позвоночник сержанта-сапера Леонида Попова. Тяжелое ранение вызвало паралич ног. Очевидно, у Попова были сильные боли: он не переставая громко стонал. Врачи решили, что Попов не выживет, и перевели его в изолятор. Но он и не думал умирать. Он один лежал в изоляторе и сейчас уже не только стонал, но и ругался. Однажды Курбатов попросил сестру Юлю рассказать ему всё о сапере. Юля рассказала и добавила:

— Я думаю, он потому ругается, что лежит в палате один. Должно быть, у него семья есть, а кроме врачей и нас, сестер, никто его не навещает. Боли у него сильные, нижняя половина тела парализована, но руки здоровые, сердце и всё остальное — тоже. Из всего персонала отделения он признаёт только санитарку Сидоровну. Зовёт ее «матка». А когда Сидоровны нет на де-

журстве, то прямо беда: никого не слушается, отказывается принимать лекарство, не дает перестилать на кровати белье. Жалко мне его очень, а вот ключика к нему не могу найти. Меня он тоже, как и всю медицину, ругает. Ординатора — доктора Шапиро — не переносит: вчера бросил вслед ему кружку с молоком; в спину попал. Шапиро в ординаторскую весь мокрый пришел. Просила я некоторых выздоравливающих зайти к Попову, так он с ними и говорить не хочет: отвернется и смотрит в стену. Боль терпит так, что лицо судорогой сводит... Сходили бы вы к нему, товарищ комиссар, может разговорите его. Хоть бы так грязно ругаться перестал.

На другой день, гуляя по коридору, Курбатов решил навестить сапера. Еще вчера Курбатов подробно расспросил врача о ранении Попова. Врач объяснила ему, что ранение очень тяжелое, но при здоровом организме люди с такой тяжелой инвалидностью могут жить долго. Сейчас боли у Попова оттого, что около позвоночника еще находятся осколки кости, но скоро будет операция; излекут осколки и боли пройдут.

— Вы объяснили это раненому? — спросил Курбатов.

— Пробовала не раз, но он и слушать не хочет... Обозвал меня разными словами. А мужчин врачей он вообще в палату не пускает. Слышали вы о случае с доктором Шапиро?..

— Да, слышал... А мне, доктор, можно его навестить? — спросил Курбатов.

— Пожалуйста... Только что из этого получится?

Вот сегодня и решил Курбатов побывать у Попова.

На костылях, в байковом цветистом халате, он вошел в изолятор. В нос ударил тяжелый, резкий аммиачный запах. Попов даже не посмотрел, кто вошел. Он лежал, повернув голову к стене, и протяжно стонал.

— Ну, брат сержант, у тебя здесь и воздух, хоть топор вешай, — нарочито громко сказал Курбатов и, проковыляв к окну, открыл его. Попов выругался и еще громче застонал. Курбатов подошел к кровати Попова, стоя, долго смотрел на него, потом спросил:

— Сержант, присесть можно? — Не ожидая ответа, он сел на табурет и положил костыли на пол. — Больно, Лень, а? — мягко и с лаской в голосе спросил он.

Попов повернул голову и, посмотрев на Курбатова, злобно ответил:

— Больно! — И вновь грязно выругался.

— А вот это ты зря, товарищ Попов. Ты знаешь, отчего у тебя такие боли?

Попов заинтересованно посмотрел на Курбатова и хмуро проговорил:

— Жить неохота, умереть бы скорее. Прошу у них пристрелить меня или отравы какой дать, а они говорят: всё пройдет... А уж второй месяц мучаюсь...

Курбатов понял, что сейчас в борьбе за человека он одержал, пускай маленькую, но победу: Попов стал с ним разговаривать. Еще более настойчиво Курбатов спросил:

— А тебе говорили, отчего у тебя боли и когда они могут кончиться?

— Ничего не говорили. Они боятся меня, убегают сразу, словно и не человек я...

— Хулиганишь, сержант, много, вот потому-то и бо-
ятся тебя.

— Не хулиганю я!.. — крикнул Попов.

— Нет, хулиганишь, ругаешься, как последний извозчик. Распустился. Забыл, кто ты? Забыл, где ты? И кто дал тебе право так себя вести? Ты ведь еще командир Советской Армии. Понимаешь ты это?

Попов хмуро смотрел на Курбатова и в глазах его бежали беспокойные огоньки.

— Так вот, Леня, — мягко сказал Курбатов. — Послушай, что я тебе скажу о твоём ранении. Ранение у тебя тяжелое, очень серьезное, и, верю, боли у тебя сейчас сильные, но из-за таких болей человеческого достоинства тебе терять нельзя. Ну, зачем ты оскорбляешь врачей, сестер, которые для тебя и для всех нас делают доброе дело? Ты ведь их оскорбляешь, а они перед тобой беззащитны. Некрасиво, товарищ сержант!

— Так я ж... — что-то хотел сказать Попов, но только остервенело выругался — и вдруг заплакал.

Курбатов, не обращая внимания на слезы раненого, продолжал:

— Вот что, Леня. Скоро тебе сделают операцию, и боли у тебя прекратятся. Но инвалидом ты останешься. Ты ведь не хлюпик. Кем ты работал до войны? Какое у тебя образование?

— Семь классов. В МТС в мастерских слесарем работал, — тихо ответил Попов.

— Ну вот видишь, у нас с тобой одна профессия.

— Вы комиссар, а я...

— А ты разве знаешь меня?

— Мне говорили о вас...

— Ну, а раз говорили, то давай будем с тобой разговаривать серьезно.

Попов снова громко застонал.

— Больно? — участливо спросил Курбатов.

— Да, — ответил Попов. — Терпения нет.

— Потерпи, Леня, немного осталось... Так вот, сколько тебе лет?

— Двадцать два...

— Женат?

— Нет.

— Кто есть из родных?

— Мать...

— Очень старая?

— Нет. Сорок три года. Молодая. Думала замуж выйти. — Попов помолчал, а потом добавил: — Может, теперь и вышла.

— Видишь, Леня, значит ты не одинок: у тебя есть самый близкий человек — мать.

— Так я-то теперь не человек, а огрызок.

— Кто это тебе сказал? Ведь сам, в одиночестве, придумал, поэтому и матерщинником стал. Эх, Леня, Леня, а еще сержант, бывалый солдат.

— Не успокаивайте меня, товарищ комиссар, ноги-то мои параличом разбиты. Ходить я не смогу.

— Не то говоришь... Видишь, у меня тоже одной ноги нет, но я собираюсь еще так поработать, что, думаю, не отстану от тех, у кого две ноги. Конечно, в футбол я играть не смогу, да и не собираюсь, но мозги у меня не вывихнуты.

— Так у вас нет одной ноги, а у меня обеих... разница...

— Не спорю... Но ты сидеть можешь, руки у тебя имеются. И вообще ты, кроме футбола, любым делом можешь заниматься. Книги читать ты любишь?

— Не так чтобы очень, но читал...

— Читал ты книгу Николая Островского «Как закалялась сталь»?

— Нет. Слышал, но прочесть не пришлось...

— Зря. Хочешь прочесть? И, между прочим, для тебя это очень полезная книга.

Курбатов вынул из кармана халата книгу «Как закалялась сталь» и, подавая ее Попову, сказал:

— Возьми, Леня, прочтешь... — Попов взял книгу, с интересом долго листал ее, а потом, вдруг простонав, протянул ее Курбатову:

— Возьмите... боль... не прочитать мне...

— А ты хочешь ее прочитать? — спросил Курбатов.

— Хотел бы, но не могу, понимаете...

— Понимаю. А хочешь, я каждый день буду приходить к тебе и читать, хочешь, а?

— Давай... — тихо проговорил Попов.

— Ну, сейчас и начнем. — И Курбатов, раскрыв книгу, стал читать.

Попов внимательно слушал. С первых страниц его захватила эта книга. Он лежал, сдерживая стоны, и с каждой новой страницей интерес его возрастал.

— Молодец этот мальчишка. Жалко, что у него только махорка была. Этому гаду попу надо было мину в тесто сунуть.

Он недовольно хмурился, когда Курбатов прекращал чтение и уходил из палаты, радостно, с расплывшейся улыбкой встречал его появление... Битва за человека, за человеческую жизнь началась успешно, и Курбатов решил довести ее до конца. Иногда в палату к Попову приходила Таня и продолжала чтение книги. Врачи и сестры удивлялись, как изменился Попов. Теперь из дверей изолятора не было слышно криков и, тем более, ругани. Лишь изредка прорывался глухой, сдавленный стон.

20

Однажды навестить Курбатова приехал из Новогорска Алешин. Он основательно постарел, серебряной стала его голова, но глаза из-под густых седых бровей смотрели с прежним озорством, вниманием и юмором.

После того как позади остались приветствия и дружеские объятия, Алешин сказал Курбатову:

— Ты, Яков, долго здесь не залеживайся. В Ново-

горске тебя ждут... Кто ждет? Да все ждут. В горкоме с начала войны сидит у нас «врид». Не понимаю я, зачем допускают это «вридство». Ведь «врид», по-моему, это всё равно что вред. Сидит человек и думает: зачем мне работать, ведь я же временный и только должность замещаю. Лучше бы уж, чем «вридом», заместителем назначили, если человек в секретари не годен. Да посадили-то черт знает кого...

Курбатов удивленно поднял брови и посмотрел на Алешина.

— Чего zenки-то пialiшь? — вспыхнул Алешин. — Я дело говорю. Помнишь, наверно, Сачкова? У тебя культпропом работал. Помнишь, как с треском сняли его?

— Помню, — ответил Курбатов.

— Ну так вот, он «вридом» в горкоме сидит. — Алешин скорчил такую гримасу, словно бы выпил уксусу. Курбатов удивленно посмотрел на него, а тот снова взъелся:

— Ты чего так смотришь? Верно говорю! По Сачкову можно судить, до чего за время войны хорошие работники вздоржали. Ой, Яков, дороги стали люди... А что на предприятиях у нас? Приедешь — увидишь. Одни женщины и подростки. Ей-богу, — побожился Алешин, — прямо детский сад и женотдел, да и только. Помнишь Мелентьева? Ему бы, старому зубилу, надо дома на печи лежать да тараканов давить, так нет — и он на фронт ушел. Ефрейтором где-то в обозе второго разряда на двуколке трясется.

— Вот так здóрово! — воскликнул Курбатов. — Впрочем, Мелентьев, конечно, никак не мог дома усидеть.

— А Матвеева ты помнишь? — спросил Алешин.

Курбатов нахмурил лоб:

— Да.

— Знаешь, ведь он больше об ужение рыбы заботится, чем о работе... Так вот, его посадили председателем горсовета. Смехота! Верно ведь?

— Не годится он... — сказал хмуро Курбатов.

— Он ничего и не может. Суэта одна, только видимость дела. Городское хозяйство на глазах разваливается. Зимой водопровод почти во всех домах заморожен был. За водой на реку ходили.

— Да-а...

— Вот тебе и «да». А немецкие летчики, Яков, уже так в Новогорске накорезжили, что нет ни одного крупного предприятия, куда бы не попали бомбы. В общем, делов полон рот, и тебе здесь валяться нечего. Надо по-ударному на поправку идти. На тебя у нас, Яков, виды большие...

— Какие виды?..

— А вот такие: выпишешься — секретарем горкома будешь. Мы уже этот вопрос везде провентилировали. В обкоме согласны с нами... А это вот тебе от нас, стариков, — Алешин поставил на тумбочку бутылку с сиропом шиповника. — Витамин С, — пояснил он. — От него, говорят, раны быстрее заживают. Чудо жидкость, лучше живой воды! Так что ты уж пей. Ну, мне пора, на поезд бы не опоздать.

Алешин крепко поцеловал Курбатова и, нахлобучив поношенную кепку, вышел из палаты.

После посещения Алешина тепло и радостно стало на душе: «Значит, помнят обо мне, ждут меня... Хорошо! Моя инвалидность не мешает мне работать в полную силу». Курбатов, откинув одеяло, пощупал свою культю: «Научусь ходить на протезе. Ходят же другие, почему я не смогу?..»

21

Лето вступало в свои права. За окном, к которому часто подходил Курбатов, учились летать птенцы; иногда у птички, погнавшейся за мухой, слабенькие крылышки не выдерживали и она падала вниз. С тревожным писком бросалась к птенцу мать-пичуга.

Ежедневно из госпиталя выписывались бойцы и офицеры. Большинство из них снова уходило на фронт, инвалиды шли на ВТЭК и, получив группу инвалидности, уезжали домой. Курбатова сняли с военного учета совсем.

Вскоре приехала Таня, чтобы забрать мужа из госпиталя. Курбатов и Таня зашли к сержанту Попову проститься. Таня оставила Попову на память книгу с надписью. Курбатов подарил ему набор инструментов, необходимых для резьбы по дереву. Эти инструменты

достал для Курбатова Алешин у своего знакомого, известного в области резчика по дереву.

Попов очень обрадовался тому, что они зашли, не забыли его, и, как ребенок, перебирал подарки. Но пришла пора прощания, и Попов не выдержал, прослезился.

— Хватит, сержант. Ну чего разнюнился... Прощай, друг!

— До свидания, товарищ комиссар. Вы еще обо мне услышите. Я вам образцы своей работы пошлю... Смотрите держитесь и вы!

— Хорошо. Ну, Таня, прощайся и пошли. Пора.

Таня обняла, поцеловала Попова и вслед за мужем вышла из палаты.

«Вот и стал инвалидом», — горестно подумал Курбатов, шагая к выходу.

Курбатов медленно спускался по лестнице. Снизу хлынула волна свежего воздуха, — там кто-то открыл дверь на улицу. Навстречу Курбатову поднималась сестра Юля. Увидев комиссара, она воскликнула:

— Уже!.. Разве вы сегодня выписываетесь, Яков Васильевич? А у меня сердце как чувствовало: решила пораньше прийти на дежурство... Вот и проститься бы не удалось...

— И мне было обидно, что вас сегодня нет на дежурстве... До свидания, милая Юля, хорошая моя сестрица...

Курбатов обнял Юлю и поцеловал в щеку. Глаза у Юли заблестели слезой, она порывисто обняла Курбатова и поцеловала его в губы.

— Видите, отвоевался я...

— Ну, нет... Такие, как вы, везде нужны...

В кабинете секретаря обкома партии по промышленности сидел старый товарищ Курбатова Колчин. Он очень обрадовался Курбатову и, выбежав из-за стола, крепко обнял его.

— Молодец, хорошо сделал, что сразу зашел! — проговорил он деловым тоном, словно они только вчера виделись. — А я часто о тебе думал... Ну, садись, са-

дись, — он бросил короткий взгляд на ноги Курбатова. — Значит, отвоевался... Черт бы взял этих фрицев! Ну ничего, еще поработаем!

— Я для того и пришел...

— Тебе повезло, застал на месте... Я ведь в кабинете мало сижу... Ты знаешь, кто у нас первый секретарь?.. Он недавно...

— Нет, не знаю, — ответил Курбатов.

— Так пойдем к нему скорее, он тоже будет рад тебя видеть.

У двери в кабинет секретаря обкома Курбатов замешкался.

— Входи, — слышался негромкий приятный голос.

За большим письменным столом сидел человек с пышной шевелюрой, в которой виднелись серебряные пряди седины; виски были совсем седые. Склонившись над столом, человек писал. Когда он поднял голову, Курбатов сразу узнал в нем знакомого — Родина, бывшего директора Новогорского тракторного завода.

Родин улыбнулся вошедшим, поспешно встал и вышел из-за стола. Подойдя к Курбатову, он бережно взял его под локоть, провел к креслу и, осторожно усадив в него, сам сел напротив.

— Значит, отвоевался, — мягко произнес он ту же фразу, что и Колчин. Курбатов хотел ответить, но Родин продолжал: — Зато голова цела... ну, а ноги... конечно, футболистом ты уже не будешь, а болельщиком останешься. Как с протезом?

— Плохо, — ответил Курбатов. — Тяжел очень и скрипит, аж за душу берет.

— Да, в нашем городе протезы еще делать не умеют, но ничего — мы попросим, чтобы тебе в научно-исследовательском институте сделали. Есть такой в Москве в Теплом переулке. Поедешь?

— Если можно, то конечно...

— Вот и хорошо, дам команду, чтобы пропуск готовили, документы, и наркому насчет этого сейчас позвоню.

— Спасибо.

Родин задумался, пристально посмотрел на Курбатова и пригладил рукой волосы:

— Как тебя, Яков, Яков... Извини, забыл.

— Васильевич, — подсказал Колчин.

— Зовите меня по-прежнему Яша, — ответил Курбатов.

Родин хитро прищурился и улыбнулся:

— Так вот, товарищ Яша, новогорские большевики не раз в обком приезжали и просили прислать тебя к ним. Тебе уже наверно говорили...

— Приезжал Алешин в госпиталь, говорил, да я, по совести, не поверил ему.

— Это почему же? С каких пор ты старым большевикам не стал верить? Нехорошо...

— Да я о другом... Не много ли чести мне?

— В Новогорске тебя хорошо знают, а потому мы в обкоме посоветовались и решили рекомендовать тебя первым секретарем горкома.

Родин взял со стола пластмассовый портсигар, открыл его и, протягивая Курбатову, сказал:

— Кури.

Курбатов вынул из кармана трофейную зажигалку в форме маленького пистолета, выстрелил и протянул язычок пламени Родину, потом закурил сам.

— Немецкая штукавина?.. — кивнув на зажигалку, спросил Родин. — Это в их духе. Они давно бредят этим...

— Да, разведчики подарили, — небрежно ответил Курбатов.

— Ну, так ты как? — спросил Родин.

— Я согласен и сделаю всё, чтобы оправдать доверие. — Голос Курбатова дрогнул от волнения. — Только справлюсь ли?

Родин привстал в кресле и положил руки на плечи Курбатова:

— Справишься, дорогой Яков Васильевич, я не сомневаюсь... И мы помогать будем. — Посерьезнев, он добавил: — А теперь давай накоротке о новогорских делах поговорим.

Курбатов положил недокуренную папиросу в пепельницу и весь обратился в слух.

— Тебе говорили, что Новогорск сильно пострадал от воздушных налетов?

Курбатов утвердительно кивнул головой.

— Так вот, надо будет сразу же заняться восстановлением предприятий и жилого фонда. И не смотри на меня так удивленно. В войне уже перелом в нашу

сторону произошел, и ждать ее окончания недолго... — Родин указал рукой на большую карту Советского Союза, висевшую на стене рядом со столом. — Видишь, где флажки? Далеко на запад ушли, надо к миру готовиться. Так как людей маловато, то нужно привлечь население города к восстановительным работам. В Ленинграде вот правильно сделали. Там каждый обязался отработать сверх рабочего дня определенное количество часов. Там даже каждому жителю такие книжки выдали, в них записывают, кто сколько сделал. Придется партийной организации вашей подумать. И имей в виду: всё это надо сделать общественным, добровольным порядком, без всякого принуждения. Коммунисты примером должны быть. Кстати, там у вас неплохо растет парторганизация.

Родин снова взял папиросу, закурил и, внимательно глядя на Курбатова, продолжал:

— Кроме того, прошу запомнить: хорошенько приглядись-ка ты к председателю горисполкома Матвееву. Много сигналов о его плохой работе. О нем прямо анекдоты рассказывают.

— А как он в председатели попал? — спросил Курбатов. — Я удивился, когда узнал...

— Ну, дорогой, не всегда сразу человека раскусишь, да не забывай, война идет, людей нет... Воленс-ноленс, как говорят.

— Ошибку сделали, — коротко заметил Колчин.

— Верно, ошиблись. Так и надо признаться... Ну вот и всё, пожалуй, поезжай, давай. И смотри не зазнавайся, с народом будь больше, присматривайся и прислушивайся, как он живет, что думает. Что мы уже сейчас в силах, то должны сделать для него. Всегда помни об Антее и о земле — краткий курс истории партии небось на зубок знаешь. Вся сила у нас, большевиков, в трудовом народе. Верно я говорю? Ну, давай руку.

Курбатов, волнуясь, протянул руку, и Родин крепко пожал ее:

— Чуть что затрет, звони. Если потребуется, всегда поможем.

Секретарь обкома проводил Курбатова до дверей кабинета и здесь по-дружески обнял его.

Лето для этих мест установилось неожиданно жаркое. На полях молочной спелостью наливались колосья пшеницы, ржи. В Новогорске и на его окраинах зелени всходы коллективных и индивидуальных огородов. Все скверы, пустыри были вскопаны, повсюду возвышались грядки с будущими овощами, урожая которых так нетерпеливо ждали жители Новогорска. Паек, выдаваемый по карточкам, был скуден, а тут скоро появятся картошка и лук, редиска и редька, кабачки; кое-где уже наливались увесистые тыквы. Кажется, не было ни одного жителя города, который бы не имел под овощами одну-две грядки.

Благотворные, короткие грибные дожди были часты, и от огородов веяло испарениями, запахами удобренной земли.

Глядя на солнечный закат, новогорцы каждый вечер говорили: «Солнце красно с вечера, моряку бояться нечего».

И верно, на другой день снова устанавливалось краснопогодье.

Дом Курбатова уцелел. Но квартира была очень запущена: Таня уже несколько месяцев не жила в ней. Она медленно обошла комнаты, брезгливо проводя пальцем то по столу, то по окну, потом, ни слова не говоря, пошла в ванную комнату, откуда вскоре вышла переодетой и с ведром воды в руке:

— Ты, Яша, приляг на диван, а я приберусь и пол вымою. У нас тут грязи как в конюшне.

— Зачем же ты сама...

— Кто же за меня делать будет? Ты ведь не хочешь, чтобы про жену первого секретаря горкома говорили, что она белоручка. Да и не такой меня здесь знали, когда ты воевал. Не забудь, я ведь на заводе работаю; даже в партком меня избрали. Или ты думаешь, культпроп не должен уметь мыть полы, Яша?

Курбатов, глядя на быстрые и ловкие движения жены, всё больше и больше проникался нежностью к ней. «Какая она, моя Татьяна, стала!» — думал он, стараясь найти слово, которое бы передавало то новое, что он замечал в жене, но так и не нашел его.

«Как-то она здесь жила без меня?» — слепой червячок ревности заполз ему в сердце. Он внимательно и настороженно посмотрел на раскрасневшуюся и похорошевшую жену... Стараясь говорить шутливым тоном, спросил:

— Ты здесь без меня кавалерами не обзавелась? Я ведь знаю: секретарь парткома на вашем тракторном Слащев — покоритель сердец.

Таня в это время выжимала тряпку. Она резко выпрямилась и удивленно взглянула на мужа.

— Ты понимаешь, что говоришь? — покачала она головой. — Всего от тебя ожидала, только не ревности. Оказывается, ты у меня обыкновенный мужчина, да еще с пережитком капитализма в голове. Тебе, Яшенька, не мешает прочесть Энгельса: «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это тебе поможет в ликвидации пережитка капитализма в сознании.

Курбатов засмеялся, но всё же покраснел. Таня сделала вид, что не заметила его смущения.

— Ты знаешь, кое-кто посмеивался над моим образом жизни; мне говорили, что у вас там, на фронте, было свободно насчет этого, офицеры приобретали себе этих... как вы их называете... ППЖ. Что смотришь на меня удивленно?

— Странно слышать мне в твоих устах эти слова, — ответил Курбатов.

— Вот тебе и раз! Фронтовик называется! Ты думаешь, мы тут не знали, что у вас в окопах делается, что такое полевая походная жена?..

Курбатов еще больше смутился, покраснел и погрюмел.

А в Таню как бы вселился черт, она и не думала прекращать затеянного разговора, желая сполна выложить всё, что раньше было скрыто в самых глубоких тайниках ее сердца.

— Почему ты краснеешь? — спросила она. — Можно подумать, что и у тебя ППЖ была...

— Что ты, Таня! — испуганно воскликнул Курбатов. Этот разговор почему-то был ему неприятен. Он уже жалел, что начал его. Перед ним вдруг возник образ Чайки. Одинокой, красивой, глубоко переживающей беду другого. «Какая всё же она хорошая, — невольно

подумал Курбатов. — И как она мягко, но решительно оттолкнула меня».

Ему захотелось рассказать жене о том, что произошло между ним и Чайкой... Таня, присев на стул, внимательно и несколько удивленно слушала его рассказ. Она понимала, как трудно далось ему такое признание...

— ...Понимаешь, Таня, хорошая она, настоящий друг. Она меня, может быть, от безрассудного шага предохранила, а ведь в ее одиноком положении это нелегко было сделать... Ну вот, — облегченно вздохнул Курбатов, — теперь ты всё знаешь, теперь у меня от тебя тайн нет.

Таня сидела, склонив голову, и слушала мужа. Слова его причиняли ей боль, и всё же на душе у нее было легко. Новое чувство нежности поднялось в ней. Она пересела на диван и крепко прижалась к мужу, охватив его шею руками:

— Ты знаешь, иногда я не верила, что ты у меня такой, что никогда не изменишь мне... И прости меня, дуру, за то, что я тогда уехала... Эта Чайка — благородная душа, хорошая женщина. Я ее видела несколько раз вместе с Валею Киятом...

— С Киятом? — удивленно воскликнул Курбатов.

Таня настороженно посмотрела на него:

— Ну да, с Киятом, а что же тут такого? Чему ты удивляешься? Валя холостой...

— Да нет, — спохватился Курбатов. — Я удивился тому, что в письмах Кият просит передать привет Чайке, а я и не знал, что они знакомы. Чайка, хотя одинокая, но большая затворница, и жизнь свою она посвятила сыну.

— Я знаю, что Кият познакомился с Чайкой до войны, — пояснила Таня, — еще до отъезда из Новогорска. А во время войны он ненадолго приезжал сюда... кажется, за танками... Ты разве этого не знал?

— Да, я не всё знал...

Таня помолчала, потом вдруг всплеснула руками:

— А я-то!.. Это так я пол вымыла, прибралась! — Она побежала к стоявшему посреди комнаты ведру и окунула в него тряпку.

Курбатов давно проснулся и всё еще не мог прийти в себя. Не было привычного потолка с зигзагообразной щелью, белых стен, к которым он привык в госпитале, и рядом на кровати сидела Таня, которую он только что видел во сне, — или это был не сон? Он привлек ее к себе, Таня сопротивлялась.

— Яша, Яшенька, — говорила она, — вставать пора. Ты же к двенадцати собирався пойти в горком.

— Не пойду сегодня никуда. Весь день с тобой буду. И вообще, ты права, мое солнышко: теперь буду чаще и дольше бывать дома. Хочу, чтобы здесь была Оленька. Ты сегодня съезди и привези ее. На каникулах она и здесь отдохнет.

Таня, уже одетая, села на стул у кровати:

— Яша, ты будешь помогать мне в партработе? Боюсь я... Ведь ничего не знаю... даже с чего начинать...

Курбатов присел на кровати и взял папиросу. Испортив несколько спичек, он закурил и затянулся:

— Начни с того, чтобы не бояться... А помогать советом всегда буду, как смогу. Раньше, когда ты работала воспитательницей детишек, я не мог тебе помогать: в этой работе, в педагогике твоей, я мало что понимаю. А теперь у нас с тобой много общего в работе.

— Только, Яша, ты меня не опекай... Пусть не думают, будто я использую положение мужа...

— Нет, что ты, Таня! Если что будет не так, то спуска тебе не дам. Ты запомни это. Друзья без боязни говорят друг другу в глаза всю правду, какая бы горькая она ни была. И ты со мной так же поступай.

— Трудно тебе, Яша, без ноги будет на новой работе... Ой, трудно! Ведь подумать только: весь город, заводы, за всё ты в ответе...

— Конечно, трудно, — ответил Курбатов, — но ведь всякое серьезное дело трудно. Я знаю, что ходить, невзирая ни на что, придется мне много, ибо всю жизнь я придерживался золотого правила каждого руководителя: «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать...» Вот видишь, я уже начал тебя учить. И еще вот что скажу: научись терпеливо выслушивать людей,

отбирай из бесед с ними самое хорошее, то, что помогает нашему общему делу, делу партии. И, главное, Танюша, будь чуткой к людям. Помни, к каждому человеку нужен свой подход: все люди неодинаковы, в природе одинаковых двух листьев нет, а людей тем более. У каждого свое, свои наклонности, привычки, взгляды, каждый по-своему оценивает окружающее. На свой аршин никого не меряй, ошибешься. На человека, если он не враг, сильнее действует доброе, идущее от сердца, слово... Знаешь, кто меня работе с людьми научил? Алексей Николаевич Данилов.

— Жалко, такого замечательного человека потеряли... Жил бы он сейчас и работал на радость всем...

— Потерянное не вернешь,— тихо и горестно сказал Курбатов. — Помню, я еще на комсомольской работе был в губкомол. Вызвал меня однажды Алексей Николаевич и спрашивает: «Ну как, нядомские комсомольцы успеют к празднику паровоз из ремонта выпустить?» Смутился я, покраснел и не знал, что ответить. Нядомские ребята из депо без звона решили в подарок к девятой годовщине Октября на субботниках отремонтировать паровоз. В губкомол они об этом не сообщили. А вот Данилов откуда-то узнал и спрашивает меня. Я откровенно ему ответил, что не знаю об этом. С укоризной посмотрел на меня Алексей Николаевич и внушительно сказал: «„Не знаю“ — такого слова в лексиконе у руководителя быть не должно; руководитель должен знать всё, что делают и даже о чем думают люди, которыми он руководит». Я было пробовал возразить, что в губернии сейчас пятьсот ячеек комсомола, и разве узнаешь, что в каждой из них делается. «А должен знать, — твердо ответил мне Данилов. — Что за руководитель, если он не знает, что происходит на руководимом им участке». Потом посмотрел на меня внимательно и добавил: «Значит, плохо еще ты, Курбатов, постигаешь такую науку, как человекознание, а это основная наука для каждого руководителя. Учти, что учебников или книжек по этой науке не найдешь, они еще не написаны. Дается она тому, кто внимательно и постоянно изучает жизнь, окружающих его людей, кто вникает во все мелочи жизни. И если всё это руководитель делает постоянно, то он всегда будет в курсе всех дел. Люди сами, без особого запроса, бу-

дут сообщать ему обо всем. Пока ты молодой, в комсомоле работаешь, учишься человекознанию, потом это в твоей жизни пригодится». Да, любил он это слово — человекознание!..

— Вот ведь был же человек! — воскликнула Таня.

— Не человек, а человечище — ленинец...

— А какой он доступный был, простой!

— Замечательные, сильные люди всегда, Танюша, просты. Кичливость бывает у людей с мелкой душой, у которых только и есть, что «воз амбиции и совсем нет амуниции». Пример тебе Сачков, которого я в горьком сменяю.

Таня в задумчивости сказала:

— Хорошие у нас люди на тракторном: голодают, недосыпают, работают по суткам, а заявления о приеме в партию несут.

— Конечно, народ любит партию, верит нам, но есть еще люди — и они тебе могут встретиться — с двойным дном, которые подрывают доверие народа к нам.

— Я понимаю, Яша. Попадаются не наши люди. Время сейчас военное, и нужна бдительность и еще раз бдительность. Но нельзя и повторять ошибок прошлого, — взволнованно проговорила Таня. — Я потому затеяла этот разговор, что недавно строгаля Тойво Киуру якобы за антисоветскую агитацию и за то, что он финн по национальности, арестовали прямо на работе.

— Киуру: арестовали! — воскликнул пораженный Курбатов. — Но ведь он наш человек, в семнадцатом в Красной гвардии и в отряде ВЧК был, с отрядом и приехал сюда в губернию. В продотряде против банд сражался.

— А вот арестовали... — произнесла Татьяна.

— Это неправильно!.. — возмущенно воскликнул Курбатов. — Я Киуру знаю и займусь этим делом. Нельзя старого человека, и только по подозрению, держать в тюрьме.

— По-моему тоже, он честный рабочий. И кому понадобилось испортить и сломать жизнь честному человеку?

Курбатов смотрел на посуровевшее, покрасневшее от волнения лицо жены, и ему казалось, что он никогда ее не любил так, как сейчас.

Перелом в войне уже наступил. После Сталинграда фашистские полчища откатывались на запад, оставляя за собой выгоревшую землю, угоняя десятки тысяч советских людей в фашистское рабство. О налетах фашистской авиации на мирные города уже давно не было слышно: у фашистов не хватало самолетов для фронта. По всей стране, в городах, поселках и селах, пострадавших от фашистских захватчиков, начались восстановительные работы.

Курбатов ходил пешком на ближайшие к горкому предприятия, но надо было посещать и окраины Новогорска. Председатель горсовета Матвеев предложил взять пролетку: автомашин в городе почти не осталось.

Матвеев и после избрания на ответственный пост продолжал числиться председателем рыболовецкой секции тракторного завода, созданной еще в мирные времена. Сейчас во всей этой секции он был чуть ли не единственным членом, и всё же он более ревностно выполнял эту обязанность, чем беспокойную обязанность председателя Новогорского горисполкома. Безусловно, ерши и пучеглазые окуни интересовали его больше, чем запущенное коммунальное хозяйство. Матвеева редко можно было застать в горсовете, большую часть времени он проводил на рыбалке, где с наслаждением прислушивался к серебряному звону колокольчиков на удочках во время клева. Нередко на рыбалку ему носили из горсовета на подпись неотложные бумаги. Даже Сачков, который сейчас уже не работал в горкоме, много раз упрекал Матвеева за его наплевательское отношение к порученной работе, к партийной дисциплине. Но Матвеев и в ус не дул.

Курбатов решил сам посетить конный двор и выбрать себе лошадь для разъездов. То, что он увидел в конюшнях, ужаснуло его. Лошади стояли в стойлах по колено в навозе, понуро, печальными глазами смотрели на Курбатова, как бы жаловались ему: «Вот до чего нас довели...»

В самом деле, на лошадей было страшно взглянуть. Некоторые из них совершенно ослабли и были подвешены на толстых веревках, которые оставляли на их

коже широкие следы. Лошади настолько отошали, что по ним можно было изучать строение лошадиного скелета. От голода они грызли деревянные стойки, а в кормушках была одна пыль от половы. Лошадям вволю не давали даже соломенной резки. В конюшне гуляли сквозняки, широкие щели зияли в покосившихся стенах.

— Кто заведующий? — спросил Курбатов у одного из конюхов.

Конюх посмотрел на Курбатова злыми глазами, в которых можно было прочесть: «Ходят тут всякие... тоже мне...»

— Да Блохин у нас... с начала войны он...

— Это уж не тот ли Блохин, который работал на строительстве?

— Вроде он самый... — угрюмо ответил конюх и равнодушно отвернулся.

Курбатов вспомнил забастовку сезонников на строительстве производственного корпуса и паниковавшего Блохина, доведшего тогда людей до злого отчаяния. «А сейчас лошадей довел до падежа, — подумал он. — Нашел себе теплое местечко!»

— Где Блохин? — резко спросил Курбатов.

— Да, поди, с полфедором сидит, — лениво ответил конюх.

— С каким «полфедором»? — удивился Курбатов, делая вид, что не понял конюха.

— А это так мы поллитровки зовем... — ухмыльнувшись, ответил конюх.

— Почему у вас лошади запущены, голодные? Фураж вы получаете?..

— Верно, лошади у нас тово... все как есть в чесотке, и всех подвешивать надо. Фураж-то, конечно, получаем, но не только лошади, а и мы его не видим.

— Это почему же?

— Спрашивайте у Блохина... — Конюх повернулся спиной к Курбатову и зашагал прочь. Второй, до сего времени молчавший, конюх с издевкой в голосе сказал:

— Если наши кони овес будут получать, то Блохину на поллитровки не останется...

— Позовите сюда Блохина, — раздраженно сказал Курбатов.

— Ну уж нет, это шиш, — ответил конюх. — Вы сами, гражданин хороший, к нему зайдите. Вчера мешок овса на самогонку сменял, может и вас угостит... Нам он и понюхать не дает, а хайло у него широкое, зараз ведро выпьет.

Курбатов без стука вошел в комнату заведующего. В тесной комнатухе, заваленной разной рухлядью, было грязно: пыль толстым слоем лежала на всех предметах. От пыли на висевших двух портретах нельзя было узнать лиц. Пахло кожей, ворванью и навозом. За пыльным канцелярским столом сидел взъерошенный, с красным лицом Блохин. Он узнал Курбатова, поспешно убрал под стол недопитую бутылку и руками смахнул со стола крошки.

Курбатов безразлично огляделся.

— В конюшне чище, чем у заведующего конным обозом в кабинете, — проговорил он.

— Так уборщицы-то нет, — растерянно ответил Блохин.

— Уборщицы... А вы что же, не можете сами с портретов пыль стереть?.. — преодолевая отвращение, сказал Курбатов.

— Это не портреты, а репродукции...

— Чего, чего? — удивился Курбатов.

— Ну, картинки такие... Николай Чудотворец, покровитель всех скотов, и Георгий Победоносец, заступник за лошадей... Это конюх один повесил...

— То-то эти святые покровители довели лошадей до могилы. Вы что, Блохин, или не знаете, или прикидываетесь, что не знаете, в каком состоянии находится у вас конюшня?

— Знакомо нам... Но потому, как время сейчас военное...

— Вы бросьте, Блохин, прикидываться. Мне известно, куда идет фураж... — Курбатов быстро наклонился и вытащил из-под стола недопитую бутылку мутной жидкости, остро и неприятно пахнувшей сивухой. — Вот на это идет фураж!

«Скотина, хуже фашиста... — думал он. — Надо скорее от него спасти лошадей, пока не начался массовый падеж!»

— Знаете, Блохин, а ведь вы на фашистов работаете... Гитлеру помогаете...

Блохин раскрыл было рот, чтобы ответить, но Курбатов быстро вышел за дверь.

В горьком он возвращался в пролетке. Всю дорогу со злой обидой думал он о людях с рыбьей кровью, Матвееве и Блохине, которые довели до такого безобразия городское хозяйство.

В горькоме Курбатов велел секретарю сейчас же вызвать Матвеева.

Через некоторое время девушка ему доложила:

— Матвеева нигде нет, он, вероятно, на рыбалке...

— Рыболов! — возмущенно воскликнул Курбатов и посмотрел на часы. Было три часа дня.

Девушка беспомощно пожала плечами и неуверенно спросила:

— Может быть, за ним на реку послать?

— Может, вы еще предложите делегацию к нему послать? — отрывисто и насмешливо сказал Курбатов. — По-моему, на него и делегация не подействует...

«Гад... А наверно себя советским патриотом считает... Надо что-то делать с ним, — подумал Курбатов о Матвееве. — Выгнать, выгнать надо, и поскорее...»

Девушка, потоптавшись на месте, вышла и закрыла дверь. Курбатов углубился в чтение протоколов обкома.

Через полчаса секретарь ему доложила:

— К вам пришел товарищ Мелентьев. Пригласить?

— Какой Мелентьев? — воскликнул Курбатов.

А в дверях уже стоял, улыбаясь, и дергал себя за длинный ус Мелентьев с сержантскими лычками на погонах, в лихо сдвинутой набок пилотке. На загорелом лице отчетливо выделялись длинные, как у Тараса Бульбы, белые усы, пожелтевшие под носом от табака.

Курбатов узнал мастера. Забыв о протезе, он выскочил из-за стола и, как сноп, рухнул на пол.

— Яшка, сдурел ты, что ли! — крикнул Мелентьев; он подбежал к Курбатову и, подхватив его под мышки, помог встать с пола.

— Ты чего это, а? — озабоченно спросил он.

— Протез подвернулся, — скороговоркой, как о

чем-то незначительном, ответил Курбатов. — Рад я тебе, дядя Ваня, так рад... так, что и слов не нахожу!..

— Ну-ну, — освобождаясь из объятий, проговорил Мелентьев. — Я, думаешь, не рад?.. Только почему у тебя протез?..

— Так я ж под Тихвином ногу потерял, еще в декабре сорок первого... — и с грустью в голосе добавил: — даже повоевать не пришлось, сразу вот — бац, и нет ноги...

— Высоко отрезали?

— Высоко, во второй трети бедра, из-за этого на протезе ходить тяжело.

— Я так и знал, — вздохнул Мелентьев: — не станет наш Яшка по тылам околачиваться, когда весь народ, все здоровые мужики на фронте...

— Нogu-то отрезали, дядя Ваня, а всё болит она. Без ноги я себя еще ни разу не чувствовал. Забудешь-ся — и бац на пол, как сейчас, а ноги-то нет, прямо наваждение. — Курбатов говорил с нотками горечи в голосе. — А как ты, дядя Ваня? Сейчас-то ты насовсем прибыл?

— Да как тебе сказать? — глядя на носки сапог и заправляя ушко за голенище, ответил Мелентьев. — Малость контузило меня взрывной волной... Понимаешь, ругался я, до генерала ходил, а списали по чистой, как инвалида, и по старости... Как инвалида — это вроде и не обидно, их много теперь бедолаг, а по старости ни-почем не согласен... Какой я старик...

— Ты на фронте в обозе, что ли, был?

Лицо у Мелентьева потемнело, он с обидой выкрикнул:

— Да ты что это, Яшка! Ты или свихнулся, или шутикуешь надо мной. А это видишь? — показал он на грудь, где блестели два ордена Славы и четыре медали: — Это, брат ты мой, в обозе не зарабатываешь.

— Ты извини, но мне так сказали... Так где же ты был?

— Санитаром на передовой был, вот где, в самом пекле...

— Вот и хорошо, что ты вернулся, дядя Ваня!.. Будем теперь вместе с тобой город, заводы восстанавливать. Наверно, ты уже видел, что сделали с городом

воздушные пираты. Сейчас ты хорошенько отдохни, а потом... Ну, что будет потом — потом и скажем...

— Ты мне, Яков, кроссворды не устраивай, говори сейчас, а то мне и отдых не в отдых будет.

— Ну ладно, — согласился Курбатов. — Потом, если встанет вопрос, чтобы тебя поставить на руководящую работу в городе, так ведь ты не откажешься?

— Да ты сдурел, Яшка! Или уж так тебя вдарило, что здесь, — показал он на голову, — стало, что здесь, — постукал он по столу. — Ты хочешь меня словно чучело в огород поставить.

— Нет, голова у меня в порядке, бог миловал... А я серьезно говорю, дядя Ваня... Об одном деле я подумал, но ни с кем еще не советовался, а когда посоветуюсь, прямо скажу...

— Прямо и надо... Прямота для твоей должности в самый раз. — Мелентьев помолчал, а потом добавил: — Должность у тебя такая... такая... — Он замялся, а потом, разведя руками, сказал: — Ну, всеобъемлющая, что ли. — В глазах его забегали веселые огоньки, он улыбнулся и встал. — Так я пойду. Отдохну малость и к тебе приду, Яшка. А ты уж меня определи к делу. Ходил на свой завод, да там и знакомых никого не осталось, в цехах мальцы работают, в начальниках бабенки ходят. Раньше я таких и не видывал. Позвонить тебе придется, что ли...

— Хорошо, хорошо, отдыхай, ни о чем не думай, там видно будет... Подожди, дядя Ваня, вместе пойдем, я обедать домой, а ты проводи меня. — Взяв палочку, Курбатов вслед за Мелентьевым вышел из кабинета.

— Я вернусь через час, — сказал Курбатов секретарю. — Если придет Матвеев или кто-нибудь другой, пусть подождут. Пошли, дядя Ваня!

Они вышли на улицу. У самого здания горкома партии проезжая часть улицы, мощенная когда-то булыжником, была сильно разбита. В жидкой грязи, залившей улицу, как островки выделялись брошенные кем-то кирпичи и куски досок.

— Давай иди первым, — показывая на дорогу, сказал Курбатов.

Мелентьев посмотрел на Курбатова и с укором заворчал:

— У самого горисполкома такая грязь! До войны здесь посереде улицы газон проходил. Цветочки были посажены. Чем это так улицу испортили?

— Чем?.. Танками да тяжелыми тракторами. По этой улице на буксире тянут танки в ремонт; а обратно они своим ходом на станцию идут. Да ты не бойся, шагай, дядя Ваня, — с усмешкой сказал Курбатов.

И Мелентьев, балансируя руками, чертыхаясь, стал перебираться на другую сторону улицы.

Дальше они пошли по деревянному тротуару. Недавно прошел дождь, и тротуар был скользкий, во многих местах доски прогнили, и идти нужно было осторожно...

— Не чинят, — показывая на гнилые доски, сказал Мелентьев.

— Не чинят, — вздохнул Курбатов и скосил глаза на Мелентьева.

Мелентьев строго и с укоризной проговорил:

— А ты, начальник, чего смотришь, тебя для чего на это место поставили? Хозяева! — с ударением на букву «а» проговорил Мелентьев.

Курбатов как бы растерянно развел руками и ответил:

— Не могу же я один со всем справиться...

— Не могу, не могу, — перебил его Мелентьев. — Подумаешь — пуп земли.

— Так кто же, по-твоему, эти безобразия устранять должен? Председатель наш Матвеев и в ус не дует, надо нам другого найти...

Мелентьев, видимо, только сейчас понял, для чего Курбатов пошел с ним по городу. Он посмотрел на секретаря горкома и, расплывшись в широкой улыбке, произнес:

— Ну и хитер же ты, секретарь... Научили мы тебя на свою шею. Черт!

— Я рад, дядя Ваня, что ты до всего сам дошел. С тобой и мне работать легче будет... Верно, дядя Ваня, возмись за председательство в горисполкоме, а?..

— Опять тебе, Яшка, вожжа под хвост попала. Ну куда меня, старое сверло...

— Сердце у тебя молодое, товарищ Мелентьев, — перейдя на официальный тон, сказал Курбатов. — Да

и по годам не так уж ты стар... Подумаешь, еще и шестидесяти нет. Ты ведь сам говорил, что в архив тебя славать рано... И ты, дядя Ваня, такой... если тебе партия скажет, то хоть и трудно, а работать на совесть будешь.

— Это верно, — дергая себя за ус, ответил Мелентьев. — Хлеб, конечно, везде с коркой... Но ты-то, Яков, еще не партия, — хитро улыбаясь, добавил он.

Курбатов немного смутился, но ответил:

— Конечно, я не партия, но бюро горкома уже партия, а оно на днях будет обсуждать этот вопрос.

— По установке ведь молодые кадры выдвигать надо, — ершился Мелентьев. — А мне уже, знаешь, скоро заместо дворника надо работать идти: зимой тротуары своим песочком посыпать...

— Зря смеешься, товарищ Мелентьев. Я с тобой говорю как секретарь горкома, а не как чумазый Яшка — твой ученик. Мне коммунисты доверили партийное руководство в городе, и тебе, старому большевику, не к лицу шутить и смеяться, когда с тобой серьезно говорят.

Мелентьев сразу сник и, глядя в сторону, тихо ответил:

— Не надеюсь я на себя, не справлюсь я... Стар стал...

— Конечно, у человека, который только на себя надеется, спина сломается, а у человека, опирающегося на коллектив, дело пойдет. — Курбатов уже почувствовал, что Мелентьев сдастся, возражает больше для формы, и продолжал:

— Что стар — значит, хозяином хорошим будешь, жизненный опыт имеешь. А справиться справишься, все мы тебе поможем.

— Верно в народе говорят, что старый конь борозды не испортит... Только боязно мне...

— Боязно, — с упреком сказал Курбатов. — А еще ордена за храбрость имеешь. Где же она у тебя, храбрость-то? Знаешь, как говорят: храбрый узнаётся на войне, мудрый — в гневе, друг — в нужде... Ордена-то ведь не зря получил?

— Ты орденов моих не касайся, я их честно заработал... Э, да черт с тобой, ладно, — в сердцах плюнул Мелентьев. — Поработаю, что уж выйдет, хуже, думаю,

не будет. Только ты, если что там, так не очень меня перед народом-то срами...

— Вот этого я не обещаю, — ответил Курбатов. — От критики никто не избавлялся, но никто еще от нее и не умирал... Тогда ладно, будем готовить сессию; через недельку, я думаю, мы всё решим.

Не добившись толку в городском отделе госбезопасности по делу рабочего Тойво Киуру, Курбатов решил ехать в областной город, ибо Киуру вот уже более года сидел там в тюрьме.

Курбатов понимал, что ему в этом деле может помочь только сам начальник областного управления МГБ.

Начальник областного управления Гаревой недавно приехал из Москвы, и Курбатов лично с ним не был знаком. От Колчина он узнал, что Гаревой до приезда сюда работал в личном секретариате Берии и пользовался у него неограниченным доверием. В свои тридцать лет Гаревой уже носил погоны полковника государственной безопасности. «Молодой, а из ранних», — говорили о нем партийные активисты области.

В партию Гаревой вступил перед войной и благодаря своему дяде — другу Берии — очень быстро стал делать карьеру. В последнее время он работал личным адъютантом Берии, а когда ему присвоили звание полковника, он стал проситься на самостоятельную работу. Берия направил его сюда начальником областного управления МГБ. И, как уверял Колчин, Берия сделал это не просто, — видимо, дал Гаревому какие-то указания в отношении первого секретаря обкома Родина. «Во всяком случае, — говорил Колчин, — Родин кое-что чувствует, и это заметно также по поведению Гаревского».

Колчин не советовал Курбатову по такому вопросу идти к Гаревому. «Ты не веришь, — сказал он, — что рабочий Киуру в чем-либо виновен. Но вот увидишь, Гаревой всё это расценит по-своему, и когда-нибудь напомнит тебе об этом».

Курбатов не послушался Колчина. Он не мог примириться с тем, что старый пролетарий Тойво Киуру вот

уже более года сидит под арестом, как говорят, за одну фразу, которую Киуру как-то сказал своему сменщику: «Отступают и отступают наши вояки, работать не хочется». Было это произнесено в августе сорок первого года, когда Советская Армия отступала в глубь страны. Слова Киуру сочли за антисоветскую агитацию, за призыв к саботажу и за проявление враждебных финских настроений.

Пропуск к Гаревому Курбатов получил только на третий день. В приемной пришлось ждать три часа. Когда Курбатова пригласили и он вошел в кабинет, Гаревой встал, вышел из-за стола и поздоровался за руку. Жестом он пригласил Курбатова сесть в кресло у письменного стола. Гаревой выглядел старше своих тридцати лет. Он был высокого роста, черты лица — приятны, хотя и говорили о властности натуры. Волосы аккуратно зачесаны на прямой пробор. Полковничий мундир блестел золотым шитьем.

Взгляд у Гаревского был беспокойный, никогда долго не останавливался на человеке, — и казалось, что он всё время настороже.

Работая личным адъютантом Берии, Гаревой во всем старался подражать своему шефу: окружил себя таинственностью, всё засекречивал. У дверей поставил посты, на которых могли стоять только младшие командиры — сержанты и старшины. Гаревой сам отбирал и инструктировал их...

— Курите! — Гаревой пододвинул к Курбатову пачку дорогих папирос «Герцеговина Флор». — Такие папиросы курят знаете кто?.. — И многозначительно произнес: — Мой шеф и сам хозяин. Это еще московские запасы...

— Спасибо, я не курю. Недавно бросил. После госпиталя... — сказал Курбатов.

Гаревой хладнокровно пододвинул папиросы обратно к себе и закурил, с наслаждением выпуская клубы ароматного дыма. Откинувшись в кресле и глядя под стол, он спросил:

— Чем могу?..

— Я пришел по вопросу об аресте рабочего нашего завода Тойво Киуру... Он у вас сидит более года...

— Та-ак... — небрежно произнес Гаревой. — А давно ли секретари горкома партии стали интересоваться аре-

стом какого-то рабочего? И кто этим секретарям дал право вмешиваться в наши функции, требовать от нас отчета?..

Курбатова передернуло от такого тона и от слов Гаревского, но он сдержался, чтобы не ответить резко.

— Во-первых, не какого-то рабочего... Я лично его знаю с семнадцатого года. Хотя он и беспартийный, а участвовал в штурме Зимнего, был в отряде Красной гвардии и одним из бойцов в отряде ВЧК в Петрограде. С отрядом питерских красногвардейцев он приехал в нашу губернию и здесь был в продотряде, всё время честно работал на своем строгальном станке.

— Значит, вы его старыми заслугами и своим секретарским авторитетом хотите повлиять на ход следствия... — сухо сказал Гаревый. — Впрочем, о такой фамилии я не знаю; сейчас выясню...

Полковник нажал кнопку звонка. Сейчас же в кабинет вошел майор, адъютант Гаревского, такой же подтянутый и лощеный, как его начальник.

— Выясните, кто ведет дело Киуру из Новогорска, — приказал Гаревый.

— Слушаю-с! — бросив руку к козырьку и стукнув каблуками, ответил майор и, повернувшись по всем правилам, вышел из кабинета.

Зазвонил телефон.

— Алло! — небрежно произнес Гаревый. — Да, да... пускай с делом Киуру зайдет ко мне.

Минут через пять в кабинет вошел следователь в форме майора, с папкой под мышкой. Он подал папку начальнику и что-то шепнул ему на ухо. Гаревый, безразлично листая дело, произнес, обращаясь к Курбатову:

— Ничем помочь не могу... дело серьезное... он занимался шпионажем...

— Киуру! Шпионажем?.. — пораженный, воскликнул Курбатов и уже тише добавил: — Нет, нет, этого не может быть...

Гаревый небрежным жестом придвинул к Курбатову раскрытую папку с протоколом допроса Киуру:

— Вот его подпись... Он сам во всем признался...

Курбатов смотрел на подпись Киуру и не верил своим глазам: «Агентом германской разведки состою с во-

семнадцатого года, завербован на Псковщине во время немецкой оккупации...»

— Нет, нет, не может быть... — закрыл лицо руками Курбатов.

Гаревой спокойно сидел за столом и, постукивая аккуратно подрезанными красивыми ногтями о стол, изредка бросал взгляды на Курбатова. Видя смущение и растерянность Курбатова, он, не глядя на него, холодно произнес:

— А не помешало бы секретарю горкома лучше разбираться в людях, лучше знать своих друзей и не лезть не в свои дела. А то ведь, чего доброго, и неприятности можно себе нажить... — Гаревой засмеялся коротким резким смешком.

Курбатов простился и вышел из кабинета начальника МГБ.

«Что за черт, наваждение какое-то... Сам признался... Тойво — шпион... Нет, нет, не верю... Но ведь это его собственное признание?»

Своими настроениями и впечатлениями от посещения Гаревого Курбатов поделился только с Колчиным и Таней.

28

Придя в горком, Курбатов обнаружил письмо на свое имя. Адрес на желтом, из оберточной бумаги, конверте был написан незнакомым почерком. Буквы косили в левую сторону. Курбатов строго соблюдал правило, которого когда-то придерживался его учитель Алексей Николаевич Данилов. Правило это состояло в том, что все письма, адресованные в горком на его имя, он читал сам и после прочтения, с соответствующей резолюцией, передавал на контроль техническому секретарю.

Писем было много, но Курбатов не думал отказываться от своего правила. По письмам трудящихся он узнавал многое такое, что до него иным путем не дошло бы. Письма не раз помогали Курбатову ставить на повестку дня работы горкома насущные вопросы, касавшиеся первоочередных нужд трудящихся.

Курбатов подумал, что и это письмо было от кого-нибудь из горожан. Разорвав конверт, он стал читать. «Вот так сюрприз!.. Не забыл, дружище...»

Письмо было от Лапина, с которым он полгода лежал в одной палате в госпитале. Лапин писал:

«Многоуважаемый товарищ комиссар!

Пишет вам сопалатник по госпиталю, сержант, а ныне инвалид I-й группы Василий Лапин. Не забыли?

Я узнал, что вы работаете в горкоме, и пишу по этому адресу. Не знаю, удобно ли это.

Я уже в своем колхозе полностью освоился и даже полгода работаю председателем. Избрали меня в один голос. Не писал вам еще и потому, что не сразу привык к своим протезам. Вначале-то я боялся их, потому что видел, какой сделали вам. Но, оказывается, ручные протезы делают лучше. Вот и писать научился, и теперь я сам себя во всем обслуживаю. Могу держать ложку, вилку, хлебать щи. Могу чиркнуть спичку. И с брюками — самым трудным для меня делом — опять же я сам управляюсь. Я доволен, что моя Дарья Кузьминична избавилась от хлопот со мной, а то много доставалось ей, бедолаге. Я по гроб жизни благодарен ей, какая она есть хорошая супружница. Точно установил, что без меня она не баловалась, а сейчас от меня понесла, уже на пятом месяце ходит. Видно, потомство наше будет уже послевоенное. Это я по тому сужу, товарищ комиссар, что, около вас пообтершись, я внимательно читаю всё о нашем международном положении. И так я думаю: откроют или нет Черчилль и Рузвельт второй фронт, а мы и без них с фашистом управимся, и не далее, как нынче весной. По военной стратегии и тактике тоже, по-моему, так выходит.

В колхозе у нас дела не совсем хорошие. Одни бабы, девки да подростки остались. Беда прямо, работать некому, а с техникой в МТС тоже неважно: пополнения и обновления за время войны не было. На это претензий, конечно, мы не имеем. Война есть война. Однако о колхозных делах наших я напишу в следующем письме.

Как вы там, без ноги-то, управляетесь? Что поделывают супруга ваша Татьяна Игнатьевна и дочь Ольга Яковлевна?..»

Дальше Лапин сообщал свой адрес и просил извинить его за длинное послание.

Курбатов с волнением прочел письмо и был рад, что

Лапин нашел свою дорогу. Бережно свернув исписанные крупными буквами листки, он положил их в карман гимнастерки, чтобы дома показать Тане.

Заседание бюро горкома должно было начаться в четыре часа дня. Все стулья в кабинете были заняты. Присутствующие сидели и ждали председателя горисполкома Матвеева. Он запаздывал, и члены горкома тихо переговаривались между собой, а некоторые что-то бездумно рисовали в блокнотах.

Курбатов явно нервничал. Он часто нажимал кнопку звонка и вызывал технического секретаря:

— Где Матвеев?

Девушка пожимала плечами и в смущении говорила:

— Всех обзвонила... Не знаю, где он. Приглашение он получил вовремя.

— Да он может и не явиться. От него всё можно ожидать, — сказал секретарь горкома комсомола и чертыхнулся.

— Наверное, на речке вечернюю зорьку поджигает... — криво усмехнулся начальник милиции.

— Вот человек! Хоть всё погибни, а ему наплевать, — проворчал сталевар с тракторного завода, член бюро горкома.

В это время дверь открылась и в нее боком протиснулся Матвеев в своем мятом, из льняного полотна, костюме.

— Во, Вася-сирота, едва пролез в ворота, — на ухо соседу сказал сталевар, но так, чтобы и другие слышали.

Все тихо засмеялись. Курбатов постучал карандашом о графин, призывая к порядку.

Матвеев, щуря свои серые глазки и оглядываясь, осторожно присел в кресло, под ним застонали пружины. Широкое, полное лицо Матвеева дышало спокойствием, словно бы не о нем сегодня должен быть разговор. Он медленно вытер красным носовым платком выступивший на лысине пот.

— Бюро открываем, — объявил Курбатов. — Первым обсудим вопрос о созыве внеочередной сессии гориспол-

кома с отчетным докладом председателя горисполкома товарища Матвеева.

В кабинете воцарилась тишина. Но вот лицо Матвеева порозовело и стало совсем багровым. Он, как бы очнувшись, повернулся в кресле и зло сказал:

— Никакого доклада я делать не буду... Я не мальчик для битья... Я предупреждал Сачкова, когда меня выбирали, что не справлюсь, что у меня голова не Академия наук, и не лежит моя душа к этой работе... Не хочу и не могу работать... Снимайте меня сейчас... Не надо мне вашей литерной карточки.

Несмотря на то, что всё кипело в нем, Курбатов взял себя в руки и тихо сказал:

— Но ты же член партии, товарищ Матвеев. А работать не хочешь...

— Ну и что с того, — отрезал Матвеев. — Что мне партия дает? Я ей больше даю: взносы плачу, спину в горсовете гну, а вот она, — показал Матвеев на заведующую отделом пропаганды и агитации, — она еще учиться, в мои-то годы, заставляет.

— Ты что, очумел? Сознаешь, что говоришь? — раздались возмущенные голоса.

— Чего мне не сознавать-то, — всех осмотрев, отчеканил Матвеев.

— Для чего же ты в партию вступал, Матвеев? — сдерживая себя, спокойно спросил Курбатов.

— А за компанию, и уговаривали больно... точно девку какую...

— Вот они, гримасы компанейского подхода к росту партии, — заметил второй секретарь горкома Дозов.

— Сам ты гримаса... — огрызнулся Матвеев.

Присутствующие оживились и зашептались. Дозов покраснел.

— А потом — я стар уже, я свое прожил, — закончил Матвеев и беспокойно посмотрел по сторонам.

— Дело не в том, кто из нас сколько живет, а в том, кто из нас сколько сделает, — ответил Матвееву всё тот же сталевар с тракторного.

— Вам понятно, товарищ Матвеев, что ваше сегодняшнее поведение несовместимо со званием члена партии?.. — Курбатов сказал это спокойно. Он и сам удивился этому спокойствию. Нервы его были напряжены до крайней степени. Он не представлял себе, чтобы член

партии мог вести себя так, как Матвеев. «И где же я раньше был, почему не разгадал этого слизняка? — укорял себя Курбатов. — Правда, в последнее время Матвеев стал работать немного лучше, но это для меня не оправдание», — заключил свои раздумья Курбатов. Ему стоило большого труда слушать этого наглеца, но то, что произошло после реплики Курбатова, еще больше поразило всех присутствующих. Матвеев вскочил с кресла. Лицо его побледнело, отвисшая на скулах дряблая кожа задрожала.

— Исключить хотите?.. Нет, не на таковского напали, — забрызгал слюной Матвеев. — Я сам выхожу из партии... Сам, добровольно... И плевал я на горсовет, на вашу сессию. И больше не трогайте меня!.. — Матвеев, задрав голову и глядя куда-то в потолок, быстро вышел из кабинета, сильно хлопнув дверью.

Курбатов просто остолбенел от наглой выходки Матвеева. В кабинете воцарилась на минуту тишина.

— Черного кобеля не отмоешь добела... — громко проговорил чей-то голос.

— Я думаю, что дело ясное, — сбросив оцепенение, сказал Курбатов. — Нам нужно сейчас обсудить вопрос о том, кого мы на сессии будем рекомендовать вместо Матвеева. Матвеев поступил как дезертир. Надо поставить вопрос об его исключении из партии. Уклонение от работы на переднем крае нашего строительства — такой же позор, как и дезертирство с поля боя!

Сидевший на диване Мелентьев нервно теребил свой ус и настороженно смотрел на Курбатова.

— Я предлагаю, — продолжал Курбатов, — рекомендовать сессии избрать председателем горисполкома товарища Мелентьева Ивана Ивановича, члена партии с семнадцатого года, только что вернувшегося из армии, награжденного двумя орденами Славы. Товарищ Мелентьев до войны работал...

— Знаем, знаем, — раздалась возгласы присутствующих.

— Ну, а раз знаете, будем обсуждать.

Все смотрели на Мелентьева, а он был очень взволнован. Шутка ли, сейчас решат вопрос, и это конец, а если он окажется не лучше Матвеева, тогда здесь же его, старого большевика, эти люди будут снимать, и снимать, что называется, «с треском». Мелентьев не

знал, куда девать свои руки, которые вдруг почему-то оказались лишними. Все молчали, и это для Мелентьева было хуже всего, он уже начал про себя ругать Курбатова, но тот, как показалось Мелентьеву, во всю силу своего голоса сказал:

— Ну, а как вы, товарищ Мелентьев?

Мелентьев встал, одернул гимнастерку и взволнованно произнес:

— Благодарю за доверие... Но ни в каких канцеляриях я до этого не работал... Дело для меня новое... Ну, а работать буду во всю силу... Я не какой-то там рыбак... для народа в лепешку разобьюсь. Конечно, когда затрет, уж помогите... А так, благодарю... — Мелентьев сел и рукавом вытер выступивший на лбу пот.

— Поможем, Иван Иванович! — крикнул с места прокурор.

— Валяй, Иван!.. — по-дружески бросил сталевар, давно знавший Мелентьева.

— Ему бы надо заместителей покрепче подобрать, — предложил начальник милиции.

— А и верно, товарищи... — поддержал кто-то из членов бюро.

Курбатов пригласил высказаться других членов бюро. Никто не возражал против кандидатуры Мелентьева. Курбатов взял слово, чтобы подвести итог обсуждения:

— Итак, кандидатуру товарища Мелентьева мы рекомендуем в председатели горисполкома. Я думаю, председателем сессии будем рекомендовать нашего знатного сталевара, депутата товарища Ширшова, секретарем сессии депутата Славину — директора школы. С предложением поручим выступить секретарю парткома тракторного завода депутату Слащеву. С этим вопросом кончили. А теперь давайте перерыв, а то курильщики нервничают. После перерыва обсудим вопрос о ходе восстановления и пуска в эксплуатацию промышленных предприятий города. Первой в городе закончила восстановительные работы полиграфическая фабрика. Я думаю, мы послушаем сообщение директора, товарища Кошкина, о первых шагах работы предприятия. А потом, в целом по городу, по этому вопросу нам доложит товарищ Дозов — второй секретарь горкома. Возражений нет?

После перерыва бюро продолжило свою работу. Директор полиграфической фабрики Кошкин рассказал, как рабочий коллектив восстанавливал фабрику и как приступил к нормальной работе.

— Мы закончили выполнение заказа Главконсервтреста по выпуску этикеток и начали печатать книги. Уже успели отпечатать пятьдесят тысяч экземпляров Краткого курса. Не шутите, товарищи, наши этикетки теперь украшают крабовые консервы на Дальнем Востоке, — похвастался Кошкин и роздал членам бюро несколько образцов для просмотра.

Курбатов с любопытством стал разглядывать яркие этикетки, положенные Кошкиным на стол. Он их показывал членам бюро по очереди.

— «Судак в томате» — ого! «Фаршированный перец», — слюнки текут, — «Баклажанная икра», — аппетитно! — вслух читали и комментировали члены бюро.

— Большое дело сделал ваш коллектив, товарищ Кошкин, — сказал, улыбаясь, Курбатов. — Можете рабочим передать нашу благодарность. Но... есть закона. Вы только что начали работать и уже сделали грубый брак... К великому огорчению, должен сообщить об этом членам бюро... Сегодня утром я получил пакет из крайкома и сегодня же позвонил товарищ Баранов. Он был просто взбешен, когда узнал, что случилось на предприятии у товарища Кошкина. А случилось вот что: в Кратком курсе истории партии напечатана речь Сталина на Втором съезде Советов. Читаю: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами Союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь...» Вот так напечатано на странице 256-й, а на следующей странице читаем: «...Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешешь. Стало быть будет петь, коли об заклад побился. Божья коровка ты эдакая, плут ты эдакий, Моргач».

— Ой, что же это! — побледнев, крикнул Кошкин.

— Это же полная 58-я статья, — резко отчеканил уполномоченный МГБ Борисов.

— Да, дело серьезное, — сдерживая волнение, сказал Курбатов. — Баранов требует наказать Кошкина «на всю железку»...

Прижимая ладони к груди, Кошкин встал и срывающимся голосом стал говорить:

— Понимаете, товарищи, это же не умышленно. Это же полиграфический брак, от которого не гарантирована ни одна типография. Одновременно с Кратким курсом мы выпускали рассказы Тургенева, вот и вкралась цитата из его рассказа «Певцы». Бумага и шрифт те же, вот и перепутали листы двух книг. Разрешите мне, товарищи, самому сперва во всем разобраться, а потом уж и наказывайте.

Красный и потный от волнения, Кошкин умоляюще смотрел на членов бюро.

— Резонно, — вслух сказал сталевар Ширшов.

Курбатов мучительно думал: «Что же теперь делать? Ведь сегодня мне Баранов приказал доложить о том, какое наказание понес Кошкин... Нет, — решил Курбатов после недолгого колебания. — Надо разобраться. Нельзя не разобравшись губить члена партии и притом честного работника. Ну, будь что будет...»

— Я предлагаю для расследования данного факта, — сказал он, — создать комиссию во главе с товарищем Дозовым. Выводы комиссии и вопрос о партийности товарища Кошкина обсудить на следующем бюро.

Коммунисты согласились с секретарем.

Придя домой, Курбатов долго думал о сегодняшнем бюро. Ему было жалко Кошкина, который может безвинно пострадать.

Затрещал телефон. Звонила жена Кошкина, работавшая статистиком в горкоме.

— Товарищ Курбатов! Яков Васильевич! Только что приехали и арестовали моего мужа. Что же делать-то теперь, Яков Васильевич?!

Такого оборота дела Курбатов не ожидал. «За что арестовали человека? И что за спешка такая?.. Нелепо!» Стараясь взять себя в руки, он заговорил в телефон:

— Успокойтесь. Завтра утром зайдите ко мне. По-думаем.

Курбатов после этого звонка еще больше разволновался. Он решил немедленно позвонить уполномоченному МГБ. Борисов ответил, что Кошкин арестован по приказу из области и уже увезен в областной город.

В горькоме проходило совещание директоров предприятий и секретарей парткомов, где речь шла о ходе составления послевоенного пятилетнего плана, когда дверь с шумом открылась и раскрасневшаяся, взволнованная девушка, технический секретарь, вбежала в кабинет. Все присутствующие с недоумением посмотрели на нее.

— Что случилось? — спросил Курбатов.

— Сейчас узнаете! — крикнула девушка, побежала в угол кабинета и включила репродуктор. Из него лились торжественные, бархатные звуки голоса диктора Левитана:

— «...о безоговорочной капитуляции Германии...»

В кабинете воцарилась тишина. С затаенным дыханием слушали все сообщение о победе над гитлеровской Германией, об окончании войны. Левитан окончил читать, а все сидели точно замороженные, окаменелые; казалось, они ждали еще какого-то слова, и это слово, ликуя, выкрикнул вскочивший со своего места Мелентьев:

— Победа!!! Победа, товарищи!

Коммунисты поздравляли друг друга, целовались, обнимались. На глазах у многих навернулись слезы.

Курбатов сидел ошеломленный известием, он как бы замер от радости. Потом он с трудом встал и вышел из-за стола. Мелентьев подбежал к нему, обнял, навалившись всей тяжестью тела. Курбатов едва устоял на ногах. Схватив свою палку, он крикнул:

— На заводы, товарищи! Проведем митинги. Совещание переносится на завтра!

Уже давно собирался Курбатов побывать на фотохимической фабрике, где до войны был директором, но всё не удавалось выбраться. Ему хотелось повидать знакомые места, поговорить с рабочими, повидаться с Чайкой. Он знал, что фабрика сильно пострадала во время налета вражеской авиации в сентябре 1941 года: взрыв бомбы мгновенно вызвал большой пожар. В не-

сколько часов сгорел корпус, в котором находились цехи по выработке нитропленки. Остальные корпуса удалось отстоять от пожара. В стене здания управления зияла огромная трещина. В тот день погибло несколько работников фабрики, пытавшихся спасти имущество и оборудование. Среди них был старый рабочий Мурашко, которого засыпало обвалившейся стеной, и секретарь парткома Палкин, сгоревший при тушении пожара.

В последние месяцы рабочие, как трудолюбивые муравьи, восстанавливали стену разрушенного корпуса. Курбатов слышал, что многие из них, в том числе и старик Дьяков, работавший бригадиром слесарей, не уходили со стройки по несколько суток. Всё это вспомнилось Курбатову, когда он подходил к фабрике.

Из проходной навстречу Курбатову вышел элегантно одетый человек; он был в мягкой велюровой шляпе и в пальто модного покроя. Курбатов узнал его сразу, хотя под носом у человека были тоненькие черточки усов: это был Сорин, которого Курбатов когда-то выставил с фабрики фотопленки; тогда вместо него главным инженером стала работать Чайка. Сорин, увидев Курбатова, изысканным жестом приподнял шляпу.

— Здравствуйте, товарищ Сорин, — протянул руку Курбатов.

Сорин как-то нехотя подал руку, но так, что рукопожатия не последовало.

— Какими судьбами?.. — спросил Курбатов.

— Да вот... послали... обследовать.

— Ну и как?..

— Да плохо, Яков Васильевич... Не забыл, кажется, как звать вас?..

Курбатов насторожился:

— Я могу знать, в чем дело?..

— О, конечно, конечно... Плохо, медленно идут восстановительные работы, да и вообще...

— Надеюсь, я смогу прочесть вашу записку, выводы?.. — спросил Курбатов.

— Извините, но я не знаю, кем вы сейчас работаете?..

— Секретарем горкома.

— О, тогда конечно. Я сам к вам зайду, — залебе-

зил Сорин. — Я слышал вашу фамилию, но, простите, не подумал, что секретарь горкома — вы...

Разговор для Курбатова становился неприятным. Подавая руку Сорину, он сказал:

— После трех я буду в горкоме... Прошу... — Курбатов вошел в проходную. Закрыв дверь, немного постоял и огляделся. Нет, здесь как будто ничего не изменилось. За барьером сидела как и раньше полная вахтерша.

— Анна Стратоновна... Тетя Нюра... здравствуйте, — сказал Курбатов. Он подошел к вахтерше и подал руку. Женщина удивленно взглянула на него и от волнения едва выговорила:

— Я-Яков Васильевич... Вы меня помните?..

— А как же мне не помнить вас, тетя Нюра? Вы самый главный человек на фабрике... на вас вся охрана держится... — пошутил Курбатов.

— Ну, скажете тоже... — засмущалась вахтерша. — А вот вы с войны почему не к нам вернулись, Яков Васильевич?

— Я, тетя Нюра, солдат партии... Куда меня партия пошлет, там и работаю... — ответил Курбатов.

— Оно конечно... — замялась вахтерша. — А Палкин-то наш погиб... сгорел... Хороший он был человек...

— Да, я об этом слышал... — помрачнев, ответил Курбатов. — Страшно...

— А жена его с четырьмя детьми всё мается, чего-то бюрократничают и пенсию еще на деток не дали. Ну, а она какая работница? Меньшому-то и пяти нет.

Курбатов записал адрес Палкиной, решив сегодня же вызвать заведующего горсобесом и поговорить.

Тетя Нюра была словоохотлива и без усталости рассказывала обо всем, что произошло и что происходит на фабрике. От нее Курбатов узнал много такого, чего бы не смог узнать ни из каких официальных документов.

Побеседовав с тетей Нюрой, Курбатов прошел в кабинет директора. Дорогу он знал и в провожатых не нуждался. Чайка была на месте. Когда она увидела входившего в кабинет Курбатова, лицо ее просветлело, словно его коснулся солнечный луч.

— Наконец-то вы зашли к нам, Яков Васильевич.

Вот хорошо. Вы мне очень нужны, — сказала Чайка, протягивая гостью руку.

— Вы прямо шапка-невидимка, Валерия Павловна. Знаете, я много раз звонил вам, но ни разу не заставал на месте, — преодолевая смущение, сказал Курбатов.

— Это потому, Яков Васильевич, что вам было не до меня... Если бы я вам нужна была, вы бы нашли, — тоска и скрытая желчь были в ее голосе. — Не видели — значит не хотели меня видеть.

— Ну что вы, Валерия Павловна!

— Нет, нет. Вы не думайте, что я вас осуждаю. Со всем нет. Я даже довольна вами. Вы снова обрели счастливую семью, нашли себя в работе...

— Рассказывайте, как живете, что у вас нового...

— Спасибо. Лично живу неплохо. Но дела не веселят...

— Почему не веселят? — обеспокоенно спросил Курбатов. — Что-нибудь на фабрике случилось?

— Не в работе предприятия дело...

— Тогда в чем же? Рассказывайте.

Чайка подробно рассказала Курбатову о приезде из главка Сорина и о проведенном им обследовании фабрики.

— Представьте, Сорин теперь заместитель главного инженера главка. С начала войны живет в Москве. Во время обследования Сорин, как и прежде, стал приставать ко мне, и дело дошло до того, что я его отчитала. Теперь мне житья в этой системе не будет. Он мне уже выговор в главке схлопотал.

Курбатов вспомнил всё, что произошло у него с Сориным, когда он работал на фабрике. «И этот зазнайка и себялюбец сейчас работает в Москве и распоряжается судьбами честных людей! Это более чем удивительно. Что же там думают, в главке, куда смотрят?» — подумал он.

— Возмутительно! Этого так оставлять нельзя. Сорина я видел, он должен ко мне прийти. Чем же мотивировал он этот выговор?

— Прочтите выводы обследования, увидите...

— Пойдемте, Валерия Павловна, в цехи. О Сорине еще потом поговорим. Не расстраивайтесь очень.

В цехе они встретились с Дьяковым — бригадиром

ремонтных слесарей. Его бригада сейчас работала на монтаже оборудования восстанавливаемого корпуса.

Дьяков был словоохотлив; он сразу заговорил на волнующую всех тему — обследование фабрики.

— Видишь ли, Яков Васильевич, такие люди, как этот Сорин, завсегда в мутной водице рыбку ловят... Была война, народу не хватало, и эти типы использовали ситуацию, наверх выплыли.

Услышать от Дьякова слово «ситуация» было очень непривычно, а потому Курбатов удивленно воскликнул:

— Ого! Ты, брат, мудреными словами стал выражаться...

Дьяков немного смутился, но быстро оправившись, продолжал говорить:

— Подумаешь, приехал барин на вате, генерал в смятку, хрен ему в очи...

Теперь пошли в ход такие слова, что Чайка отошла подальше, чтобы не слышать их...

К трем часам Курбатов возвратился в горком.

Разбирая поступившую на его имя почту, он обратил внимание на большой, увесистый конверт. Вскрыв конверт, Курбатов обнаружил в нем выводы обследования фабрики, причем никакой записки от Сорина не было. «Это какой-то фокус, — подумал он. — Неспроста этот тип выкинул такую штуку. Дело так оставить нельзя». Он стал звонить и узнал, что сегодня утром Сорин самолетом вылетел в Москву. Из руководителей главка Курбатов знал лично только секретаря парткома — ему он и позвонил. Назвав себя, он услышал знакомый басовитый голос: «Ты что же, друг, совсем бюрократился, уж с заместителем главного инженера разговаривать не хочешь? Не ожидал от тебя этого, не ожидал».

«Я так и знал, — подумал Курбатов. — Это очередная мина Сорина, но фокус не удался, факир оказался глуп».

Курбатов подробно рассказал секретарю парткома главка всё, что знал о Сорине, и настоятельно потребовал отменить выговор Чайке. Секретарь парткома обещал обо всем проинформировать начальника главка.

Придя утром в горком, Курбатов застал в приемной редактора газеты, сухого, желчного и почему-то всегда взъерошенного человека с влажными руками и хроническим насморком. Курбатов, пройдя с ним в кабинет, сел за стол и с интересом стал просматривать принесенную редактором подшивку газет.

— Почему бы нашей газете не возродить остроту былой критики и самокритики? Смотрите, какие зубастые были наши газеты в начале тридцатых годов.

— Так мы же критикуем, — удивился редактор.

— Критикуете, но едва заметно.

— П-позвольте, — вспыхнул редактор. — По конкурсу наша газета в области заняла первое место, вы же знаете...

Курбатов перебил взволнованного редактора:

— Видно, что и вы критику не любите... а я говорю вам не о критике вообще, а о более остром показе огдельных наших недостатков, ошибок.

— Нет, я понял вас, — редактор стал похож на ежа, выставившего свои иглы. — Руководимая мной газета, — с достоинством сказал он, — работает в соответствии с директивами свыше... Простите, Яков Васильевич, ваши указания — это... это... не партийное руководство, а, если хотите, опека, мелочная опека, да!

— Да вы успокойтесь, что вы? — удивленный пылом обидчивого редактора, воскликнул Курбатов.

— Посудите сами... — переменив тон, проговорил редактор, — не могу же я в самом деле дать такую, например, статью в газете: «Секретарь горкома партии Курбатов мирится с вопиющими безобразиями на фотохимической фабрике».

Курбатов посмотрел на редактора. Он почувствовал, что краснеет, словно и в самом деле был виновен в безобразиях на фотохимической фабрике. Взяв себя в руки, Курбатов, спокойно глядя редактору в глаза, ответил:

— Если это в самом деле так, почему бы и не написать...

Редактор стал рыться в своей папке. Достав оттуда напечатанные на машинке листы, он бросил взгляд на дверь и тихо, заговорщически, проговорил:

— Видите ли, таким материалом редакция и в самом деле располагает... Вот это, — помахал отпечатанными листами редактор, — статья, касающаяся вас. — Он замялся и добавил: — Частично и вскользь, конечно...

— Ну что ж, — твердо сказал Курбатов, — если материал соответствует истине, чего же стесняться... Вот с меня и начните показывать зубы....

— Что вы! — испуганно встрепенулся редактор. — Это будет подрыв авторитета... а потом — предварительно с обкомом согласовать надо...

— Критика, если она правильная, это не подрыв авторитета, а товарищеская помощь. Учтите, что только лучший ваш друг скажет вам не стесняясь о ваших недостатках и ошибках... Недружелюбный человек о них умолчит, чтобы они переросли в нечто большее, чтобы они стали заметны всем. Если вы уверены в истинности вашего материала, завтра же дайте его в газету.

— В том-то и дело, что я лично не уверен в нем... Но умолчать об этой статье тоже не могу. Я ее должен довести до сведения обкома партии. Статью написал работник из главка товарищ Сорин.

Курбатов снова покраснел до ушей, и это смущение заметил редактор. Он приблизил свои губы к уху Курбатова и полупшепотом проговорил:

— Товарищ Курбатов, вы возьмите этот материал и распорядитесь им как хотите...

«Да ведь он думает, что я его боюсь», — мелькнула мысль у Курбатова. Он резко встал:

— Никакого материала мне не оставляйте. Что там написал Сорин, меня не интересует. Если вы считаете, что факты соответствуют истине, то немедленно печатайте статью в газете.

Редактор испугался такого решительного тона секретаря горкома: с первых шагов своей самостоятельной работы он привык беспрекословно подчиняться начальству.

— Нет, что вы, факты еще нужно проверить, но в общем-то в отношении вас дело сводится к следующему: товарищ Сорин пишет, что вы, используя свое служебное положение, прикрываете крупные недостатки на фотохимической фабрике, что вы... — смешался ре-

дактор, — словом, что вы еще до войны были интимным другом товарища Чайки — директора фабрики.

Курбатов едва сдержал себя, чтобы не наговорить грубостей редактору:

— Зачем вы всё это мне рассказываете? Вы же нарушаете редакционную этику...

Редактор смутился и стал поправлять и приглаживать свою взъерошенную шевелюру:

— Но я думал... вы вызывали меня за этим?..

— Напрасно думали! — оборвал его Курбатов.

— А как же?.. Не за тем же вы меня вызвали, чтобы я принес вам подшивку газет?

— Представьте, только за этим... — глядя редактору в глаза, ответил Курбатов. — Наша газета показалась мне очень беззубой, и я хотел, чтобы вы это поняли.

— Уж не с вас ли начать зубы показывать? — желчно спросил редактор.

— Да, да, с меня... и, поверьте, я не шучу... Я сам сегодня же об этом позвоню в обком... А сейчас — вы свободны...

Редактор поспешно собрал свои бумаги и, забыв проститься, вышел из кабинета.

Долго, задумавшись, сидел за столом Курбатов. Было о чем подумать. Последнее время он особенно внимательно следил за печатью, и ему, воспитаннику ленинской партии, многое казалось непонятным, со многим он не мог согласиться; особенно странным было всё развивавшееся славословие по адресу Сталина. Все победы партии и народа приписывались одному человеку, и это с трудом укладывалось в сознании Курбатова, вызывало внутренний протест. Нарушения советской законности, необоснованные репрессии тоже вызывали его возмущение. «Да, если бы моя шапка знала мои думы, я сжег бы ее», — подумал Курбатов. И действительно, о своих думах и мыслях без опаски нельзя было ни с кем поделиться...

К осени сорок пятого года все предприятия Новогорска работали полным ходом. Благодаря энергии и стараниям Мелентьева городское хозяйство также было

приведено в относительный порядок. На улицах Новогорска появились первые легковые машины, а грузовиков с каждым днем становилось всё больше и больше. Даже по этому небольшому городу чувствовалось, как ритмично и уверенно бьется пульс огромной страны, вышедшей победительницей из тяжких испытаний.

Предприятия с каждым днем увеличивали производство, осваивали новые, технически совершенные виды продукции. Длинные составы поездов, груженные мощными тракторами марки «НТЗ», шли на восток и на юг. Всё больше выпускалось изделий народного потребления.

Осенью пришло письмо от Кията. Он писал:

«Дорогой Яша!

И моя судьба оказалась не лучше твоей: на этот раз меня ранило основательно. Валяюсь в госпитале. Эскулапы хотели отхватить ногу, но я не дал. «Лечите», — говорю... В последние годы войны стали применять такое средство, как пенициллин, который делает чудеса. Но, видимо, мало его у нас, а наши союзнички помногу его нам не дают. Вот и отпускают этот пенициллин по особому распоряжению. О том, что я лежу в госпитале, узнал министр. Ему на Новогорский тракторный завод до зарезу нужен был директор. Вот по его просьбе и стали меня лечить ускоренными темпами. Вылечили, но всё же полступни, дьяволы, отхватили. В общем, Яша, скоро приеду в Новогорск. Приказ о моем назначении подписан. О выезде дам знать.

Твой Валентин».

Уже через неделю Курбатов получил телеграмму.

Он поехал встречать друга на старенькой, списанной с военного имущества «эмке» и дорогой вспоминал, как когда-то Кият и Алешин в зимний вечер на чухалинских рысках приезжали за ним и Таней на эту же станцию. «Как изменилось время, — подумал он. — Вот я без ноги, Валька изувечен... А всё-таки жизнь продолжается...»

Поезда долго ждать не пришлось. Только он вышел на перрон, как издали послышался гудок паровоза. Скорый прошел семафор, и Курбатов, опираясь на палку, заспешил ему навстречу. Мимо, поднимая ветер и тучи пыли, пронеслись темно-зеленые вагоны с огнями в окнах. Поезд затормозил и остановился.

Курбатов не знал, в каком вагоне едет Кият, и беспомощно озираясь по сторонам, ища глазами знакомую фигуру друга. Паровоз свистнул. Поезд тронулся, и в это время Курбатов почувствовал — кто-то сзади подошел к нему и крепко сжал в объятиях.

— Валька, черт, пусти, ругаться буду! — крикнул Курбатов и очутился лицом к лицу с Киятом. На плечах его золотом горели погоны подполковника, но лицо было бледное, похудевшее. Они крепко обнялись.

— Валька, черт! — повторял, хлопая друга ладонью по спине, Курбатов.

— Яшка, дьявол, леший болотный! — хлопнул Кият по плечу Курбатова.

— Приехал...

— Нет, пришел... дурачина ты этакий...

— Сколько лет не виделись!

— А встретились, и поговорить не о чем...

— Нет, много будем говорить!..

К ним подошла какая-то женщина. На мгновение Кият растерялся, но, придя в себя, бросился к женщине и обнял ее. Было морозно и темно, только тусклый свет фонаря освещал лица.

«Да ведь это Чайка! — с трудом узнал незнакомку Курбатов. — Так вот тут в чем дело!..»

Кият и Чайка, счастливые, стояли рядом и сдержанно улыбались Курбатову.

— Вы?.. Вот не думал, — с трудом выговорил Курбатов.

— Да, Яшка, это мы... Разве мы плохая пара?.. — весело сказал Кият. Чайка смутилась, покраснела. А Кият, чтобы скрыть свое волнение, снова хлопнул по плечу Курбатова:

— Мы ведь еще до войны встречались и переписывались, а теперь вот решили вместе... Как ты смотришь на это?

— Да я вот смотрю на вас и радуюсь... Пара вы хорошая, без лести говорю. Но огорчили вы меня: тайком всё решили, как заговорщики...

Кият и Чайка рассмеялись.

— Ну, пойдете... пошли в машину садиться... — преодолевая неловкость, пригласил Курбатов.

Когда они въехали в Новогорск, Курбатов, сидевший рядом с шофером, чуть обернулся:

— Куда тебя везти, Валька? Ко мне поедешь или как?

— Или как, Яша!

Они вышли из машины у парадной дома, где жила Чайка.

— Черти, хоть на свадьбу бы пригласили! — крикнул им вслед Курбатов.

— А это обязательно, — улыбаясь, ответил Кият.

— И вместе с Таней! — закричала вдогонку отъезжающей машине Чайка.

* * *

— Куда? — спросил у Курбатова шофер.

— Вези куда-нибудь, — ответил Курбатов и задумался.

Шофер удивленно взглянул на него и поехал снова в сторону станции. Курбатов сейчас не мог дать себе отчета, почему ему было неприятно узнать о близости Вали и Чайки. «Ведь я не Чайку, а Таню люблю», — убеждал он себя и всё-таки ему было неприятно и грустно. Откинувшись на заднем сиденье, полузакрыв глаза, Курбатов думал: «Неужели я тогда, в минуты одиночества, увлекся Чайкой? Или просто заговорило мужское самолюбие? Но тогда почему же мне не безразлично всё, что касается ее? Нет, я всё же люблю Таню. Одну ее, одну ее любил и люблю сейчас...»

Они снова подъехали к станции; Курбатов сказал шоферу:

— Давай обратно... домой!

Приехав домой, Курбатов рассказал жене о том, что было на вокзале. В это время зазвонил телефон. Звонил Кият:

— Яшка, ты извини, что я не к тебе заехал. Завтра вечером обязательно приходите с Таней. Я бутылку хорошего муската привез. А закуску... Лера тут такую кулинарию развела, что слюнки текут... Придешь?

— Ладно, беглец, скажу жене... Ты береги Чайку. У нее жизнь несладкая была, и если что, то запомни: считать своим другом тебя перестану. Ну, до завтра, будьте счастливы...

— Так ты, Яша, не забудь — завтра к восьми вечера.

— А ты, Валька, завтра утром зайди ко мне в гор-
ком.

— Что ты! У меня двухнедельный отпуск...

— Поговори ты у меня! Мы с тобой потом когда-ни-
будь отдохнем. А впрочем, решай сам...

— Ладно, приду, товарищ секретарь... взносы пла-
тить! До завтра!

Курбатов сел за стол и спросил Таню:

— Ты слышала мой разговор с Княтом?

— Да.

— Так пойдем?

— Пойдем... Но надо завтра с утра по магазинам
побегать... Подарок в таких случаях полагается.

Подкладывая мужу в тарелку яичницу из яичного
порошка, который сегодня по карточкам получила, Таня
вдруг наклонилась к нему и спросила:

— Как ты, Яша, считаешь — удобно будет обратить-
ся сразу же к нашему новому директору с деловой
просьбой?

— Смотря какая просьба, Таня...

— Вопрос очень важный и неотложный... Вот слу-
шай. У нас в конструкторском бюро есть молодой паре-
нек Юра Страничкин. Очень способный. Он заходил ко
мне в парткабинет и много интересного рассказывал.
Страничкин сейчас работает над новой конструкцией
трактора... Он очень настойчивый и надоедает началь-
ству своими идеями. От него все отмахиваются, как от
назойливого комара, а он знай свое твердит. Работает
он один, ему почти никто не помогает. Страничкин го-
ворил мне, что его трактор с навесными орудиями осво-
бодит много рабочей силы в сельском хозяйстве и под-
нимет производительность труда. Нужно помочь ему,
обязательно нужно.

Курбатов, перестав есть, внимательно слушал жену.

— Ты молодчина, Таня, — сказал он с нежностью
в голосе. — Твой Страничкин, видимо, интересная лич-
ность. Таких людей вытаскивать надо, многие еще не
понимают этого... Завтра же обязательно поговори
с Княтом.

Таня с благодарностью посмотрела на мужа, похло-
пала его по руке:

— Ну хорошо. Ты ешь, а то яичница совсем осты-
нет.

Двери им, сияя улыбкой, открыл сам Княт:

— Лера! Гости пришли...

Чайка выбежала в прихожую:

— Проходите в комнаты, а я сейчас. Пусть Валя пока командует, — Чайка извинилась и убежала на кухню. Таня пошла за ней, а Курбатов и Княт прошли в столовую и сели на тахту. Княт поставил на стол пепельницу, пододвинул Курбатову портсигар с папиросами.

— Ну, как ты тут живешь? — спросил Курбатов, оглядываясь.

— Живу, как Адам в раю... Кури!

— Нет. Бросил...

— И давно?

— Сразу после госпиталя...

— А я сосу по пачке в день... Бросал не раз, не вышло. Ну к черту, себя мучить... Буду курить...

В это время вошли Чайка и Таня, они начали хлопотать над сервировкой стола. Таня спросила у Чайки:

— Лера, а где Сереженька?

— Сережа ушел, не захотел остаться... Вы знаете, Таня, беда с ним... Ревнует к Вале... Сегодня всю ночь не спал... Утром вижу глаза заплаканные, красные...

— Ничего, обтерпит, — ответил Княт, — ребятам в таком возрасте спуску давать нельзя, избалуешь.

— Неверно, Валя, — заметила Чайка. — Сереженька просто гордый мальчишка... Ему больше не отец сейчас, а друг нужен...

У Чайки дрогнули губы, но она, — видимо, с трудом, — взяла себя в руки и попросила Таню пойти с ней на кухню.

Курбатов укоризненно взглянул на друга.

— Всё не так просто, Яша. Но ничего, перемелется...

Скоро Чайка и Таня принесли тарелки с закуской. Валерия Павловна посмотрела на мужа и сказала:

— Ты бы, Валя, хоть курил поменьше... Смотри, дыму сколько... Наверно, и Якову Васильевичу неприятно... Он ведь давно бросил.

Валя подмигнул Курбатову:

— Вот видишь... С первого дня уже каюк свободе.

— А ведь Валерия Павловна права, — полушутливо

сказал Курбатов. — Курить тебе, Валька, надо бросить. Директорская голова ясней будет. Революция выиграет.

— Тут, я вижу, целый заговор против меня. Ну, а вы как, Таня?

— Я присоединяюсь к большинству. Большинство не ошибется, — улыбаясь, ответила Таня.

— Прощу к столу, — позвала Чайка.

Все сели за стол. Курбатов предложил тост за счастье молодых и крикнул «горько!» Смущенные Кият и Чайка поцеловались.

— Ну, а теперь ты расскажи, Валька, где был до войны и как на фронт попал.

— Помнишь тот день, когда Баранов меня исключил из партии?

— Еще бы не помнить!..

— Месяца два был под следствием. Потом «тройка» дала мне по пятьдесят восьмой статье десять лет. И меня отправили в лагерь под Норильск. Всего я там хватил...

Кият достал папиросу из портсигара и спросил:

— Может, разрешите?.. Как решает большинство?..

— Пускай курит, — первой отозвалась Чайка.

Кият благодарно взглянул на жену, закурил и продолжал:

— ...Жил в лагере, в бараках... В забое обушком работал... Ел баланду и плесневелый хлеб. Переносил все невзгоды, так как был уверен, что партия со всей этой несправедливостью скоро разберется... Некоторые там теряли эту веру, не выдерживали и скатывались в болото антисоветчины...

— На фронт-то ты как попал? — спросил Курбатов.

— Везде есть хорошие люди... Некоторые уголовники стали проситься на фронт. И вот, начальник лагеря — душа был человек — как-то сумел и меня в эту группу втиснуть. На фронте я понял, что главное сейчас — это война! Был вначале разведчиком, по краешку от смерти ходил. Потом в танковую часть попал... Ну, а дальше ты знаешь, писал тебе...

Начали закусывать. Вино действительно было очень хорошее. У Тани и у Чайки быстро заблестели глаза и покраснели щеки.

Таня пересела на стул рядом с Киятом и подробно рассказала ему о конструкторе Страничкине и о его

новой конструкции трактора с навесными орудиями, который высвобождал в колхозах большое количество рабочей силы. Княт внимательно выслушал Таню и сказал, что завтра же займется этим интересным для завода делом.

Курбатов поддержал жену:

— Я этого Страничкина хоть и не знаю, а чую туг дело. Посмотреть надо, Валя. Это я тебе не как муж Тани говорю, а как секретарь горкома. Дело, как говорится, общее...

Под конец вечера, когда обо всем наговорились, спели любимые комсомольские песни гражданской войны.

Уже прощаясь, Таня заметила:

— Ваш Сережа так и не пришел...

— Никуда не денется. Придет, — заметил Княт.

Но на лице у Чайки было написано беспокойство. Она тоже оделась.

— А ты куда? — спросил ее Княт.

— Пойду Сереженьку поищу...

35

Февраль 1949 года стоял пасмурный и холодный. Мела поземка. Колочий ветер пронизывал до костей. Но этот месяц принес с собой много радостного для Курбатова.

1 февраля он держал государственные экзамены за высшую партийную школу. Экзамены прошли хорошо, Курбатов получил диплом.

У Княта на тракторном тоже были радостные новости: завод получил на вечное хранение знамя ВЦСПС. Тракторный завод стал гордостью не только Новогорска, но и министерства. Через день с большого конвейера должен был сойти первый трактор-автомат конструкции Страничкина. Рождения этого трактора с комплектом навесных орудий ожидали так, как родители ожидают рождения своего первенца.

Курбатов решил пригласить на торжество выпуска трактора новой конструкции своего старого знакомого Лапина. И вот сегодня вечером он встретил на станции Василия с Дашей и привез их к себе домой.

Лапин внешне выглядел отлично. Нельзя было и подумать, что у него нет обеих кистей. Это можно было обнаружить только тогда, когда он пытался что-либо делать руками.

— Вот, Василий Андреевич, снова мы свиделись. Молодцом ты выглядишь, да и делом большим заворачиваешь. Спасибо, что не забыл меня, приехал...

— Пустяки ты говоришь, комиссар, — окая, ответил Василий. — Тебя разве можно забыть... Таких людей, как ты...

— Ну, ну, товарищ Лапин, не хвали... Сейчас надо критики больше, а восхвалений по горло хватает. Вот что ты о нашем тракторе думаешь?

— Не видал еще, а как писал ты мне, так машина больно хорошая. Рабочей силы в колхозах мало, а на тракторе вашем один тракторист будет справляться, прицепщиков или там других людей не надо... Завтра своими глазами всё увижу, и уж тогда...

— Вот, вот, это хорошо, — заметил Курбатов, — завтра много и других председателей колхозов будет. Мы из разных областей человек пятьдесят пригласили... Ты расскажи мне о колхозной жизни, ведь я ее не знаю... Люди в города тянутся. Видно, не от сладкой жизни...

По лицу Лапина пробежала тень:

— И мне многое непонятно...

— А что тебе непонятно? — спросил Курбатов.

— А то, что неужели там, в Кремле, не знают, как в колхозах живут? Поверишь ли, комиссар, читаешь газеты, и тошно делается. Не о том пишут.

— Ну, а о чем надо писать?

— Тебе-то я расскажу, тебе можно... А то недавно попробовал я в районе правду выложить, так секретарь райкома разнес и пригрозил, — ревизионист, мол, я, линию партии в колхозном строительстве ревизую, мол, Бернштейн я и Каутский. А я что, я ведь мужик был, мужик и есть... Пришлось, понимаешь, каяться, ошибки свои признавать, а то попал бы на бюро...

— Ну, я-то тебя пойму, — ответил Курбатов. — Бернштейном и Каутским не назову...

Сильный порыв ветра с шумом раскрыл плохо закрытую форточку. Ветер волнами прошелся по занавесам и портьерам.

— Видишь, Яков Васильевич, основное зло в колхозах, по-моему, оттого, что правители наши, кому это надо, по-настоящему не знают колхозной жизни. Они, может, только читают сводки какие-нибудь, но ведь никто из них в колхозах после войны не был. — Лапин внимательно посмотрел на Курбатова. — Или, может, это я пропустил в газете, может, кто и выезжал?

— Да нет, Василий Андреевич, я тоже о таких выездах ничего не читал...

— Ну вот, мне кажется, от незнания колхозных дел всё и происходит. К примеру, на заводе хозяин один, а у нас колхозное поле одно, а хозяев много. Правление колхоза хозяин — раз! МТС хозяин — два! А в районе все, кому не лень, в хозяева лезут. Колхоз сам своих дел решить не может, всё надо согласовывать. Вот и выходит, что мы не вольны распоряжаться не только колхозным добром, но не вольны сеять, что нам выгодно. — Лапин старался говорить спокойно, но в словах его слышались горечь и раздражение. — Из района нам спускают план, прах его знает, как они его там составляют. Вот на этот год дают нам пять гектаров льна посеять. А у нас этой культуры отродясь не сеяли; не согласны мы были, отписали, что лен нам ни к чему, что мы лучше кукурузу посеём, — корму для скота больше будет, да и вообще эта культура выгодная. Только я поехал сюда, а в районе мне сказали, что лен придется сеять. О подсобных же промыслах и не заикайся... К примеру, у самой Волги, на берегу, у нас песчаный карьер есть. Баркасы можем песком грузить и в город везти. Ведь чистый доход был бы колхозу. Так нет, тоже не разрешают. А за прошлый год колхозник деньгами получил на трудовень по семь копеек. Вот и говорят у нас в колхозе: не «трудодень», а «пустодень». Конечно, какая тут заинтересованность. А сказать ничего нельзя. Сейчас время такое: не согласен кто — его за пятаку, как паука.

— Да-а, что-то у нас неладно... — медленно, в раздумье сказал Курбатов, хмуро глядя на Лапина.

— Шути на людях, а плачь в одиночку... — В глазах Лапина погас живой огонек.

Часы пробили полночь.

— Пора вам отдыхать, — спохватилась Таня. — Ведь вы с дороги, а завтра трудный день...

Лежа в кровати, Курбатов не мог заснуть. Беседа с Лапиным сильно взволновала его. Он вспомнил свои впечатления от частых поездок в область. По дороге в областной город надо было проезжать через десяток деревень. С некоторыми председателями колхозов Курбатов был знаком, во время поездок он иногда останавливался у них и заходил к колхозникам побеседовать.

В каждую поездку Курбатов видел всё больше и больше заколоченных изб. Свежестроганные доски крест-накрест перечеркивали окна и двери осиротевших домов. Когда Курбатов спрашивал у колхозников, почему уезжают их односельчане, ему отвечали: «Почему уезжают? В город подаются. Неинтересно в колхозе впроголодь жить. А тех, кто на войне был, нипочем не удержишь: на новостройки, на заводы бегут. Одни бабы да девки в колхозе остались. Да и девки правдами и неправдами хотят убежать в город».

Курбатов вспомнил рассказ одного из знакомых ему председателей: «...Зашел я к Метелихе недавно, у нее дочка есть восемнадцати годов. Захожу, захлопотала около меня Метелиха, угощение поставила; вижу, из последнего бабенка угодить мне старается. Думаю: к чему бы это? И только тогда понял, когда Метелиха завела разговор о своей Дуняше. Я Дуняшу хотел в колхозные свинарки определить, затем и зашел. Метелиха же просит выдать ей, Дуняшке, справку, что колхоз ее отпускает. Оказывается, Дуняшка уже второй месяц у вас, в Новогорске, у одного инженера в домработницах живет и справка нужна ей для прописки... Вот так, — вздохнул председатель: — правдами и неправдами бегут из колхоза люди».

А однажды, когда Курбатов проезжал по главной улице деревни, его заинтересовало необычное зрелище: старик колхозник топором срубал яблони. Курбатов остановил машину и спросил колхозника, почему он рубит деревья. Старик недружелюбно посмотрел на незнакомца и зло проговорил: «Невмоготу стало... Не хочу налог за них платить». И он, секретарь горкома, к стыду своему, не знал, что ответить колхознику! Так и сел спокойненько в машину и поехал дальше. У самого города Курбатов нагнал трехтонку, в которой, тесно прижавшись друг к другу, сидели пестро одетые колхоз-

ницы, крепко держась за свои мешки и корзины. Трехтонка стояла на обочине дороги, шофер копался в моторе. Они остановились, и, пока шофер Курбатова помогал чинить машину, Курбатов вступил в беседу с колхозниками. Много горьких слов пришлось ему выслушать: живут они только тем, что уродится на приусадебном участке — на двенадцати сотках земли. Правда, некоторые колхозники тайно, в лесной чаще, на лесных полянках, заводят себе дополнительные огороды, и с них налоги не платят... Знают ли об этом наши органы, те, кто занимается сельским хозяйством?

Вспомнил Курбатов и свои беседы с председателем колхоза Иваном Глазовым; тот, не стесняясь в выражениях, говорил о «хозяевах», которые, вмешиваясь в жизнь колхоза, часто дают противоречивые указания. Жаловался Глазов и на МТС, которая «сняла с нас шкуру», а работает плохо, в сроки не укладывается.

Перебирая в памяти эти факты, Курбатов сопоставлял их с тем, что рассказывал Лапин; получалось: положение в колхозах повсюду тяжелое.

Курбатов не мог заснуть и ворочался с боку на бок. Нечаянно он толкнул спавшую Таню. Она проснулась, но, поверчав, снова заснула. А к Курбатову сон не шел. В голове, как живые, ворошились, вставляли картины довоенного прошлого и недавние впечатления. «Что же это с колхозами-то, а?» — задавал он себе вопрос и не находил ответа.

Курбатов знал, что в Центральном Комитете партии вопросами сельского хозяйства занимается Маленков. До войны Курбатову не раз приходилось встречаться с Маленковым, еще в пору, когда тот работал заместителем заведующего отделом кадров Центрального Комитета партии. Знал Курбатов Маленкова еще и по рассказам своего товарища, одно время работавшего заведующим отделом кадров Ленинградского горкома партии. Курбатов уже давно не симпатизировал Маленкову и поражался сногшибательно быстрому его продвижению вверх по партийной лестнице. Это было для Курбатова тем более странно, что — как он знал — Маленков, кроме партийного аппарата, нигде не работал, не был на руководящей работе, которая связывала бы его с широкими массами народа. «Политический интриган» — так однажды его товарищ назвал Маленкова.

«Неужели это правда? Может, в людях просто говорит зависть, может, всё это — злопыхательство мешан?»

В голове у Курбатова всплыли картины недавнего прошлого. Всего два года назад, уже будучи первым секретарем Новогорского горкома партии, Курбатов был вызван на совещание в Центральный Комитет партии. С тех пор всякий раз, когда Курбатов бывал в ЦК партии, он испытывал особую гордость и сознание значительности происходящего. Гордость — потому, что укреплялся в чувстве: вот и он, маленький человек, является участником великих замыслов и предначертаний, которые приводят в движение всю партию и весь советский народ... Это чувство и сейчас оттеснило в сторону беспокоящие его мысли и помогло ему вновь обрести обычное душевное равновесие, так неожиданно нарушенное разговором с Лапиным...

Сон не шел к Курбатову. Воспоминания одно за другим вставали с какой-то особой отчетливостью... Он вспомнил, как в Октябрьский праздник, будучи в Москве, ему удалось получить билет на трибуну. Там он увидел Сталина. Но уже не того Сталина, какого видел когда-то — еще молодого, без единого седого волоса, а старика, с поседевшими усами, нездоровым цветом лица, как будто бы ставшего ниже ростом. Курбатов представил себе, как старенький и, видимо, больной Сталин, давно нигде не бывавший, выслушивал приукрашенную информацию о сельском хозяйстве из уст Маленкова. Курбатов безгранично верил в Сталина, так же, как верил в партию. Веру его не могли поколебать или убить руководители типа Маленкова... Резко зазвонил будильник. Таня вскочила с кровати и, увидя покрасневшие от бессонницы глаза мужа, ворчливо сказала:

— Опять не спал. Горе мне с тобой, не слушаешь меня. Тебе сегодня же надо сходить к врачу, может, хоть брому для успокоения нервной системы пропишет.

— Нет, Танюша, сегодня мне некогда. Знаешь, ведь день какой. Наверное, из обкома приедут.

«Да, — подумал Курбатов, — правильно сказал мне секретарь обкома Родин, что моя работа — это не должность и не пост, а это, своего рода, призвание, подвижничество...»

Конструктору Страничкину, молодому, вихрастому, очень напористому человеку, влюбленному в свое дело, при помощи Кията удалось в сравнительно короткий срок закончить рабочие чертежи нового трактора. Технологи быстро разработали оснастку и технологию запуска трактора на конвейер. В министерстве не сразу поняли пользу для колхозов от новой конструкции трактора; пришлось Кияту и Курбатову выехать в Москву. Только вмешательство Центрального Комитета партии положило конец волоките: у работников министерства сразу появился огромный интерес к предложению Страничкина, и на работников завода посыпались одно за другим требования министерства немедленно запустить в массовое производство новый трактор. Ведь посевная кампания была, что называется, на носу.

На бюро горкома было решено провести общественный смотр нового детища завода. Открывать торжество было поручено старейшему рабочему, ныне председателю горисполкома, Мелентьеву. Сидя на бюро, Мелентьев, недовольный этим решением, не раз дергал свой длинный ус.

Танкодром, на котором предполагали провести смотр, находился сразу за заводом. Это было большое поле, где во время войны испытывались после ремонта танки. Сейчас поле было заброшено. Глубокий снег покрывал его плотным ковром, и только прилегающую к заводу часть поля успели расчистить к испытаниям.

Первый трактор, сойдя с конвейера, должен был пройти к воротам танкодрома, где Мелентьев перережет ленточку.

Хотя и светило солнышко, но дул колючий, холодный ветер. Люди, ожидая открытия торжества, грелись как могли: одни толкали друг друга плечом, другие топтались на месте и махали руками, а молодежь лихо отплясывала русскую, благо играл духовой оркестр.

Но вот двери в цех открылись, и оттуда, рокоча мотором, выехал покрашенный в серую краску новенький трактор. Вслед за трактором из цеха быстро вышли Кият, Курбатов, секретарь обкома по промышленности Колчин и с ними радостный, всё время улыбающийся

конструктор Страничкин, одетый в большую шапку-ушанку с поднятыми, но не завязанными ушами.

После короткого митинга с трибуны, держа ножницы в руках, сбежал Мелентьев. Он улыбнулся людям, толпившимся у ворот, потряс над головой ножницами, а потом аккуратно, с опаской перерезал ленточку. Ворота распахнулись, и трактор вышел на просторы танкодрома.

Тракторист стал показывать всё, на что способна новая машина. Выходило, что он справлялся не только с пахотой, но и с бороньбой, с севом и с укаткой почвы.

— Вот это штука... Это машина... — слышались одобрительные возгласы из толпы колхозников.

— Людей сколько заменит! Большая экономия рабочей силы. Это нам и надо...

— Да, с этим трактором не пропадешь!

Трактор, сияя на солнце свежевыкрашенными боками, легко передвигался по полю. За ним, стараясь не отстать, то шли, то бежали Страничкин и Кият. Они пристально следили за каждым движением и поворотом трактора, прислушивались к работе мотора. Временами они что-то говорили друг другу, перебрасываясь словами с трактористом.

Стоя рядом с Колчиным в толпе председателей колхозов, Курбатов не отрываясь смотрел на трактор и сопровождавших его людей. Он до этого не встречался с конструктором Страничкиным и теперь приглядывался к нему. Молодой человек определенно нравился ему, он даже любовался им сейчас — его живостью, увлеченностью делом, напористой деловитостью. Следя за тем, как Страничкин то наклонялся к трактору, как бы вслушиваясь в его работу, то касался рукой какой-то его части, то давал короткие указания трактористу, Курбатов думал: «Любит парень свое дело. Хорош. Таких бы нам побольше...» Выждав момент, когда трактор приблизился к толпе людей, Курбатов, повинувшись какому-то теплomu чувству, подозвал к себе Страничкина. Тот подбежал, тяжело дыша и вытирая рукавицей пот с подбородка.

— Ну, как чувствует себя наш новорожденный? — Курбатов показал на остановившийся трактор. — Вижу, замотал он вас...

— Чувствует себя хорошо, товарищ Курбатов, —

улыбаясь и поправляя большую шапку-ушанку, выдохнул Страничкин. — Даже не ожидал...

— Ну, прекрасно. Поздравляю. Вот и председателям колхозов нравится. Не так ли? — обратился Курбатов к стоявшему недалеко Лапину.

Лапин, подойдя, протянул руку Страничкину:

— Спасибо вам и заводу за то, что думаете о нас, колхозниках. Машина, кажись, добрая...

Трактор действительно успешно выдержал все испытания. На состоявшемся в заключение собрании секретарь обкома Колчин сердечно поздравил коллектив завода с победой и поблагодарил людей, создавших новую машину.

37

Перед отъездом Колчин зашел к Курбатову в горком. Убедившись в том, что дверь плотно закрыта, он подошел к телефонным аппаратам и поставил их на пол.

— Ты что это? — удивленно спросил Курбатов.

— Осторожность — мать мудрости; и телефоны могут иметь уши.. — ответил Колчин. — Не удивляйся; Гаревой всему научит...

Колчин сел в кресло, помолчал.

— Так вот, хочу тебе сообщить последнюю новость... Вчера арестован Родин.

— Да что ты! За что? — пораженный, спросил Курбатов. Он очень уважал первого секретаря обкома и не представлял себе, чтобы он в чем-то мог провиниться перед партией.

— Не знаю... Знаю, что в Ленинграде что-то серьезное стряслось... Имеется постановление ЦК, но оно еще до нас не дошло... Послезавтра приезжает секретарь ЦК Маленков... Имеем указание созвать чрезвычайный пленум обкома... Видимо, на нем всё и прояснится... А сейчас давай прощаться, поеду... Кто его знает, — мрачно сказал Колчин, — может, больше и не увидимся... Для себя ничего хорошего я не ожидаю...

— Не может этого быть, — взволнованно и убежденно сказал Курбатов. — Не выйдет это... Как же так — без всякого повода...

— Повод они всегда найдут... — сухо отчеканил Колчин.

— Да кто найдет-то?

— Гаревой, конечно... Ну, прощай. Что бы ни случилось, не забывай меня. Перед партией я чист...

Колчин рывком поднялся из кресла, подошел к Курбатову и обнял его.

Курбатов вслед за Колчиным вышел из кабинета. В приемной, в позе долго ожидающего, сидел начальник горотдела МГБ. Увидев Курбатова, он поспешно встал:

— Я к вам, Яков Васильевич...

— Хорошо, товарищ Борисов, я сейчас освобожусь.

— Тогда я еще успею проверить свое выступление на бюро. Дайте мне протокол последнего бюро. Надо посмотреть, а то потом наплачешься... — сказал он тихо.

— Протокол у секретаря, он у него хранится, — делая удивленные глаза, сказал Курбатов.

— Вот так раз! А я тут брюки просиживал, думал — важный документ... — Борисов повернулся к секретарю: — Выдайте, пожалуйста, протокольчик.

Проводив Колчина до машины, Курбатов сразу же возвратился в свой кабинет. Увидев, что Борисов листает протокол, он, делая вид, будто поверил ему, спросил:

— Ну как, читали? Исправили?..

— Да, — слегка смутился Борисов. — Пойду отдам, — и вышел за дверь.

— Давно он пришел? — спросил у секретаря Курбатов, когда Борисов ушел.

— Сразу вслед за вами.

— Что он делал это время?

— Ничего не делал, смотрел на часы...

С тревожным сердцем ходил Курбатов по кабинету. Подозрительность Колчина передалась ему. Он почему-то осмотрел стены, потолок, телефоны, но ничего особенного не обнаружил.

«Что нужно было здесь Борисову? Неужели подсматривал за Колчиным или следит, с кем я встречаюсь?..»

Вести, которые сообщил Колчин, как тонкая игла вошли в сердце и беспокоили его, кололи, причиняли

боль. За себя Курбатов не боялся. Перебирая в памяти прожитую жизнь, он не нашел в ней ничего такого, что бы бросало тень на его честное имя. «Повод они всегда найдут...» — вспомнил он слова Колчина, и сердце его больно заныло...

Курбатов сегодня рано ушел с работы домой.

38

По дороге домой он решил зайти к Алешину. Старик уже три месяца не работал, — ему была назначена персональная пенсия. Но он был еще бодр, тяготился своей бездеятельностью, часто бывал в школах, разговаривал с пионерами, с комсомольцами.

Идти было недалеко.

Дверь Курбатову открыла старушка, которая ухаживала за Алешиним.

— Только что заснул, сердешный, — сообщила она. Но тут из-за двери послышался дребезжащий старческий голос:

— Проходи, проходи, Яшка. Давно жду тебя.

— Ахти мне! — всплеснула руками старушка. — Уже проснулся. Ну, чисто живчик, а не старик. Будто лежит, а ни минуты покоя себе не дает. Врач-то говорит, чтобы спокой был.

— Так болен он? — тихо спросил Курбатов.

— Два дня как заболел... Слышь ты, с сердцем у него что-то плохо.

Ступая на носки, Курбатов открыл дверь и вошел в комнату. Он увидел сидевшего в кровати Алешина.

— Ты что это не зайдешь? Или забывать стал старого хрена?.. Вот приболел немного, Яшка.

— А что у тебя болит, дядя Павел?

— Ох, — вздохнул Алешин, — сердце чего-то. Укатали, видно, сивку крутые горки... Да ты садись, чего стоишь-то?

— Врач был, что он сказал?

— Да ну их всех в аптеку, — заругался Алешин. — Говорит, долго лежать придется, инфарк у меня какой-то.

— Инфаркт? — испуганно переспросил Курбатов.

— Да, он самый... Но я лежать не буду. День-два полежу, а потом встану.

— Инфаркт дело серьезное, дядя Павел, тебе и в самом деле полежать немало придется.

— Ни в жизнь не буду лежать! Вот дня два, и всё...

— Да ведь спешить тебе некуда, ты на пенсии; лежи себе да лежи.

— Нет, Яшка, не буду я лежать; через два дня я обещал у пионеров на сборах выступать.

— Ну, с этим можно и в следующий раз.

— Да ни в жизнь, я всегда, что обещал, то делаю. Слово, оно должно быть дороже золота. Ты это знаешь.

Алешин, моргая длинными седыми ресницами, внимательно смотрел на Курбатова.

— Чего ты на меня так смотришь, дядя Павел? — спросил Курбатов.

— Подходящего мы из тебя мужика воспитали, вот что, — нашинского, не зазнаёшься, сам пришел.

Курбатов хотел что-то ответить, но Алешин перебил его:

— Это хорошо. А то зазнаешься, оторвешься от народа и погибнешь. Немало вас таких в бюрократов превращается. Да немало и подхалимов вышло, которые только и знают, что орут: «Слава, слава, уря, уря!» А совесть свою до дыр износили!

Курбатов слушал и молчал. Он понимал, что Алешин говорил о чем-то очень важном для него, наболевшем, выношенном в душе, и не хотел перебивать его. Алешин, словно почувствовав это, продолжал:

— Что, брат, холодно на душе? Знаю, у меня последнее время часто это было. Но запомни, Яшка: у нас, у большевиков, есть одна-единственная правда. Это правда нашей партии, правда всего нашего большого общечеловеческого дела. Другую правду, Яшка, нищи, потому нет ее. Не вечно будет такое... Слабый человек — он, конечно, свихнуться может, а ты не такой. Ты перетерпи. Солнышко ленинской правды снова взойдет. Уж я это чувствую... Властолюбие — это болезнь, Яшка. А всякая болезнь излечивается. Не вешай головы, дай срок, всё встанет на свое место. Нельзя менять свои убеждения, что платки во время насморка. Держись за то, чему учили тебя смолodu. Учителя у тебя неплохие были. Чтобы всё, что происходит в партии, оценить, мы для этого мало знаем, Яшка. Но дай срок. партия обо всем знать будет. И еще вот я тебе чего

скажу. Не нравится мне, что у некоторых коммунистов и даже руководящих работников появились и растут частнособственнические настроения. Вроде мы и корни, от которых росла частная собственность, вырвали, а вот, вишь ты, до чего живучи пережитки капитализма. Правда, всё это, как называют сейчас, личная собственность, из которой буржуй не вырастет, а всё равно плохо, противно это. Противно, когда этакий член партии Павликов — с дооктябрьским стажем ведь, пенсию персональную получает! — построил себе двухэтажный ко... коттедж — не сразу и выговоришь — и комнаты внаем сдает. Сыну, вон, видишь ты, автомашину купил, и, знаешь, жена его на рынке ягоды и овощи со своего огорода продает. Говорил я с ним. Ну просто смехота, он и коммунизм-то стал по-своему понимать. Ему нужен этакий односемейный коммунизм: мой дом — полная чаша. Да ты, Яков, наверно, помнишь этого Павликова? Он с революции всё в выдвиженцах болтался. И куда его только не выдвигали, и до того довыдвигали, что превратился он сейчас в такого крепкого мещанина. И для партии он потерян уже. Ты бы, Яков, поинтересовался, нет ли еще таких, как Павликов.

Курбатов задумался. Слушая взволнованную речь Алешина, он невольно вспомнил свой давний разговор с Булгаковым. Ведь и тот говорил о тех же опасностях и вредных явлениях, с такой же болью душевной переживал падение хороших старых коммунистов. Как и в тот раз, Курбатова глубоко задела слова старика. Ему хотелось обнять Алешина, рассказать о своих затаенных мыслях, о том, что наблюдал в последнее время. Но почему-то он этого не сделал и только сказал:

— Это ты, дядя Павел, верно говоришь. Поинтересоваться следует. Мне кажется, что павликовы у нас есть и продолжают носить высокое звание коммуниста. Бить их надо!

— Вот, вот, — обрадовался поддержке Алешин. — Гнать их надо из партии, гнать поганой метлой. Гнать и верить, что это всё преходящее, что это уйдет из нашей жизни. Верь, Яшка, когда человек верит, то его веру не искоренить. Ты меня понял?

— Понял, дядя Павел! Понял, дорогой. Но тебе нельзя волноваться... — Курбатов встал и начал прощаться с Алешиним.

Оля познакомилась со Страничкиным на школьном вечере, куда он был приглашен как руководитель школьного технического кружка. Страничкин ей сразу понравился, и она стала с ним встречаться на кружке и после занятий. Сегодня Страничкин предложил Оле проводить ее домой. Она шла рядом с ним раскрасневшаяся и счастливая. Пряди русых волос выбились из-под белой шапочки и заиндевели. Шагавший сбоку Страничкин весело рассказывал ей про испытание трактора на танкодроме.

— Вы, должно быть, сильно волновались? — спросила Оля.

— Еще как! Вы знаете, чувство такое, какое, вероятно, испытывает мать, когда следит за первыми шагами ребенка: вот-вот упадет и расквасит себе нос!

— И что же, не расквасил?..

— Представьте, Оленька, нет. Вел он себя как опытный пешеход: ни разу не споткнулся. Да еще рокотал и пофыркивал от удовольствия.

Оля рассмеялась.

— Вы знаете, Оленька, я в тот день и с вашим отцом познакомился.

— Да? И что же он вам сказал?

— Ничего такого... Но он на меня смотрел как-то по-особенному, смотрел таким хорошим, внимательным взглядом. По-моему, хороший он человек, ваш отец...

Оля с любопытством взглянула на Страничкина:

— Об этом в двух словах не скажешь... И что же вы, Эдисон, теперь будете делать?..

— Как что? — Страничкин даже остановился и с удивлением поглядел на девушку. — Продолжать начатое дело! Работы еще прорва! Этот трактор только начало... Хотите, расскажу? — На лице молодого человека появилось просительное выражение.

— В другой раз, Юрий Сергеевич... Мы уже пришли... Вот мой дом.

Страничкин сразу как-то сник и нехотя пожал протянутую девушкой руку, задержав ее в своей.

— Только вы на меня не обижайтесь, — спохватилась Оля.

— Что вы, Оленька! Я понимаю: уже поздно, и девочку ждут мама и папа, — засмеялся Страничкин.

— Ой, какой вы нехороший, — шутливо протянула Оля.

Произошла неловкая длительная пауза, ее нарушил Страничкин:

— Я, между прочим, иногда гуляю около вашего дома и знаю: вон она, ваша комната, — он показал на темное окно. — Я в этом окне вижу вашу тень...

Оля покраснела и заторопилась.

— Мне пора. До свидания... — сказала она и скрылась в подъезде. Озадаченный Страничкин остался стоять на улице.

Дверь Оле открыла мать; она сразу по лицу дочери определила, что с ней что-то случилось.

— Что с тобой, доченька? — мягко спросила Таня.

— Ой, мамочка! — бросаясь на шею матери, воскликнула Оля. — Как хорошо я погуляла!

Весь остаток вечера Оля была какая-то особенная; это заметила не только мать, но и отец. Когда Оля ушла в свою комнату, он спросил у Тани:

— Почему так неестественно оживлена Оленька?

— Да, наверное, опять какую-нибудь мысль о походе вбила себе в голову. Ты ведь знаешь, что она давно завидует Зое Космодемьянской.

— А ты узнай, что с ней... — посоветовал Курбатов.

Сегодня Оля долго не ложилась спать. Она писала свой дневник, часто вставала, ходила по комнате. Подходила к окну, осторожно приподнимала край занавески и смотрела в чернильную темень ночи... Когда Оля погасила верхний свет, разделась и легла в постель, в комнату бесшумно вошла мать.

— Всё еще не спим, дочка? — спросила Таня.

— Я только легла, — ответила Оля.

— Почему так поздно? Завтра ведь рано вставать.

— Ничего, я встану, у меня будильник...

— Да, но не выспишься...

— Выплюсь, мама, — Оля взяла руку матери и прижала ее к своей щеке. Щека была горячая, и Таня забеспокоилась:

— У тебя жар... Сейчас принесу градусник...

Но Оля не дала матери встать.

— Нет у меня температуры, мама, а если хочешь знать, то я... я сегодня очень счастлива. — Оля привыкла открывать матери свою душу, поверять ей самые потаенные думы. Она и сейчас рассказала матери всё, что было на сердце.

— Он? — кивнула Таня головой в сторону настольной лампы, к которой был прислонен лист бумаги с нарисованным чернилами лицом Страничкина.

— Он... — потупясь, ответила Оля.

Таня взяла рисунок и стала рассматривать его.

— Понимаешь, мама, — волнуясь, заговорила Оля, — вот ведь тысячи людей вокруг, и из них много красивых или просто хороших. С любым можно разговаривать, шутить, смеяться, но через минуту забыть о нем, и только. А об этом русоголовом, — кивнула Оля на листок бумаги, — хочется думать, вспоминать всё до мелочей. И почему это так? Мне трудно, мама, в этом разобраться...

— Ну, а почему, как ты думаешь? — вздохнув, спросила Таня и снова прислонила листок бумаги к лампе.

— Очень трудно объяснить... — призналась Оля. — Но я думаю, мама, что это и называется любовью! — И Оля уткнула лицо в подушки, как бы стыдясь сказанного ею слова.

— Глупая моя девочка! — Таня обняла дочь за плечи. — И что ты выдумала? Какая может быть любовь, если ты с ним только что познакомилась?

— А ведь бывает любовь с первого взгляда? По-моему, он хороший, мама, честное комсомольское слово — хороший. Он мне всё про себя рассказывал — и как он из-за бедности не мог учиться, пошел работать, и как учился по ночам, заочно институт окончил, новый трактор сконструировал...

— Любви с первого взгляда не бывает. Полюбить по-настоящему человека можно только тогда, когда его хорошо узнаешь. Иначе не любовь это, а так... Ты слышала, как в народе говорят: «Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть»? Почему бывает много несчастных браков? Да только потому, что девушки или парни верят в эту самую «любовь с первого взгляда». Нет, доченька, не бывает такой любви, и ты о ней не мечтай.

Оля жадно слушала мать. Разговор на эту тему у них происходил впервые.

— Да, но почему я о нем всё время думаю? — спросила Оля.

— А потому, что он тебе понравился. Ведь я ничего не говорю, он, может, хороший человек; может, он на деле окажется твоим идеалом. Но ты познакомься с ним получше, узнай его. Пускай и он узнает, какая ты горячая и вспыльчивая. Может, ты такая и не нужна ему. А любовь — это святое чувство, доченька.

— Что значит «святое чувство», мама? — спросила Оля.

— На это не так просто ответить. Настоящая любовь, доченька, не вспыхивает сразу, она долго созревает в сердце. Вот, прежде чем мы с папой поженились и узнали, что по-настоящему полюбили друг друга, прошло три года...

Оля, слушая, приподнялась на локтях. Таня убрала у нее со лба прядь волос, внимательно посмотрела на нее, погладила обнаженное плечо дочери:

— Любовь — это полное слияние душ, интересов, мыслей. Это громадное, великое чувство, могучее, как сама жизнь. Любить — это значит бесконечно доверять друг другу, уважать друг друга, всё иметь общее: общие понятия, общие радости и горе, помогать друг другу во всем... Понимаешь?..

— Ты как-то скучно говоришь, мама. Я думала, что любовь — какое-то особенное, безотчетное чувство, ни с чем не связанное.

— Милая ты моя, не одна ты так думаешь. Оттого-то и получают часто несчастливые браки. А ведь брак и есть продолжение любви; он и есть испытание чувств, обоюдных взглядов на жизнь, на труд, на мир вообще. В любви женщины к мужчине должен быть элемент разумного восхищения, иначе угаснет любовь, когда пройдет первое влечение. Только при такой любви будет крепкая семья, здоровые отношения в браке и счастливые дети... Ну, Олюша, заболтались мы. Спать, спать пора. Спи крепко, моя родная, в твоей жизни всё еще будет...

Оля почувствовала, что слова матери ее не удовлетворили, прошли мимо чего-то главного. Но и возраже-

ний против ее слов Оля не могла подобрать. Она только сказала:

— Я хочу быть счастливой.

— А ты и будешь счастливой, дочка. Я верю в тебя. Ну, спи, моя родная. — Таня поцеловала дочь и вышла из спальни.

40

Проводив Лапина и Дашу на поезд, Курбатов на другой день утром уехал на чрезвычайный пленум обкома. Дорога была скользкая, машину забрасывало на поворотах. В одном месте, при попытке обогнать обоз, они засели в канаве. Только с помощью лошадей удалось вытащить машину. Курбатов нервничал, его настроение передавалось и шоферу.

Приехав в город, Курбатов прежде всего пошел навестить Колчина. В приемной никого не было. Девушка — технический секретарь — разбиралась в бумагах, лежавших на столе.

— Товарищ Колчин у себя? — спросил Курбатов.

Девушка вспыхнула:

— Н-нет его...

— Он скоро будет? — спросил Курбатов.

— Он больше не будет, — тихо сказала девушка.

Курбатов всё понял. Тревожно забилось сердце, и, рывком открыв дверь, он вышел в коридор.

— А-а... вот ты где! — окликнул его в коридоре секретарь Родина. — А я тебя по всему обкому ищу...

Курбатов недоуменно посмотрел на него. Секретарь развязным голосом продолжал:

— В кабинете Родина («не товарища Родина, а просто Родина», — отметил Курбатов) находится товарищ Маленков, он мне велел, как только ты придешь, привести тебя к нему.

— Мы с вами на брудершафт вроде не пили... — тихо сказал Курбатов.

Секретарь строил ироническую гримасу:

— Как хотите... Вы, конечно, знаете, что Родин и Колчин у нас тю-тю?

От каждого слова секретаря Курбат за корбило, ибо он знал, что этот тип при Родине вел себя подхалимски. «Хамелеон, сволочь», — подумал Курбатов.

Секретарь пошел в кабинет докладывать Маленкову. Курбатов остался один в знакомой ему приемной. Как он узнал, Родина не было в обкоме уже больше десяти дней, а Колчина только два дня. «Значит, как приехал из Новогорска, так его и взяли...»

— Прощу, Курбатов! — выходя из кабинета, ледяным тоном сказал секретарь.

Курбатов вошел в просторный, но просто обставленный кабинет... Сколько раз он бывал в нем: был при Алексее Николаевиче Данилове, был у Баранова, у Кленова, у Родина... Но сейчас за большим письменным столом сидел не руководитель области, а сам секретарь Центрального Комитета партии. К Маленкову Курбатов давно питал антипатию. Он сам не понимал, откуда она взялась, но факт, что он давно уже невзлюбил его. Курбатов был рад, когда в конце войны Маленкова отстранили от руководства партией. На его месте оказался Жданов. Секретарем Центрального Комитета был выдвинут также и другой ленинградец — молодой, но очень способный и энергичный Кузнецов. Курбатов дважды был на совещаниях в Центральном Комитете, которыми руководил Кузнецов. После совещаний Кузнецов запросто беседовал с людьми, и Курбатов преисполнился к нему уважением.

— Проходи, садись! — услышал Курбатов слегка дребезжащий голос. Курбатов сел на стул у стены. Маленков, не обращая на него внимания, продолжал читать какие-то бумаги.

Наконец он медленно поднял свою крупную голову, посмотрел тяжелым взглядом на Курбатова и предложил ему пересест в кресло у стола. Курбатов пересел; за всеми его движениями Маленков внимательно наблюдал.

Встретившись взглядом с Маленковым, Курбатов почти испугался, ибо мысли его сейчас были такими, о которых вслух говорить было нельзя.

— Ну так как? — положив локти на стол, спросил Маленков.

— Что вы имеете в виду?

— Честно перед партией будем говорить?

— Честно. Но я не знаю, о чем.

— Не знаешь!.. Уже не знаешь! — испытующе, тяжело взглянул на Курбатова Маленков. — Будто ты не

знаешь, что Родин и друг твой Колчин изолированы?..

— Слышал, но не знаю, почему...

— Будто бы?..

— Да, не знаю, — твердо ответил Курбатов.

— Они арестованы как враги народа, как сообщники ленинградских заговорщиков... Ты слышал о «ленинградском деле»?

— Нет, не слышал, — ответил Курбатов. «Ведь это не позорит меня как члена партии, что я утаил слух, переданный Колчиным. Я и в самом деле не знаю этого дела», — думал он.

— На пленуме услышишь. Сейчас ты мне подробно должен рассказать о вражеской деятельности Родина, Колчина и других руководителей вашей области.

— Я о такой деятельности не знаю, — твердо заявил Курбатов.

Маленков снова тяжело взглянул на Курбатова; в его свинцово-тусклых глазах загорелся недобрый огонек. Складки кожи на лице напряглись, застыли. Лицо его стало похоже на маску.

— Значит, та-ак... — протянул Маленков. — Ишь ты, какой Иван, не помнящий родства.

Вдруг, сверкнув глазами, он ударил ладонью по столу.

— Не знаешь? Или не хочешь знать? Хорошо! — с угрозой в голосе сказал он. — Твое дело. Только... у нас и не такие начинали говорить...

— Но я же в самом деле ничего не знаю! — запальчиво сказал Курбатов. — Здесь какая-то ошибка.

— Ошибка... Сам Родин и этот твой Колчин во всем признались... А ты — ошибка!

— Не может быть! — вырвалось у Курбатова.

— Ты, что Курбатов, забыл, где находишься?.. Я говорю, что враги сознались, а ты не веришь!.. ЦК партии не веришь! После этого нам с тобой говорить больше не о чем.

Маленков указал Курбатову на дверь.

Курбатов не стал искушать судьбу, встал с кресла и пошел к выходу.

«Теперь, значит, всё... — подумал он, шагая по коридору. — Но не могу же я говорить то, чего не знаю. Меня никто не убедит, что Родин и Колчин — враги народа. Не боюсь я. Перед партией я чист...»

До начала пленума Курбатов бродил по малолюдным улицам города, горестно переживал встречу с Маленковым, почти не веря, что такая встреча состоялась. К шести вечера Курбатов пришел в зал заседаний пленума. Ему удалось найти свободное место у боковой двери, недалеко от президиума.

Пленум открыл второй секретарь обкома. Он сразу предоставил слово Маленкову. На трибуну вышел невысокий, тучный, с выпирающим животом, человек. У него было желтое нездоровое лицо с мешками под глазами. Волосы были зачесаны на пробор.

Взойдя на трибуну, Маленков окинул холодным взглядом сидящих в зале. Неторопливо открыв папку, он стал читать подготовленный доклад.

— Руководство Ленинградской партийной организацией, действуя методами Зиновьева и Каменева, пыталось создать средостение между Центральным Комитетом и Ленинградской партийной организацией. Под видом Всероссийской торговой ярмарки, организованной в Ленинграде, они пытались создать всесоюзную тайную заговорщическую организацию. Возглавили эту организацию ленинградские руководители и к ним примкнул кое-кто из Москвы. Корешки этой заговорщической организации сейчас обнаруживаются во многих областях страны. Такие корешки были обнаружены и в вашей областной организации. Но сейчас они обезврежены. Партия вот им, — показал он на Гаревского, — должна сказать спасибо. Они разоблачили и изолировали заговорщиков.

Маленков читал доклад монотонным голосом. Его слова тяжелым камнем ложились на сердце Курбатова.

В своем докладе Маленков не привел ни одного факта вражеской или антипартийной деятельности как ленинградских руководителей, так и местных областных работников. И такой доклад не убеждал Курбатова. Вспоминая Родину и Колчина, он не мог верить словам, которые бросал в притихший зал секретарь Центрального Комитета.

Начались прения. Первыми выступили люди, желавшие угодить начальству и, воспользовавшись разразившейся бурей, половить рыбку в мутной воде. С чув-

ством гадливости слушал Курбатов выступление Егорова — заведующего промышленным отделом обкома. Он пытался «разоблачить» Родину и Колчина. Того Колчина, под руководством которого проработал почти пять лет.

Курбатов демонстративно отвернулся от оратора и стал разглядывать президиум. Вдруг он встрепенулся: в глубине президиума он увидел Баранова и Кленова. «Может быть, мне показалось?» — подумал Курбатов. Но нет, это сидели именно они.

Еще в 1937 году крайком был ликвидирован, и Баранов стал работать секретарем обкома партии, а Кленов председателем облисполкома. После восемнадцатого съезда партии коммунисты не выбрали Баранова и Кленова в обком, и ЦК перебросил их на Урал, на небольшую хозяйственную работу. Видимо, сейчас Маленков вспомнил о них и снова привез в область.

Пока выступали ораторы, Маленков несколько раз вызывал в президиум Гаревского, выслушивал его шепот и улыбался самодовольной улыбкой. И это тоже было неприятно Курбатову.

После перерыва первому слово в прениях дали Курбатову. Скрипя протезом, опираясь на палочку, он заковылял к трибуне. Маленков искоса посмотрел на него и насторожился.

— Товарищи! — прерывающимся от волнения голосом начал Курбатов. — Я не знаю и не могу говорить о том, что произошло в Ленинграде... Я там не бывал, но Ленинградскую организацию я всегда уважал и уважаю, ибо она являлась и, надеюсь, будет являться передовым отрядом нашей партии.

— Поконкретнее, — бросил реплику Маленков.

Курбатов посмотрел в его сторону и продолжал:

— Раз имеется постановление ЦК, то мы... то я целиком ему верю, ибо все мы с малых лет воспитаны в полном и беспрекословном доверии нашему ленинскому ЦК...

— И сталинскому! — крикнул Баранов.

— А по-моему, товарищ Баранов, это одно и то же, разницы я не вижу... Очевидно, — продолжал Курбатов, — в Ленинграде отдельные руководители сошли с партийных рельсов и скатились под откос в болото,

ко всем тем, кто когда-то пробовал выступать против партии и ее ленинского ЦК. Здесь товарищ Маленков как бы благодарил товарища Гаревского, то есть органы госбезопасности, за то, что они разоблачили ленинградские дела. А я не совсем согласен с товарищем Маленковым... Какая же это заслуга? Враги сумели организовать всесоюзную заговорщическую организацию. Почему, спрашивается, наши органы госбезопасности допустили это?..

— Но, но, осторожнее! — крикнул Гаревый.

— ...Органы безопасности — это кость от кости нашей партии, и в своей среде, тем более на пленуме обкома и в присутствии секретаря ЦК, мы можем и должны их критиковать...

— Только не ты! — снова прервал Гаревый.

Курбатов взглянул на его бледное, перекосившееся от злости лицо и продолжал:

— ...Итак, по существу: возможно, в Ленинграде действительно запутались одиночки, а Ленинградская организация...

— Видали? «Запутались!» — послышался голос Баранова.

— ...здоровая и является оплотом ЦК; впрочем, об этом говорил и сам докладчик. До меня уже многие выступали, и некоторые — к их числу прежде всего относятся Егоров — пытались задним умом вскрывать якобы антипартийные и вражеские действия Родина и Колчина, но Егоров, как и другие, не привел ни одного конкретного факта их антипартийной и вражеской деятельности.

— Вот ты какой! — не то удивленно, не то гневно бросил реплику Маленков.

— Он всегда был такой... — откликнулся Баранов.

— Я прошу меня не перебивать, — попросил Курбатов. В зале воцарилась тишина, и он продолжал:

— Родину ставится в вину только поездка в Ленинградский обком партии, а о Колчине вообще никто не привел ни одного факта. Я мысленно перебирал все годы, которые работал под руководством Родина и Колчина, и прямо скажу, что ни одного, даже косвенного, факта их антипартийной деятельности не могу припомнить. Может быть, я действительно настолько потерял партийную бдительность...

— Это вернее! — крикнул Баранов.

— Ты лучше расскажи, как ты раньше в ЦК ездил и там с Кузнецовым миловался, как расхваливал его, — бросил Егоров.

— Пустой, подленький ты человек, Егоров, — спокойно сказал Курбатов. — А Кузнецов, между прочим, произвел на меня, как коммунист и как руководитель, очень положительное впечатление... Ты доволен, Егоров? В заключение скажу, что лично для меня много непонятного на нашем пленуме. Но я верю партии и знаю, что правда всегда восторжествует. На днях мне один старый большевик очень хорошо сказал: «Есть у нас одна-единственная правда — правда нашей ленинской партии, правда нашего огромного общечеловеческого дела».

Курбатов кончил говорить и, при полном молчании зала, сошел с трибуны и сел на свое место...

Когда пленум окончился, все медленно и как бы нехотя стали расходиться. Лица у членов обкома были сосредоточенные, замкнутые, словно бы и они чувствовали себя виноватыми в том, что произошло. Курбатов только что вышел из зала, как к нему подбежал майор госбезопасности. Вскинув руку к козырьку, он обратился к нему:

— Курбатов ваша фамилия?

— Вы не ошиблись! — стараясь быть спокойным, ответил Курбатов.

— Товарищ генерал-майор Гаревой ждет вас... Машина у подъезда...

«Вот оно, начинается», — тревожно подумал Курбатов.

Уже в машине он спросил у майора:

— Как я считаюсь — арестован или нет?

— Генерал, очевидно, хочет с вами поговорить... — ответил майор.

— Разве Гаревой генерал? — спросил Курбатов.

— Сегодня получен приказ о его производстве...

Майор провел Курбатова в приемную Гаревского, что-то шепнул на ухо адъютанту и вышел.

Прошел час, второй, третий. Приемная опустела, адъютант ушел, а Курбатова никто не вызывал. Казалось, о нем совершенно забыли. Но Курбатов знал, что его пропуск вместе с паспортом майор отнес в кабинет

Гаревого. «Значит, Гаревой знает, что я здесь и ожидаю приема. Знает и заставляет ждать!..»

Только во втором часу ночи, ровно через пять часов, дежурный адъютант попросил Курбатова зайти в кабинет.

Гаревой встретил его учтиво. На нем был новый, с иголки, мундир генерала. «Очевидно, — подумал Курбатов, — форма была сшита заранее».

Вертя в руке паспорт Курбатова, Гаревой сухо сказал:

— У тебя, секретарь, было время подумать о своем поведении, о своих прошлых делах...

«Куда он клонит? — тревогой подумал Курбатов. — О партийных делах я с ним говорить не буду».

— Если я не арестован, то о внутрипартийных делах с вами я говорить не буду. Вы очень молодой член партии и можете в этих делах не разобраться.

Эго была уже грубость, но Курбатов сознательно допустил ее. По лицу Гаревского пробежала туча, губы его искривились в деланной улыбке. Сейчас он очень напоминал белогвардейского поручика Ярового из пьесы «Любовь Яровая», которую Курбатов видел в Москве во МХАТе.

«Д-да, — подумал он. — Такие люди, как Гаревой, самого Карла Маркса по грязи за бороду протаскают, лишь бы за эго их похвалили».

На столе у Гаревского зажглась сигнальная лампочка, и он взял трубку одного из множества телефонов.

Лицо его сразу расплылось в улыбке:

— Хорошо, хорошо, буду ждать... — Гаревой бережно повесил трубку на рычаг.

— Так вот... — сказал Гаревой и снова взял трубку одного из телефонов.

— Да, да, у меня!.. Обязательно передам... — прокричал он в трубку и бросил ее на рычаг.

— Так вот, Курбатов, ты еще не арестован, но можешь быть арестован. Материалов для этого у нас достаточно... И не только Родин... Помнишь, ты приходил ко мне и брал под защиту финского шпиона?

— Но вы же Киуру выпустили... — не скрывая удивления, заметил Курбатов. — Он давно уже на заводе работает...

Лицо Гаревского выражало презрительное равнодушие.

— А ты ведь не знаешь, для чего его выпустили... В общем так, — посмотрел на ручные часы Гаревой, — завтра в десять утра зайдешь в партколлегия. Советую тебе остаток ночи подумать над своим поведением... Лучше будет, если честно, по-партийному, обо всем расскажешь в партколлегия, а не у нас. Когда у нас придется говорить, плохо будет, очень плохо... Ты не думай, что если ты инвалид войны, так тебе скидка...

Гаревой подписал пропуск на выход и подал его вместе с паспортом секретарю горкома.

Курбатов молча взял свои документы и, едва передвигая ноги от усталости и нервного напряжения, вышел из кабинета.

В приемной Гаревского адъютант велел ему зайти в комнату восемь, к следователю по особо важным делам.

Постучавшись в дверь, Курбатов зашел в комнату. За столом сидел майор, он что-то писал.

— Можно?

Майор поднял голову и посмотрел на посетителя. Курбатов сразу узнал его. Это был Семенков. Тот самый Семенков — анонимщик и трус.

— Прошу, — скрипучим голосом сказал Семенков и показал на кресло у стола.

Курбатов сел. Наступило молчание.

— Значит, встретились, — с нотками злорадства в голосе, процедил сквозь зубы Семенков.

Курбатов промолчал.

— А знаешь, секретарь (этот переход на «ты» перерезнул Курбатова), я очень интересуюсь нашей встречей тогда в лесу, на фронте. Мне до сих пор не ясно, почему ты, оставив разведчиков в лесном сарае, с одним только солдатом ушел в деревню, занятую фашистами? Что ты там делал? У кого ты там был?

Эти вопросы и особенно тон, каким они были заданы, взорвали Курбатова и он, вскочив с места, крикнул:

— Это... знаете... называется подлостью! — но в это время зазвонил телефон, и Семенков спокойно снял трубку.

— Хорошо, товарищ начальник. Есть, товарищ генерал-майор!

Семенков взял уже подписанный пропуск Курбатова и, подавая его, ехидно улыбнулся:

— Вот, можете идти, пока что... Но мы еще встретимся, ведь я ничего не забыл, Курбатов.

Огромной силой воли Курбатов сдержал себя и, взяв пропуск, вышел в коридор.

Мартовская ночь была темная, морозная, небо густо усеяно яркими звездами. Луна уже зашла, но из-за горизонта еще бросала на небо бледный свет. Курбатов расстегнул ворот рубашки, стащил с себя галстук и сунул его в карман.

Мороза он не чувствовал. Он всё еще никак не мог опомниться, не мог понять, что же такое с ним и вокруг него происходит...

42

Утром бледный, с синевой под глазами, Курбатов едва надел на стертую, припухшую култышку протеза, не позавтракав, направился в партколлегию.

Было скользко, и он шел совсем тихо и осторожно. Огнем горела натертая култыга. Болела нога, которой давно уже не было. Но Курбатов упорно шел вперед и думал: «Кому какое дело до моих болей; раз вызвали к десяти, то и поспешай».

В приемной оказалось много народу, но знакомых никого не было. Курбатов сел на стул.

Через два часа его вызвали к секретарю партколлегии. В кресле сидел сухонький, невидный человечек, с беспокойными глазками, отягченными белесыми ресницами. Таких людей в народе называют заскребышами. Курбатов не знал его фамилии, ибо секретарь, привезенный Маленковым, работал всего лишь второй день.

— Садись! — отрывисто скомандовал секретарь. — Фамилия моя Стариков, если не знаешь...

Курбатов сел на стул, посмотрел на секретаря и невольно улыбнулся. «Да, — подумал он, — кляча и в золотой узде не конь». Эту поговорку он запомнил еще со времен своей юности. Но у секретаря совер-

шенно неожиданно оказался густой, раскатистый голос.

— Ты Курбатов? — спросил Стариков таким голо- сом, точно перед ним сидел глухой.

— Да, я! — ответил Курбатов. Он решил держаться замкнуто и отвечать только на вопросы. Он боялся, что разгорячится и язык его тогда раскатится, как дровни, и потащит за собой лошадь.

Курбатов внимательно и пристально посмотрел на Старикова; тот не выдержал взгляда и отвел глаза в сторону. Всё еще глядя в сторону, Стариков начал говорить:

— Ты, Курбатов, должен помочь нам в окончатель- ном разоблачении антипартийной вражеской деятель- ности Родина, Колчина и других. Ты, очевидно, многое знаешь...

У Курбатова нарастало раздражение, но он старал- ся сдержать себя и быть спокойным. Глядя на Стари- кова, он тихо ответил:

— Ни одного факта антипартийной или вражеской деятельности я указать не могу, потому что я не заме- чал такой деятельности, а выдумывать, говорить не- правду, не научен.

Лицо Старикова выражало полную невозмутимость, а в голосе даже появилась ласковая нота:

— Ты думаешь, такое твое поведение достойно зва- ния коммуниста?

— Достойно, — спокойно ответил Курбатов. — Ибо коммунист при всех случаях и всегда должен партии говорить правду.

— Ах вот как! — будто удивляясь, откинул назад голову Стариков. — Хорошо, о Родине и о других ты не знаешь; тогда о своих антипартийных делах рас- скажи...

— У меня не было таких дел, — ответил Курбатов, едва сдерживая готовое прорваться негодование.

— Не было, говоришь? — протянул иронически Ста- риков.

— Не было, — твердо ответил Курбатов.

— Та-ак! Значит, сам говорить не хочешь? — угро- жающе повысил голос секретарь.

— Мне не о чем говорить.

Злость с новой силой закипела в нем, но он сдер-

жал ее, подумав: «Пока человек владеет собой, он сильнее своей судьбы».

— Поведение, достойное коммуниста почти с тридцатилетним стажем... А ты забыл, черт тебя возьми... — вдруг ударил кулаком по столу и вскочил с места Стариков.

— Вы на меня не кричите! — отрезал Курбатов. — Я Родину и Колчину не родня, в гостях у них не бывал, а на работе не видел и не чувствовал их вражеских действий.

Стариков подавил вспышку гнева.

— Ладно, ладно! Наша Манька вашей Саньке двоюродная Прасковья, — ухмыльнувшись, пытался он пошутить. — Расскажи-ка лучше, как ты не разрешил редактору газеты печатать статью о безобразиях на фабрике, где директором твоя... твоя Чайка работает?

«И это дошло до него! — подумал Курбатов. — Да, дела... Должно быть, взял из доноса».

— Чайка, во-первых, не моя. Она жена директора тракторного завода. А потом — если вы кричать на меня будете, то отвечать я не стану и уйду.

— Ну-ну, не ершись. Это-то ведь факт. Факт, что ты отказался разговаривать и не принял по этому вопросу Сорина из главка. Факт?

Курбатов молчал. Он почти перестал ощущать, где находится. Сердце сжималось от боли, начинался приступ стенокардии; пустыми глазами смотрел он на Старикова и не в силах был произнести ни слова. Стариков почувствовал состояние Курбатова, но принял это за растерянность после оглашения фактов, взятых из анонимного письма.

— Ну так вот, — сказал он после длинной паузы: — сегодня в шесть бюро. Ты, наверно, знаешь известную английскую поговорку: можно проиграть все сражения, за исключением последнего. И бюро это будет твоим последним сражением. Если одумаешься, то можешь многое поправить, а если нет, то не взыщи, на себя пеняй.

Только сейчас Курбатов понял, почему его не арестовали там, у Гаревского или у Семенкова. «Они надеются, что я в партийной коллегии буду сочинять им небылицы о бывшем, якобы вражеском, партийном руководстве».

Курбатов с трудом встал. Опираясь на палку, он

вышел в приемную, достал из кармана бутылочку с нитроглицерином и лизнул пробку. Через несколько минут ему стало легче, и он вышел на улицу. До заседания бюро оставалось еще три часа.

Пройдя полквартиры, Курбатов вернулся и поднялся во второй этаж здания обкома. Здесь в коридоре он сел в изнеможении на деревянный диван и с наслаждением вытянул ногу, но культя в протезе продолжала гореть огнем. Мимо дивана, на котором сидел Курбатов, проходили люди, многие из них были ему знакомы, но они делали вид, что не замечают его. Несколько раз мимо прошел Егоров и тоже не поздоровался.

Увидев Егорова, Курбатов почувствовал, что опять закипает, как старый радиатор. «Ведь совсем пустой человек. Но везет ему, прямо на дрожжах поднимается. Вот ведь бывает же так. У одних, что называется, и шило бреет, а у других и бритва неймет. Эх, люди, времена, события...»

От решения бюро обкома он ничего хорошего для себя не ждал. «В самом деле, — рассуждал он, — не могу же я говорить того, чего не знаю. Не могу клеветать на людей, которых и сейчас считаю настоящими большевиками. Происходит какая-то грандиозная ошибка, но я не знаю, в чем она...»

И всё же — странное существо человек — Курбатов продолжал в глубине души надеяться на благополучный исход, хотя рассудок ясно и убедительно доказывал, что всё уже кончено.

Без четверти шесть Курбатов вошел в приемную. Бюро обкома заседало давно. Услышав в открывшуюся дверь голос Баранова, Курбатов подумал: «Песня моя спета. Сегодня Баранов за всё прошлое возвратит мне сторицей. Не иначе как после бюро пригласят меня в гости к Гаревому...» Он подготавливал себя к самому худшему, ибо на что-нибудь другое надеяться ему было нельзя.

«А как же Таня, Оленька? — подумал Курбатов, и сердце его защемило пуще прежнего. — Сможет ли Оленька понять всё, что произошло со мной? Нет, пожалуй, не сможет. Хотя ей семнадцать лет, но она всё-таки не поймет, что ее отец ни в чем не виновен... А Таня?..»

Его пригласили пройти в зал.

Поезд пришел в Новогорск вечером. Было уже темно. Подмораживало. Стояли крепкие мартовские вечерние заморозки, но в воздухе уже носились запахи весны, пахло тающим снегом.

Курбатов за зданием вокзала нашел попутную лошадь и в розвальнях поехал домой.

«Вот, на одной лошадиной силе еду, — грустно подумал он, — а два дня назад катил отсюда на «Победе»... Ехал в областной город секретарем горкома партии, а возвращаюсь обратно беспартийным и безработным...»

И снова — в который раз — перед его взором встала унижительная сцена на бюро обкома...

«...Давай сюда партбилет!» — услышал он острый, как нож, возглас Баранова. И Курбатов понял, что всё свершилось, что он исключен из партии. Дрожащими руками достал он партбилет из бокового кармана и неторопливо стал вынимать его из тисненой кожаной обложки. «Вместе с обложкой давай, теперь она тебе не понадобится!» — крикнул Баранов, протягивая руку. Подавая партбилет, Курбатов как можно спокойнее произнес: «Нет. Обложка мне еще будет нужна. И думаю, что скоро. Я верю в свою партию. Верю, что восторжествует ленинская правда и это будет скоро!» — «Можешь идти!» — услышал он грубый окрик Баранова. Курбатов взглянул на сидевших за столами, увидел улыбки Старикова и Егорова и медленно пошел к двери.

Так это было... Постепенно его мысли стали переключаться на предстоящую встречу с близкими...

Постояв у входных дверей своего дома, чтобы собраться с мыслями, Курбатов стал подниматься на третий этаж. С замирающим сердцем позвонил. Скоро хлопнула защелка, зазвенела цепочка, и Таня открыла ему дверь. Сильно хромая, вошел он в прихожую. Заперев дверь, Таня подбежала к нему и в испуге отпрянула:

— Яша, что с тобой? Ты болен?

Курбатов, обняв жену, молчал. Желая шуткой рассеять тревогу жены, он сказал:

— Да. Немного заболел, но это ничего... От такой болезни не умирают...

— Я уже немного слышала. Слащев мне говорил... Так это правда, Яша, да? — И Таня заплакала.

Курбатов едва сдержался, чтобы не заплакать вместе с женой. Таня скоро опомнилась:

— Яшенька, прости... Идем в комнату. Снимай скорее протез, ведь опять натер? — И Таня стала расстегивать ремни протеза.

Курбатов снял протез и лег в постель. Таня посмотрела на посиневшую и вспухшую культю, заохала и предложила вызвать врача.

— Не надо, Танюша, твоими заботами через два-три дня всё пройдет... А где Оля?

— Она в школе задержалась.

— Она ничего не знает?

— Нет. Я ей не говорила. Страшно, Яшенька.

Курбатов промолчал.

Пока Таня хлопотала с примочками, компрессами и бинтами, Курбатов заснул.

— Бедный мой, — тихо прошептала Таня, поцеловала мужа в голову, заботливо укрыла его одеялом, погасила свет и вышла из комнаты...

В передней раздался звонок, Таня открыла дверь. Вошел Кият. Он был бледен от волнения. Кивнув в сторону комнаты, он шепотом спросил:

— Дома?

— Дома. Но измучился и только что заснул...

— Тогда пускай спит. Сон — это лекарство... Плохо, да?.. — спросил он Таню.

— Очень плохо. Исключили...

— Этого от них надо было ожидать. Я-то понимаю, как это тяжело... До войны сам был в его шкуре...

— Может, разбудить? — нетвердо сказала Таня.

— Нет, нет, пускай отдыхает... Я еще раз зайду... Кият, постояв минуту, молча ушел.

Проснулся Курбатов рано, но, чтобы не беспокоить жену, продолжал лежать с открытыми глазами. Он углубился в свои невеселые мысли: «Зачем я проснул-

ся? Хорошо бы уснуть и не проснуться. Тогда бы мозг перестал мыслить, чувства остыли, желания исчезли, и я бы погрузился в небытие». Курбатов даже испугался этих мыслей. Да, он не мог перестать думать о том, что произошло. Не мог убедить себя, что с ним поступили правильно, не мог изгладить из памяти всё то, чем жил четыре с половиной десятка лет... «Всю жизнь я шел по прямой дороге... И вот сейчас... Что же впереди? Пустота?.. Нет! У меня есть цель в жизни, большая цель. Она была и осталась у меня... Ничего, — утешал себя Курбатов, — утонула спасательная лодка, и хоть сил упловца осталось мало, но он сумеет продержаться на воде, пока его не подберут...»

Утром Таня позвонила в партком и сказала Слащеву, что сегодня она не сможет прийти на работу:

— ...Да, приехал... Не спрашивайте ни о чем... Потом... Всё потом...

Таня занялась перевязкой. Она боялась смотреть на мужа. Боялась, что снова расплачется. Молча они позавтракали.

Курбатов притянул жену к себе, нежно поцеловал в оба больших соленых глаза и стал успокаивать:

— Не надо, Таня, не нервничай, я твердо верю, что всё будет исправлено...

В комнату неуверенно вошла Оля. Курбатов дал знак Тане, чтобы она оставила его наедине с дочерью. До этого Курбатов много раз думал над тем, как он расскажет дочке о происшедшем, — и всё же сейчас он не находил нужных слов.

Оля робко присела на тахту, где лежал отец.

— Ну вот. дочка, хочу тебе сказать... сказать...

Оля удивленно посмотрела на отца своими большими круглыми глазами:

— Я слушаю, папочка...

— Со мной произошло большое несчастье — (в глазах Оли появился испуг). — Но ты не пугайся, дочка, оно скоро пройдет...

— Что случилось, папочка?..

— Видишь ли, Оля... может, ты этого сейчас и не поймешь, но меня, Оля, исключили из партии...

— Тебя из партии!.. — воскликнула Оля.

— Да, дочка... Совесть моя чиста, я не совершал никаких непартийных поступков. Просто допущена во-

пиющая несправедливость... Ты, наверное, слышала о так называемой ежовщине? Ну так вот, и сейчас происходит нечто похожее. Но, я уверен, ничего у них не выйдет! Ты еще вспомнишь мои слова!..

— Что же теперь будет с гобой, папа? Как тебе должно быть тяжело! — Оля всплакнула.

— Крепись, доченька, всё будет хорошо...

Оля вытерла слезы:

— А с мамой что теперь будет, со мной?.. Я ведь комсомолка... — растерянно проговорила она.

«Неужели не поняла меня дочь? Неужели не поверила в мою невиновность?» — подумал Курбатов и, стараясь быть спокойным, ответил:

— Думаю, с вами ничего не случится... Если ты веришь в меня, то тебе нечего бояться.

Оля молчала. Курбатов, с ноткой горечи в голосе, спросил ее:

— Выходит, Оля, ты не веришь в то, что я невиновен?

— Ой, нет, папа... Прости меня, дуру. Я всё понимаю. Просто у меня не хватает воображения представить такое большое несчастье, что произошло с нами... Ты будешь добиваться восстановления, папа?

— Конечно, буду. Ничего, время свое возьмет!

Вошла Таня, испуганно посмотрела на мужа, на дочь. Курбатов, уловив ее взгляд, сказал:

— Оля теперь всё знает...

— Ну что же мы теперь будем делать? — Таня, присев на тахту рядом с Олей, обняла ее.

— Как что? Работать будем, жить будем. Скоро Оленьке в вуз поступать надо. Ведь мы с тобой старики уже, Танюша... У мудрого царя Соломона на кольце было выгравировано: «Всё проходит». Ну и мы с тобой тяжелые времена переживем, пройдет всё это, пройдет... Чем мы хуже древних царей?

Таня, улыбнувшись, тихо сказала:

— Но ты не забывай, Яша, что легче получить то, чего не имел, чем вернуть то, что потерял.

— Я не думаю, Таня, что потерял свою партийность. Баранов отобрал у меня только партбилет, а не душу. А партбилет мне возвратят, вот увидишь, непременно возвратят.

Таня провела рукой по волосам Курбатова и сказала ему:

— Знаешь, дорогой... Неделю назад я тебе хотела рассказать, но боялась, что ты разволнуешься...

— Пустяки... говори...

— Дней десять назад исключили из партии и арестовали второго секретаря горкома Дозова.

— Дозова!

— Да, Дозова, того самого, который с тобой работал.

— Но за что же? Ведь он и комара не обидел. Такой тихоня. Всего боится.

— Исключили его за связь с врагами народа и за то, что он не помог в раскрытии якобы вражеской деятельности...

— Это значит — моей! — всё более удивляясь, сказал Курбатов.

— Понимай, как хочешь. Но два дня назад был суд. Судили Дозова за перерасход двух тысяч рублей на украшение города в Октябрьские праздники. И за это ему дали пять лет. Он уже в лагере сидит. Вчера к нему ходила жена на свидание. Рассказывает, что он очень похудел и часто плачет...

— Ну и дела! — воскликнул Курбатов. — Что же происходит? Не пойму, убей не пойму. Ведь меня-то никто официально не признал врагом народа, а людей, которые со мной работали, арестовывают!

— Да, вот так, Яша, — тихо сказала Таня.

— Перерасход средств на украшение города, — разве это повод для того, чтобы на пять лет осудить человека! Это уже просто чудовищно!

Курбатов пошел работать на фотохимическую фабрику экономистом. Это была должность, в которой еще совсем недавно трудился покойный Чухалин. Чайка сама предложила ему эту работу. Она была глубоко потрясена всем, что с ним произошло.

Рабочие и сотрудники относились к Курбатову подчеркнуто вежливо, чутко и внимательно, стараясь в мелочах оказывать ему различные знаки внимания.

А у Тани не ладилось на тракторном. Хотя Кияг и старался оградить ее от неприятностей и лишних переживаний, но секретарь парткома Слащев оказался большим перестраховщиком. С партийной работы Таню сняли. Она перешла работать в цех, точила детали для тракторов новой конструкции, выпуск которых исчислялся уже тысячами. Таня глубоко переживала случившееся, но скрывала от мужа и дочери свои чувства. Только раз она не удержалась, и у нее вырвался вопрос:

— А как ты думаешь. Яша, у тебя на этом всё кончилось?

— Ручаться трудно, Танюша; я помню, что есть Гарево. Всё возможно, и «черный ворон» возможен...

— Ой, Яша, не надо! — испуганно вскрикнула Таня и бросилась мужу на шею.

— Не бойся, родная; может, и минует меня эта чаша... Если сразу не взяли, то сейчас им нет смысла. Успокойся лучше и прочти-ка мою апелляцию в Комитет партийного контроля при ЦК партии...

В одну из бессонных ночей Курбатов почувствовал сильную боль в сердце, которая разлилась до лопатки и до локтя левой руки. Стиснув зубы, он терпел эту боль. Потом не выдержал и застонал.

Таня сразу проснулась:

— Плохо, Яша, да?

Курбатов не ответил; боль не отпускала, и он застонал еще громче. Таня прыгнула с кровати и включила свет. Курбатов, бледный, с выступившим на лице потом, держась за грудь, сидел на кровати; он с усилием заставил себя проговорить:

— Ну зачем ты встала, зачем? Это приступ какой-то, он скоро пройдет...

Взглянув на мужа, Таня поняла: случилось что-то серьезное. Она немедленно вызвала «Скорую помощь». Приехал санитарный автобус.

Прослушивая Курбатову, врач забеспокоилась: уложив больного в постель, она сделала обезболивающий укол.

В прихожей Таня спросила врача:

— Что-нибудь серьезное?

— Да, и очень... По-моему, это инфаркт миокарда. Полный покой и изоляция от всех волнений и, конечно,

постельный режим... Утром приедут, сделают электрокардиограмму... Придет сестра, сделает укол.

Таня сильно забеспокоилась. Она знала, что от этой болезни, проболев всего один день, умер Чухалин; правда, он был глубокий старик, но болезни с возрастом мало считаются.

Таня разбудила Оленьку, рассказала ей о состоянии отца. Утром, оставив дочку дежурить у постели больного, она ушла на завод, чтобы взять отпуск для ухода за мужем.

Неделю Курбатов находился на грани жизни и смерти. Таня и Оленька не отходили от его постели.

Но вот кризис прошел, и больной стал медленно поправляться.

Первым навестил его Алешин. Он собирался уезжать из Новогорска в Ленинград, где надеялся скоротать свои последние дни, и пришел проститься.

— Не горюй, поправишься, — утешал Алешин. — Я, брат, два инфаркта перенес, а вот, как видишь, всё еще прыгаю, даже в путь-дорогу собрался. Тебе тоже советую: поправишься — уезжай из Новогорска. Разнообразие, оно, брат, то же, что лечение...

— Нет, дядя Павел, из Новогорска я никуда не уеду. Здесь всё создавалось на моих глазах. Из грязного, глухого поселка Печаткино вырос город в пятьдесят тысяч жителей. А заводы, а дома? Во всем этом есть частица моего труда, моей жизни.

— Ну-ну, как знаешь... Главное-то не в этом. Главное — не потеряй веру в наше дело, а время, как снег, запорошит любой след, потушит любую боль. Бывай, Яшка, и не забывай наш разговор... — Алешин стал прощаться. — Когда встанешь, приезжай в Ленинград... Знаешь, люблю я этот город... Пускай сейчас чернят его, а Октябрьская революция в нем началась... Подожди, встанет всё на свои места, и Ленинград себе прежнюю славу вернет... Я уж знаю...

Алешин обнял Курбатова, расцеловался с Таней и тихо ушел.

Всё еще не было ответа на апелляцию.

Правда, Курбатов, как только заболел, послал в Москву письмо и просил не вызывать его, пока он не поправится. «В самом деле, — утешал себя Курбатов, — ведь там не знают, что я поправляться начал.

А самому мне и сейчас еще нельзя ехать в Москву. Вон врач какие страсти говорит, что совсем на инвалидность надо переходить и год нельзя работать».

В один из дней, когда Курбатов сильно захандрил и лежал дома один, зашли его навестить Кият и Чайка. Курбатов очень обрадовался неожиданному приходу друзей:

— Не забыли болящего — молодцы! А я тут совсем от скуки помираю. Настроение такое — хоть вешайся.

— Ну, настроение твое мы вмиг поправим. Я пода- рочек с собой принес. — Кият с хитровой улыбкой вы- тащил из кармана брюк бутылку.

Чайка так и ахнула:

— Я и не заметила, когда он успел захватить.

— Он всегда был такой, вы просто еще не знаете его. Но раз бутылка есть, — выпить надо... — повеселев, сказал Курбатов. — Валерия Павловна, хозяйничайте... В буфете рюмки, а в кухне где-то клубника и сметана...

— Но зам же нельзя! — покраснев, перебила Чайка.

— Если послушать медиков, то мне теперь ничего нельзя. Я сейчас вроде живого покойника.

— Да пошли ты их всех, Яшка... — с деланным воз- мущением сказал Кият и стал откупоривать бутылку.

— Ну, хорошо, уговорили. Только немного.

Чайка поставила на стол рюмки и принесла из кух- ни тарелку спелой, крупной клубники.

— Хандрить я стал, друзья. Скучно бывает мне, чер- товски скучно, — бодрым тоном сказал Курбатов.

Кият с веселинкой в глазах посмотрел на него и про- цедил сквозь зубы:

Для веселия

планета наша

мало оборудована,

Надо вырвать

радость

у грядущих дней...

— На, держи рюмку, давай за радость... И за твое здоровье! — Кият опрокинул рюмку.

Курбатов и Чайка тоже выпили.

Валя, посмотрев на свет бутылку, снова налил. Под- нимая вверх рюмку и чокаясь, он сказал:

— Ну, а теперь, Яша, за главное!..

— Пожалуй, последнюю. Больше не буду, боюсь. Хорошо еще, Тани нет дома, а то бы она мне...

— Вот видишь, Валя, — с упреком глядя на мужа, сказала Чайка, — говорила я тебе. Мне теперь перед Таней неудобно будет.

— Не волнуйтесь, Валерия Павловна. Чувствую я себя хорошо. Тане мы не скажем. Пускай это останется нашим секретом.

— От жены секретов не должно быть, — улыбнувшись, погрозила пальцем Чайка.

Курбатов смутился и, глядя на Кията, спросил:

— Как по-твоему, Валька?

— Конечно, Лера права, но бывают редкие исключения. Для этого есть у нас веские основания.

— Какие же основания, Валя? — спросил, насторожившись, Курбатов.

— А ведь мы, Яша, к тебе проститься зашли... — раздумчиво сказал Кият.

— То есть? — резко приподнявшись, воскликнул Курбатов.

— Из Новогорска уезжаем...

— Ты не шутишь, Валька? Выкладывай.

— Недавно вызвали меня в Москву, в ЦК, и предложили, как эстонцу, в Таллин на руководящую хозяйственную работу ехать.

Курбатов даже свистнул, услышав такое сообщение. Лицо его потемнело.

— И ты согласился ехать?

— Ты понимаешь, Яша, для меня это, пожалуй, и хорошо. Правда, какой я сейчас эстонец, и язык почти забыл! Но ты ведь знаешь, в Эстонии жила моя семья. Я разыскал двух сестер...

Курбатов бросил взгляд на Чайку, — она сидела отвернувшись и глядела в окно, — и, подумав, ответил:

— Может быть, это к лучшему. Баранов и тебе пока не даст. Он же тебя по довоенному времени помнит, а у Гарезова хватит совести тебя шпионом сделать. А всё же горько это... Трудно мне без вас будет. Вот и Алешин уехал...

— Я еду послезавтра. Лера до конца года останется, пока замену не дадут.

Курбатов не мог скрыть от самого себя: он обрадовался тому, что Чайка остается.

— Жаль, что проводить не сможешь, — вздохнул Кият, — но ничего. Ты к нам в Таллин в гости приедешь...

— Вместе с Таней приезжайте, — добавила Чайка.

— Верно, Яшка! Самым дорогим гостем будешь.

— Приеду... — неопределенным тоном ответил Курбатов.

— Ну, мы пойдем, — поднялся Кият. — Прощай, Яша, давай поцелуемся. А ты тут не вешай головы, бол-
ришь. Помни, что «никто пути пройденного у нас не от-
берет...»

— Ты, брат, меня как пушку зарядил, — притягивая друга к себе и с трудом сдерживая слезы, сказал Курбатов.

Когда Кият и Чайка ушли, Курбатову показалось, что сразу стало пусто вокруг, что его бросили на произвол судьбы. «Но почему бросили? — спохватился он. — Ведь со мной осталась Таня, друг мой, товарищ. И Оленька пока еще здесь. Правда, птенец из гнезда скоро может улететь... Нет, нет, я не один...»

46

Оля пришла с выпускного вечера хмурая. Курбатов и Таня еще сидели у стола за остывшим чайником.

— Чем ты взволнована, доченька? — встревоженно спросила Олю мать. — Случилось что-нибудь?

— Да. И очень неприятное. Я... я... я поссорилась с Юрием Страничкиным...

— Как же это произошло у вас? Расскажи, доченька, — стараясь не выдавать волнения, попросила Таня.

— Я часто с ним в кино ходила... Он помогал мне по математике и по механике... В общем, я считала его хорошим, свойским парнем... Дней десять назад моя знакомая — она в бухгалтерии завода работает — рассказала мне, что у них находится исполнительный лист, по которому Страничкин платит алименты... Я обомлела... И, когда мы встретились, я сразу же спросила его: почему он скрыл от меня, что был женат? Он стал уверять, что ничего подобного... Тогда я ему сказала про

исполнительный лист. Он засмеялся, да и говорит мне: «Так это же не жена, это мать моя, с ума спятила старуха, на родного сына в суд подала....» — «Ты что же, не помогал ей?» — спрашиваю. «Всё как-то денег не хватало. То да сё, после института и одеться надо было, и комнату обставить...» Ну, мама, знаешь, я не выдержала... Разорвала я билеты в кино, повернулась к нему спиной и ушла. Ведь негодяй он, правда?.. А потом я его совершенно пьяным видела. Он пьяным и на вечер пришел. Я от него убежала... Он очень переживает...

Таня вздохнула. Она знала, что Страничкин хороший конструктор, но как человек он ей не нравился, и она была обеспокоена увлечением дочери.

— Я бы, Оля, тоже так поступила... Но ты не увлеклась им, а?

— Он мне нравился очень... А теперь... я как вспомню его мать-старушку, так сразу начинаю ненавидеть его. Да, мама, всё изменилось. Противен он мне...

— Ты права, дочка. Люди, которые забывают своих родителей, не достойны уважения, — взволнованно сказала Таня.

Оля взглянула на отца, смутилась. Курбатов обнял ее за плечи, тихо сказал:

— Говори, Оля, говори; при отце обо всем можешь говорить... Я согласен с мамой.

Олины щеки горели румянцем, в глазах сверкали гневные искорки.

Курбатов со скрытым восхищением смотрел на дочь и вспоминал свою молодость, первое знакомство с Таней, на которую Оленька очень была похожа.

— И чем же всё это у вас кончилось? — спросил он.

— Да ничем; разругались мы снова, и я ему сказала, что не хочу с ним дружить и видеть его.

— Ну что же, может быть, это и к лучшему, — после небольшой паузы сказал Курбатов. — А дальнейшее — время покажет... Ты читала Стендаля, дочка?

— Читала кое-что...

— Ну так вот, Стендаль говорит, что любовь — это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить другому как можно больше счастья. И что в настоящей любви нет места эгоизму... Вот так и мы

с твоей матерью прожили. Она для меня старается, а я для нее. И в этом мы находим счастье.

— Счастье... — задумчиво произнесла Оля.

— Да, счастье, — повторил Курбатов. — Ведь в жизни готового счастья не бывает, его создавать надо... Ну вот, может быть, хватит на сегодня, дочка, умных разговоров?

— Нет, нет, подожди, пожалуйста, папа, — встрепенулась Оля. — Ведь мы с тобой так редко разговариваем по душам. Расскажи о своей молодости, ты так много пережил... — с мягким упреком попросила Оля.

— Хорошо, тогда слушай, — после некоторого раздумья ответил Курбатов. — Мы родились в начале века, и наше поколение было первым выросшим после революции. Нам рано начали доверять... Мы духовно рано созрели. В свои шестнадцать лет мы уже сидели на всяких ответственных заседаниях, а в двадцать уже считались умудренными опытом. Романтикой для нас были овеваны такие слова, как «партиагрузка», «партийная дисциплина», «красный террор», «ЧОН», «комиссар». Мы презирали богатство, мещанский уют. Да что богатство — каждый из нас тогда стыдился надеть хороший костюм или галстук. Кожаная куртка, которую носили комиссары и чекисты, была для нас символом революции. А как мы берегли и холили оружие, которое выдавалось нам в отрядах ЧОНа! Наган или винтовку чистили по несколько раз в день. Днем наган носили в кобуре под кожаной тужуркой, ночью клали под подушку. Мы были всегда голодные, но еще сильнее мучил нас духовный голод, поэтому мы набрасывались на книжки по всем отраслям знания, даже по астрономии. Мы рано пришли в комсомол и так же рано в ленинскую партию... А когда окончилась гражданская война, мы всё же берегли оружие, зная, что оно нам еще пригодится. Началось новое, полное захватывающей романтики, время. На первые комсомольские стройки двинулись десятки и сотни тысяч юношей и девушек. Трудно было, очень трудно, но юность всё победила. Трудно было нам понять нэп, но мы верили Ленину, верили партии. Мы скрипели зубами, когда видели, как частник открывает магазины, рестораны, лавки. И мы старались никогда ничего не покупать у нэпачей... В частных мастерских мы организовывали забастовки моло-

дых рабочих. В деревне мы помогали советской власти прижать кулака. В общем, мы делали всё, чтобы ленинская партия сказала нам спасибо. Мы шли, повинаясь зову сердца. Шли, не зная усталости... Ну вот, я тебе рассказал, дочка, о себе... Даже увлекся...

— Сколько было тогда романтики, папа! — воскликнула Оля.

— Вишь как загорелась! А сейчас, скажу тебе, этой романтики еще больше!..

— Да где же она? — робко спросила Оля. — Я очень много думаю об этом, папа, и всё-таки... Я, конечно, понимаю романтику трудовых подвигов, но как мне хотелось бы пожить в ваше время!..

— Да оглянись ты вокруг, Оля! Правда, ваше поколение обходится без наганов, не носит кожаных курток. Их сменили современные пиджаки, красивые, модные платья. Но ведь самое главное, наша романтика, та, о которой ты мечтаешь, осталась. Революция ведь продолжается! Я тебе рассказывал, как мы приходили в ярость, когда частник открывал свой ларек или лавку, как мы помогали выявлять кулака. А у вас другое... Разве нет сейчас тунеядцев, ведущих паразитический образ жизни, бездельников, бегущих от работы, как от огня? Вот вы и помогайте бороться с ними. Ваши комсомольские патрули прямые наши наследники. А на производстве? Разве там не нужны энтузиасты, горячие сердца, крепкие головы?..

Оля задумалась, потом вскочила, подбежала к отцу и прижалась к нему:

— Ой, папа, как жаль, что мы с тобой так редко говорим. Если бы ты знал, как мне дороги вот эти твои слова.

— Да, Оля, я виноват. Не умел находить время. Но если ты хочешь, то сейчас мы с тобой можем чаще беседовать. Я много интересного могу рассказать тебе о нашей комсомольской юности, о моих современниках.

— Я бы еще хотела спросить у тебя, папа... Только ты не подумай, что это пустое любопытство... Расскажи, как вы с мамой поженились?

— Мы? В этом много и лирики и просто смешного. Смешного с точки зрения сегодняшнего дня. Во-первых: мы три года гуляли, приглядывались друг к другу. А потом... Потом дело было так. Я не имел своей комнаты,

жили мы, трое парней, в одной комнате. Кроме корзины, в которой большее место занимали книги, ничего у меня не было. А тут как загорелось: хочу жениться и всё. И мама твоя тоже торопит. Нужно было что-то делать. И вот я решил прямо в губкомове, где я тогда работал, освободить комнату напротив моего кабинета и переехать туда. Так и сделал. Около года жили мы с Таней там. Потом мне дали комнату в коммунальном доме. Вот, Оля, и начали мы жить. Не было у нас состоятельных мамы и папы, не было приданого или наследства, начали с пустого места, и вот живем и, как видишь, неплохо живем... Ну что, удовлетворяет тебя? — Курбатов помолчал и перевел разговор на другую тему:

— Да, кстати, ты, дочка, нам не сказала, где и как ты хочешь проводить свой отпуск.

— Не поехать ли мне с подругой в колхоз? Туда, где я в прошлом году была?.. — Оля задумалась.

— Вот видишь, дочка, а ты говорила — романтики сейчас нет, — Курбатов рассмеялся.

— Ой, папа, нет, это я не потому, что ты говорил... Я сама решила. Туда хорошие ребята едут. А потом — не хочу я с Юрием встречаться... Противен он мне.

47

Шли месяцы. Курбатов поправлялся медленно. Лето было на исходе. Август стоял дождливый и холодный.

В один из августовских дней почтальон принес Курбатову повестку на посылку из далекого города. Курбатов гадал, но так и не догадался, кто отправитель посылки. Сам он на почту пойти не мог, а потому написал доверенность на Таню, и она вечером, после работы, принесла довольно тяжелый фанерный ящик. Когда вскрыли посылку, то обнаружили в ней два бюста, искусно вырезанных из дерева, один — Карла Маркса, другой — Фридриха Энгельса. На обратной стороне каждого из бюстов были выжжены памятные надписи, адресованные Курбатову и Тане. В ящике нашли письмо от Леонида Попова. Читая его, Курбатов вспоминал те далекие дни, когда он лежал в госпитале, свои частые посещения изолятора, в котором так тяжело мучился сержант Ленья Попов.

«Дорогие мои Яков Васильевич и Татьяна Игнатъевна! — писал Попов. — Извините, что за эти годы я ни разу вам не написал. Оправдание для этого у меня только одно — не хотел вас беспокоить. Но я вас не забыл и по гроб жизни помнить буду. Вы, товарищ комиссар, спасли мою жизнь; ведь благодаря вам я стал человеком, а не обузой для всех. Да что там говорить, до знакомства с вами я думал, что уже кончилась моя жизнь, но вы, Яков Васильевич и Татьяна Игнатъевна, заставили меня поверить в жизнь, в свои силы и в то, что я смогу еще быть полезным в этой жизни. Теперь по порядку.

После вас я пролежал в госпитале еще пять месяцев. Сам прочитал подаренную мне Татьяной Игнатъевой книгу Горького «Детство». Она мне очень понравилась и еще больше укрепила мою веру в жизнь. Пригодились мне и инструменты, подаренные Яковом Васильевичем для резьбы по дереву. Еще в госпитале, как только мне стало легче и я начал сидеть, стал вырезать разные безделушки. Потом за мной приехали мама с Любашей и увезли домой. Собес выдал мне кресло-коляску на велосипедных колесах, так что дома, а летом и по улице, я передвигаюсь самостоятельно. С ногами тоже стало лучше, паралич немного отошел, и я теперь на костылях тихонько передвигаюсь по комнате. Одним словом, стал сам себя обслуживать. А поначалу то был что малый ребенок: измучились со мной мама и Любаша.

Сообщаю вам, товарищ комиссар, что мы с Любашей поженились, и у нас уже есть годовалый сынок. Его мы называли в честь вашу Яковом. Теперь я работаю надомником в артели художественных промыслов, правление наше находится в областном городе (до нас это сто километров). Специальность моя — бюсты основоположников марксизма-ленинизма, писателей и ученых. Заказы я получаю от артели.

Живем мы хорошо, Любаша моя — очень хорошая жена, а про маму и говорить нечего. Вначале-то обидно мне было, что я им помочь не могу, но потом, когда стал работать и деньги им отдавать, сразу мне стало легче. Своего сынишку Яшеньку уже начал учить держать в руках резец, — тоже, думаю, резчиком будет.

Если захотите, то опишите мне о своем житье-бы-

тье, о вашем здоровье, Яков Васильевич, и о Татьяне Игнатьевне. Низко кланяются вам моя мама и Любаша, а также все мои родные, которым я про вас рассказал.

С благодарностью и уважением

Ваш Леонид Попов — бывший сержант-сапер».

Таня прочла вслух письмо Попова. Курбатов был рад, что жизнь сапера-сержанта сложилась благополучно. Это письмо взбодрило его и заставило спокойнее относиться и к своему тяжелому положению.

48

В первые дни марта выглянуло солнышко, поливая землю скудными теплыми лучами. В открытую форточку уже врывались запахи наступающей весны. Свесившиеся до окон сосульки таяли с каждым днем. Курбатов включил радио, чтобы послушать последние известия, и вдруг... Забило, закололо сердце: диктор говорил о тяжелой болезни Сталина.

А через два дня, услышав по радио о смерти Сталина, Курбатов крикнул:

— Таня! Сталин! — и, схватившись за сердце, откинулся на подушки.

Из кухни прибежала испуганная Таня; она схватила руку мужа, нащупала пульс — и бросилась звонить в «Скорую помощь». Приехавший врач сделал укол камфары, и Курбатов почувствовал себя лучше. Когда все ушли из комнаты, он предался своим невеселым думам.

Похороны Сталина передавали по радио, и в минуты молчания Курбатов впервые, держась за спинку кровати, встал на ногу, чтобы почтить память того, которого, невзирая ни на что, на все свои тяжелые личные переживания, он любил, которому доверял и кого считал во всем примером. Он стоял на одной ноге и плакал о невозвратной потере.

Всё острее беспокоила Курбатова мысль о том, что теперь будет с партией, кто станет у руководства. Он внимательно, с первой до последней строчки прочиты-

вал «Правду» и «Известия», стараясь найти ответ на волновавшие его вопросы.

Тридцать лет народ связывал с именем Сталина все свои успехи. И если при этом бросалась в глаза чрезмерность восхвалений, то и успехи были велики. Ведь за эти годы отсталая, нищая страна превратилась в могучую державу. Курбатов вспоминал годы своей комсомольской юности, годы, когда комсомольцы развешивали поход за культуру; тогда в одной этой области было восемьдесят процентов неграмотных, а сейчас неграмотного и днем с огнем не найдешь.

С тревогой прочитал Курбатов сообщение о том, что Маленков сменил Сталина на посту председателя Совета Министров. С недоумением и иронической улыбкой вспомнил он, как на похоронах Сталина в своей речи Берия хвалил Маленкова, называя его «талантливым учеником Ленина». Курбатов тогда подумал: «Неужели Маленков достоин занимать этот высокий пост? Это похоже на недоразумение».

Обрадовался он сообщению о том, что Первым секретарем Центрального Комитета партии избран Н. С. Хрущев. Курбатов не знал и никогда лично не видал Хрущева, но много слышал о нем хорошего от украинских и московских партийных работников. Украинцы с гордостью подчеркивали, что Никита Хрущев — их земляк, донецкий шахтер, а москвичи связывали это имя с генеральным планом развития Москвы, с начавшимся в столице грандиозным строительством. Слышал Курбатов и о военной деятельности Н. С. Хрущева в годы Великой Отечественной войны...

В один из весенних дней 1953 года зазвонил телефон, стоявший у кровати на тумбочке; Курбатов снял трубку.

Взволнованный голос из горкома сообщил, что только что получено решение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС о том, что Курбатов восстановлен в рядах партии. Секретарь горкома взял это решение и ознакомит с ним Якова Васильевича.

Буйная радость овладела сердцем, словно в нем зазвонили во все колокола. Взволнованным, прерывающимся голосом он закричал:

— Таня! Таня!.. Скорее иди сюда! Новость!

На крик, испуганная, прибежала из кухни Таня:

— Что с тобой, родной? Тебе опять плохо?..

— Нет, мне хорошо... — смеялся Курбатов. — Мне хорошо, мне очень хорошо. Теперь я здоров. Жизнь начинается снова!

Таня удивленно смотрела на мужа, ничего не понимая. А Курбатов, встав с постели, на костылях подошел к жене и обнял ее.

— Яша, что случилось? Да расскажи толком!

— Восстановили меня, Татьяна, восстановили! Сейчас секретарь горкома придет!

Таня, словно в изнеможении, села на стул.

— Вот видишь, Таня. Я говорил тебе, что верю в свою партию, в справедливость...

— Да, дорогой, ты говорил...

Таня была не в силах сказать что-нибудь еще, всхлинула и уткнула лицо в ладони.

* * *

— Яша, к тебе, — крикнула в дверь Таня.

В комнату вошел пожилой мужчина с пышной бородой, в которой уже сильно пробивалась проседь.

Человек проговорил хриплым баском:

— Губкомол, Яшка, помнишь? Помнишь, как ты со мной воевал?..

Только тут Курбатов узнал неожиданного гостя и крикнул:

— Галкин, Ваня?

— Да, я...

— Да как же это... Таня! Таня! — засуетился Курбатов.

— Не надо, Яшка, я на минутку, по пути к тебе заехал. На бюро обкома еду, восстанавливать меня будут...

— Ну, тогда садись... Рассказывай.

— Спасибо.

Галкин придвинул к себе стул и сел.

— Значит, и ты... — сказал и осекся Курбатов.

— Да, и я... тоже, — с неохотой и горечью обронил Галкин.

— Как это случилось?

— Сам не знаю как... Был я секретарем Няндомского окрисполкома... Пришли в кабинет, увели, дали

десять лет. Сидел. В лагерях работал, в ссылке был, а сейчас реабилитировали под чистую. Вот и всё...

— Да как же?.. — не унимался Курбатов.

— Как? Но ты ведь не меньше меня знаешь... Много за эти годы я передумал. Глупые тогда, дурачки были. Не по той дороге пошли...

Галкин болезненно скривил рот, словно его укололи, и погладил пышную бороду.

— Не понимаю, о чем это ты?..

— Не понимаешь? Ведь и ты тоже пострадал. Может быть мы, троцкисты, правы?..

— Троцкисты, говоришь? Да ты что это, с ума сошел? Ты понимаешь, что сказал?

— Понимаю... Ну и что с того... Пришло время переоценить ценности...

— Ах, вот зачем ты пришел... «Переоценить ценности». Да ты их давно переоценил... — Курбатов вскочил со стула и на костылях заходил по комнате. — В партии хочешь восстановиться, а зачем тебе наша ленинская партия, когда ты ее давно променял на сочувствие к тебе троцкистов и зиновьевцев. Ко мне... к старому комсомольцу зашел, думал — тоже «обиженный», так сразу и клюну на твою гнилую приманку? Нет, Галкин, ошибся дверью... Я свою партию, свою партийность на чечевичную похлебку не променяю. Я не иуда искариотский, не подлец, свои идеалы не меняю, как во время насморка носовые платки. Ты ничего не понял, какая страна у нас стала. А ведь это народом при Сталине всё сделано. Да, да... А с тобой мне не по пути, дороги у нас разные. С твоими взглядами, Галкин, тебе по пути с нашими врагами. Там тебя встретят...

— Но-но... — Галкин тоже встал со стула и аккуратно поставил его на прежнее место. — Ты брось на мне свой принцип показывать. Я же уверен, что в душе ты...

— Что-о! Уверен, говоришь? — Курбатов пристально взглянул на пришельца. — Так пошел ты вон, гад!

— Не пугай, мы не из пугливых, не то видели...

— Ишь ты, в партию восстанавливаться поехал. Чемодан с двойным дном — вот кто ты. Тебя к партии на пушечный выстрел подпускать нельзя.

— Собака лает, ветер носит... — ядовито сказал Гал-

кин. — Скачи вот на своих костылях дома, вот и весь твой удел теперь. А пугать не пугай, мы всего насмотрелись и испытали...

— Знаем мы, чего вы насмотрелись... И убирайся ты сейчас, и чтоб больше не видел я тебя!

В дверях появилась испуганная Таня. Лицо ее было бледно, губы сжаты — она всё слышала. Войдя в комнату, она торопливо стала что-то прибирать на столе.

Галкин покосился на женщину и провел рукой по бороде.

— Ну, что ж, Курбатов... Видно, не судьба. Раз гонишь — уйду. Смотри, не пожалей...

— Не пожалею. И больше не приходи. Не хочу тебя видеть.

Когда Галкин ушел, Таня, всё еще смущенная, подбежала к мужу и молча обняла его.

49

После ужина Таня села поближе к лампе и принялась штопать белье. В тишине раздался резкий телефонный звонок. Читавший книгу Курбатов вздрогнул, Таня сняла трубку и стала слушать.

— Это вы, Валерия Павловна?.. Когда? Завтра, говорите?.. Во сколько отходит поезд?.. Я приду вас провожать. Да, да, обязательно... Что? Да нет, не выходит еще... Хотите, дам ему трубку?.. Не нужно?.. Как хотите. Завтра я буду на станции за полчаса до отхода поезда... До свидания. — Таня повесила трубку и посмотрела на мужа: — Ты слышал? Завтра Валерия уезжает. Приехал, наконец, заместитель. Она передает тебе прощальный привет.

Курбатов, встретившись взглядом с женой, отвернулся.

— Что с тобой, Яша?

— Ничего... Грустно, все уезжают, — тихо ответил Курбатов.

Таня подошла к постели, и Курбатов, легко обхватив жену за талию, привлек ее к себе:

— Но ты остаешься со мной...

Таня погладила голову мужа и с тревогой в голосе проговорила:

— Успокойся, милый... Мы к ним в отпуск, в гости поедem... **Друзья** и на расстоянии остаются друзьями.

— Не обращай на меня внимания, — угрюмо произнес Курбатов.

Утром Таня предупредила мужа, что сразу после работы пойдет на станцию провожать Чайку:

— Обедайте без меня, приду позднее... Оля тебя накормит. Я ей сказала...

После ухода жены Курбатов, вынимая из ящика газеты, обнаружил в нем письмо, адресованное на имя секретаря горкома Курбатова. «Кто же это так отстал от жизни? Был секретарь и весь вышел...», — подумал Курбатов. Почерк показался знакомым, но определить, от кого это письмо, он не смог. Курбатов вскрыл конверт, вынул письмо и прежде всего посмотрел на подпись. Письмо было от Чайки.

«Уже, в день отъезда! И почему такой адрес? Странно». — Курбатов стал читать:

«Дорогой Яков Васильевич!

Извините, что я не зашла к Вам проститься. Но это письмо Вам всё объяснит... Вы поймете, что написать мне его было нелегко.

Я буду писать Вам о том, чего Вы не можете предположить. А у меня просто уже не хватает больше сил, чтобы не поделиться с Вами и не сказать Вам, что моя семейная жизнь сложилась не так, как я хотела. Я знаю, что шутить с человеческими чувствами это всё равно, что играть с огнем. Но Вы простите меня, Яша, я уверена, что такой человек, как Вы, сумеет сохранить мою тайну.

Вы знаете, что душа у меня трудно открывается, но сейчас я хочу сказать всё. Знаю, что больше мы не будем вместе, что наши дороги разошлись окончательно. Мне тридцать восемь. Да, Яша, надвигается осень моей жизни. Но от судьбы не уйдешь. Чего юность не успела, то уже утрачено.

Я начну с первой нашей встречи на фабрике. Вы показались мне каким-то особенным. Встречаясь с Вами на работе, я узнала Вас и полюбила... Тогда я была одинока и всю себя отдавала воспитанию сына. Но почему-то я верила в то, что всё будет хорошо. Я знала,

что Вы женаты, и я не хотела строить свое счастье на несчастье других. Мне нелегко тогда было, но я, собрав все силы, оттолкнула Вас...

Помню, когда Вы ушли от меня, я потеряла контроль над собой. Побежала Вас догонять. И, если бы догнала, то наверное совершила бы большую глупость. Но по лестнице навстречу мне поднимался Сереженька, и он меня увел домой... Конечно, я могла бы попытаться поступить так, как поступают многие одинокие женщины: тайком от всех красть Вашу любовь. Но мне это было противно, — за всю свою жизнь я ни разу не села на приставном стуле.

Я старалась заглушить возникшее к Вам чувство, хотела искренне полюбить Валю. Мы поженились. Я не жалею о сделанном. Но, как видите, изменить самой себе тоже не в состоянии. Люблю я только Вас.

Простите меня за эти поздние признания.

Желаю Вам счастья и здоровья, любимый! Как я рада, что вы снова вступаете в строй!

Ваша Л.»

Р. С. Не портите настроение Тане, сожгите это письмо.

Л.»

Прочитав письмо, Курбатов с трудом подавил охватившее его волнение. Он долго сидел неподвижно, перебирая в руках небольшие, исписанные тонким почерком, листки письма, вспоминая прошлое. «Всё же хорошо, что в жизни мне встретилась Чайка... Прощай, Валерия! Да, жизнь наша... дела наши человеческие, нелегкие дела...», — думал Курбатов. Он скомкал тонкие листки, подошел к печке, положил в нее письмо, поднес к нему спичку... Вспыхнуло пламя... Курбатов тронул пепел концом костыля, и он рассыпался, смешался со старой золой.

Курбатов был потрясен известием, что Центральный Комитет партии разоблачил преступную, гнусную деятельность политического авантюриста и бандита Берии и его подручных. Затем, ухватившись за эту «ниточку», партия дала истинную оценку и «ленинградскому делу».

С ленинской принципиальностью и смелостью вскрыв сущность «ленинградского дела», партия оповестила об этом народ и приняла меры к установлению нарушенной в стране революционной законности.

Начали пересматривать дела не только ближайших лет, но и восемнадцати — девятнадцатилетней давности.

Люди, убеленные сединами, но сохранившие верность партии и активный интерес к жизни, стали возвращаться из мест изоляции в родные города и районы.

Думая об обстановке, которая сложилась в Центральном Комитете, Курбатов восхищался смелостью и мужеством тех, кто в решающий момент прочно встал на ленинские позиции, на путь коллегиальности и демократизации всех органов в стране...

В обкоме произошли разительные перемены: ЦК отозвал Баранова, Кленова и Старикова. Был смещен с должности и Гарево. В органы государственной безопасности партия влила свежие силы — проверенные кадры.

На пленуме областного комитета первым секретарем был избран полностью реабилитированный и восстановленный во всех правах Родин; вторым секретарем, на место не возвратившегося Колчина, избрали Курбатова.

После пленума Курбатов хотел было выехать в Новогорск, но задержался, так как на следующий день было назначено собрание партийного актива, на котором предполагал выступить Н. С. Хрущев.

Не успев поговорить с Родиным в день пленума, Курбатов встретился с ним перед самым активом.

Беседовали они в кабинете вдвоем. Родин внешне сильно изменился. Волосы его совсем поседели. На лице появились старческие морщины, даже цвет лица поблек и стал землистым. Глаза тоже хранили след пережитого, но в них то и дело вспыхивал и не угасал прежний задорный огонек.

«Совсем как у Данилова», — подумал Курбатов.

Он с горечью смотрел на Родину, а в горле у него застрял комок и мешал говорить. Секретарь обкома был немногословен:

— Вот и снова встретились, дружище... А я за это

время в Воркуте успел побывать, обушком уголек добывал... Конечно, хватил там шилом патоки, но, как видишь, выстоял...

— Ну, а Колчин?.. Что с Колчиным, не знаете? — не утерпев, спросил Курбатов.

— Знаю. Вместе там были... Но Колчин не возвратился.

— Погиб, значит?..

— Погиб... и глупо, нелепо погиб... Не будем, товарищ Курбатов, больше возвращаться к этому вопросу. Потерянного не вернешь... Лучше поговорим о тебе. Как ты себя чувствуешь? Не минозала и тебя чаша сия...

— Да, чуть на тот свет не отправился. Лежал долго, ну, а теперь чувствую себя хорошо.

— А как семья? Когда ее думаешь перевозить? У тебя, говорят, дочь невеста?..

— Да, Оленька недавно школу окончила... Сейчас поступила работать на комбинат. Она помечтает у меня любит...

— Помечтает, говоришь? — В глазах Ролина вспыхнул веселый огонек. — О чем же она мечтает?

Курбатов ответил не сразу:

— Трудно понять... Нынешняя молодежь ведь не то, что были мы. Как-то сложнее всё у них получается... Вы знаете, что она мне заявила перед самым моим отъездом сюда? «Я в область не поеду, останусь в Новогорске...»

Ролин сделал большие глаза и заулыбался:

— Это почему же так? Неуважение родителей? Любовь? Желание пожить самостоятельно?.. Тут что-то есть... Ну и плтенец!..

— Не знаю, что вам и ответить... Не успел докопаться... Вот приеду домой, учиню расследование...

Ролин весело рассмеялся:

— Вот-вот... обязательно узнай, а потом и мне скажи... Очень это интересно...

Секретарь обкома взглянул на часы и встревожился:

— Надо собираться. До актива остался час. Там встретимся...

Собравшиеся на партийный актив, волнуясь, группами обсуждали последние события в партии, высказывали свои предположения, о чем будет говорить товарищ Хрущев. Но вот зал внезапно стих, воцарилась такая тишина, что стало слышно дыхание сотен людей.

В сопровождении Родина в президиуме появился небольшого роста полный пожилой человек с простым лицом рабочего.

Курбатов знал, что накануне работники обкома встречали Хрущева. Встреча была теплой и дружеской. Для всех было удивительно, что прямо с вокзала товарищ Хрущев поехал на паровозостроительный завод. Там он обошел цехи и подолгу беседовал с рабочими. А после посещения завода Никита Сергеевич выехал в пригородные совхозы и колхозы...

Когда Родин объявил, что слово предоставляется Первому секретарю Центрального Комитета партии Никите Сергеевичу Хрущеву, раздались горячие аплодисменты.

Речь Хрущева была спокойна и проста. Курбатов и сидевшие в зале сразу обратили внимание, что оратор говорил очень своеобразно. В его речи не было высокопарных и громких фраз, подкупающе простые слова елились свободно и непринужденно.

С трибуны партийного актива товарищ Хрущев говорил, что Центральный Комитет большое внимание уделял и уделяет укреплению социалистической законности. Опыт показал, что малейшее ослабление социалистической законности враги Советского государства пытаются использовать для своей подлой подрывной деятельности. Так действовала разоблаченная партией банда Берии, которая пыталась вывести органы государственной безопасности из-под контроля партии и советской власти и поставить их над партией и правительством, создать в этих органах обстановку беззакония и произвола. Во враждебных целях эта шайка фабриковала обвинительные материалы на честных руководящих работников и рядовых советских граждан.

Центральный Комитет проверил так называемое «ленинградское дело», говорил товарищ Хрущев, и установил, что оно было сфабриковано Берией и его подруч-

ными для того, чтобы ослабить Ленинградскую организацию, опорочить ее кадры. То же самое агенты Берии пытались сделать и в других областях, и, в частности, в области, где сейчас проходит этот актив.

Установив несостоятельность «ленинградского дела», Центральный Комитет партии проверил ряд других сомнительных дел и принял меры к тому, чтобы восстановить справедливость и реабилитировать невинно осужденных людей...

Дружные и долго не смолкающие аплодисменты были ответом на слова секретаря ЦК. Все переживали какое-то особое чувство, — каждый будто сбросил с плеч давивший тяжкий груз, расправил грудь, задышал глубже и свободнее. Люди улыбались, тихо перебрасывались словами, взглядами... Курбатову захотелось движения, шумной жизни. Вот сейчас бы попасть на комсомольскую свадьбу или в компанию молодежи! Он бы там дал выход этой рвущейся из души радости, энергии!

Очнулся он, когда на трибуну поднялся секретарь обкома Родин.

Коммунисты встретили нового секретаря аплодисментами. Родин тряхнул седыми волосами и замахал в воздухе рукой: хватит!

— Областная партийная организация, — говорил он, — выражает Центральному Комитету партии глубокую благодарность за разоблачение Берии и его сообщников. Центральный Комитет восстановил справедливость! У коммунистов укрепилось чувство уверенности, повысилась активность и боеспособность, да и просто свободнее стало дышать...

«Правильно, правильно, что и говорить, святая правда...», — думал Курбатов, вспоминая свои мысли, сомнения, тревоги, а также мысли честных старых коммунистов Булгакова и Алешина, перебирая в памяти всё, что пришлось пережить.

И невольно в его памяти пронеслись те дни, когда на восемнадцатом съезде партии говорили о карьерах, проникших в партию, о замаскированных врагах внутри партии, которые путем широкого применения репрессий пытались перебить честных членов партии и посеять подозрительность в партийных рядах. Он еще тогда крепко запомнил эти слова. И вдруг его мозг, как

иглой, пронзила мысль о смерти Данилова... «Да, да и смерть Данилова на совести этих бандитов! Можно ли еще в этом сомневаться? Такого человека убили! Трохова они купили. Подлые люди!.. Второй раз подводят партию органы госбезопасности. Второй, но... и последний! Партия восстанавливает ленинские порядки, слава ей!..»

Курбатов вынул из кармана блокнот и стал его перелистывать, готовясь к предстоящему выступлению.

52

Сразу же после актива Курбатов поехал в Новгород, чтобы решить вопрос о переезде семьи.

Оля наотрез отказалась уезжать в областной город. Таня сначала резко протестовала против решения дочери, но Курбатов, не соглашаясь с женой, мягко заявил:

— Ничего, Танюшка... Оля, пожалуй, права... Крылья у нее уже выросли. Пускай привыкает к самостоятельности, поживет без опеки, без папы и мамы. Это ей только на пользу пойдет.

— Не в этом дело, папа... Мне просто жаль расставаться с бригадой, со своими подругами. Хорошо мне на комбинате. Ну, и ты немного прав. Хочу проверить себя: насколько я умею устраивать свою жизнь. А ведь это нам, девочкам, особенно необходимо.

— Может, кроме этого есть еще причина? — пристально глядя на дочь, спросила Таня.

Оля вспыхнула, смутилась и, хрустя пальцами, ответила:

— Да, мама... то есть нет...

Быстро оправившись от смущения, прямо глядя на отца и мать, Оля сказала:

— Да, есть еще одна причина. Но я о ней раньше почти не думала... Мне кажется, я полюбила одного парня. Он на нашем комбинате работает электромонтером. Сережа Крюк — это такая у него странная фамилия. Мне кажется, он очень хороший... — Оля замялась и, как бы подбирая слова, продолжала медленно говорить: — Только, понимаете, он немного не такой, как все. Наши девочки его мечтателем зовут. У него

нет другой темы для разговора, как только о космических полетах, о Марсе и Венере. Он так знает эти планеты, будто побывал там.

— Значит, еще один мечтатель, — не то с грустью, не то с иронией проговорила мать. — Смотри, как бы снова не обожглась...

Курбатов улыбнулся, невольно вспомнив разговор с Родиным, и, обняв дочь за плечи, твердо сказал:

— Оля права... Пускай поживет одна, а нам, Таня, надо завтра ехать. В обкоме я сказал, что еду в Новогорск всего на один день. Опять у меня много работы, Танюша!

Таня, махнув рукой, захлопотала около чемоданов, а Оля, бросив благодарный взгляд на отца, стала ей помогать.

53

В скором поезде Новогорск — Москва ехали делегаты на Двадцатый съезд партии. В одном из купе мягкого вагона устроились вместе Родин, Курбатов и Мелентьев.

Первую половину пути они проехали не скучая, даже весело. Родин вытащил из кармана мешочек с домино и предложил сыграть, чтобы «проветрить мозги».

— Нет худа без добра, в Воркуте научился. Считался мастером первой категории, не шутите!

Потом Мелентьев потешал всех бесхитростными анекдотами, из которых многие были «с бородой».

Видя, что анекдоты не очень веселят публику, Иван Иванович стал вытаскивать из чемодана свои обильные припасы. Разворачивая сверток за свертком, раскладывая на столике вкусно пахнущие изделия домашней кухни, он спросил:

— А вы знаете, сколько может съесть русский человек?.. — Выждав, Мелентьев сказал: — Значит, не знаете?..

— Знаем, дорогой, очень хорошо знаем... Раз сто, вероятно, слышали, — мягко, стараясь не обидеть старика, проворчал секретарь обкома.

Мелентьев не обиделся:

— Ну ладно, коли знаете, так показывайте на деле.

Давай, Яков Васильевич, не робей. Не отвык еще от нашей новогорской курятины?

Но, прежде чем взяться за мелентьевских кур, Курбатов и Родин, не желая остаться в долгу, извлекли из чемоданов и свои припасы, разложив их по всему купе.

Поев и попив чайку, принялись за чтение.

В это время поезд подошел к небольшой станции, и Курбатов, опираясь на палку, спустился с подножки вагона.

Он хорошо знал эту станцию, находившуюся примерно на полпути к Москве, не раз сходил здесь подышать свежим воздухом, когда ездил в командировки.

Многие делегаты вышли из вагона и сейчас стояли на перроне, шурились от яркого зимнего солнца, перешучивались, переговаривались; кто-то слепил снежок и со смехом бросил его в стоявшего неподалеку соседа по вагону.

Была оттепель. В свежем морозном воздухе звенели капли, падавшие с крыш на перрон. И хотя люди говорили кругом, смеялись, хотя где-то далеко в поселке слышалось радио, на станции стояла тишина, и голоса людей, и звуки радио только подчеркивали эту тишину.

Внезапно до Курбатова донеслась песня. Пел подросток. Почему-то удивительно чистым и звонким показался ему неокрепший голос. Дойдя до края перрона, он увидел мальчишку лет двенадцати, в больших подшитых валенках и шапке с задранными вверх и незавязанными ушами. Он стоял и размахивал школьной сумкой. Курбатову захотелось поговорить с мальчишкой, и он спросил:

— Ты откуда, мальчуган?

Мальчик шмыгнул носом, тряхнул незавязанными ушами и ответил:

— С колхоза «Рассвет».

— Ты что поешь? Значит, весело живется?

— Ага, весело...

— Поедем со мной в Москву. Хочешь?

— Хочу, но мне нельзя. Мать ругать будет.

— А почему?

— А потому, у нас и так старший брат в город сбежал. Мать одна надрыдается...

Раздался свисток паровоза, и Курбатов заспешил к вагону. Мальчуган молча смотрел ему вслед.

В вагоне Курбатов сел у окна и погрузился в свои раздумья.

Поезд набирал скорость. Всё быстрее мелькали за окном деревья, домики, селения. Солнце слепило глаза.

— Ты что задумался, Яков Васильевич? — спросил Родин, заметив перемену в настроении Курбатова.

Курбатов рассказал о разговоре с мальчиком.

— Всё еще «бегут»... И сейчас, хотя меньше, а всё-таки бегут... — сказал он с грустью. — Вот и думаю я, ведь на съезд едем...

— Да... — сказал Родин, — все мы думать должны, как получше жизнь устроить... Для того и в Москву едем.

— Ты знаешь, — Курбатов придвинулся поближе к секретарю обкома, — я не раз ездил в Москву на важные совещания, но такого чувства, как сейчас, у меня не было. Как на праздник еду...

— На праздник? Мало. Не то слово. Двадцатый съезд не только подведет итог победам, он скажет суровую правду об ошибках прошлого, он укажет новые пути. Поверь мне, пройдут многие годы, а люди с благодарностью будут вспоминать этот съезд.

— Я хотел бы услышать на съезде всю правду о Бери. Как могло случиться, что этот бандит пробрался к власти?.. А до него губил людей Ежов...

— А я жду еще большего: почему у нас в стране попиралась законность, нарушалась демократия, процветали подхалимство и лицемерие? Съезд не может пройти мимо этих вопросов.

— А кто виноват в том, что не соблюдался устав партии?

— И почему мы плохо подготовились к войне?

Родин махнул рукой и передернул плечами, как будто его знобило:

— Вот видишь, сколько вопросов накопилось. Страна ждет ответа. И партия должна его дать. Тут мало праздновать, тут работать надо!..

Курбатов смотрел в окно. Чем ближе они подъезжали к Москве, тем больше и неотступнее думал он о предстоящем съезде. В последнее время его всё чаще мучила одна мысль... В газетах стали осуждать культ личности

Сталина. Но почему же Сталин допустил обожествление собственной персоны? Почему? Ленин при жизни пресекал малейшие попытки восхваления своих заслуг!

Курбатов вспомнил слова Булгакова, который был делегатом Тринадцатого съезда партии, его рассказ о письме больного Ленина делегатам съезда. Тогда Курбатов не обратил внимания на этот рассказ. И вот теперь, перед Двадцатым съездом партии, вспомнил это письмо Ильича, в котором он предостерегал против оставления Сталина на посту Генерального секретаря партии.

Лежа на верхней полке, Курбатов стал вспоминать прошлое. Он вспомнил свою юность и все события, связанные с ней, вспомнил свои беседы с Даниловым и ужасную, загадочную смерть этого замечательного большевика...

«Ничего, — подумал Курбатов. — Придет время и партия во всем разберется, всё узнает. А сейчас уже потерянного не вернешь... Вот и я стал другим, отвоевался, ногу потерял, но это ничего, что я инвалид...»

Вдруг Курбатова охватило непреодолимое желание поделиться с кем-нибудь своими мыслями и сомнениями. Родин задремал на верхней полке, а Мелентьев, недавно пришедший из соседнего купе, читал книгу. Курбатов наклонился к Мелентьеву:

— Как ты считаешь, дядя Ваня, знал Сталин о необоснованных репрессиях и обо всем, что делалось в стране?

Мелентьев не выразил удивления; подумав, он ответил:

— Сказать по совести?.. Знал. Да как же он мог не знать-то? Ленинград не Новогорск. Вот о сельском хозяйстве и о других нуждах народа Сталин мог и не знать. Он давно из Кремля никуда не выезжал, оторвался от народа. Конечно, это я так думаю. Но сам я хоть и с усам, а не могу знать, что съезд скажет... — шутливо заключил Мелентьев.

«Значит, не я один так думаю...», — с облегчением вздохнул Курбатов и как-то всем нутром понял, что для советского народа наступает новый этап жизни.

«Ничего, что я инвалид, — думал он. — Я остаюсь в строю рядовым могучей и непобедимой армии, имя которой — ленинская партия. Да, таких как я — много.

И мы будем жить наперекор всему; пускай нас в детстве измучила нищета, пускай в нас стреляло кулачье, пускай мы гибли от немецких снарядов, а потом нас пытались погубить карьеристы и авантюристы — ставленники Берии. Но мы живем как представители своего могучего поколения, живем для того, чтобы пришли в жизнь и начали ее улучшать другие поколения, более счастливые и здоровые...»

Вагон закачало на стрелках. Поезд подходил к Москве.

ЭПИЛОГ

Прошло много насыщенных событиями лет.

В один из декабрьских дней 1961 года на станции Новогорск с поезда, прибывшего из Москвы, сошел пожилой человек. Пройдя несколько шагов по платформе, он поставил на землю небольшой чемодан, снял шляпу и, проведя рукой по седым волосам, глубоко вдохнул свежий, по-осеннему влажный воздух. Пахло легким фабричным дымком и опавшими прелыми листьями...

Сидевшая недалеко на скамейке молодая женщина, увидев человека, быстро поднялась и бросилась к нему:

— Папа!

— Оленька!

Курбатов крепко обнял дочь. Оля, покрасневшись от радости, неотрывно смотрела на отца.

— Наконец-то приехал! Долгонько ведь мы не виделись... А ты за это время совсем поседел... Ну, пойдем скорее, нас машина ждет. Маму я встретила вчера, а Сережа задержался на работе, но он, верно, уже дома... Давай мне чемодан!

— Подожди немного, доченька... Постоим минутку и пойдем. Дай на вокзал посмотреть, а то обидится. Ведь он меня сколько раз тут встречал, когда тебя еще не было... Вот и колокол старый висит... А этаж надстроили уже без меня...

Курбатов внимательно оглядывал всё вокруг, как будто видел впервые.

«Годы, годы... — думал он. — Один раз живет на земле человек, и если не было в этой жизни кривых дорог, если прошли эти годы так, что с тобой другим лю-

ням жилось легче, то есть этому человеку что вспомнить...»

— А вот тот новый дом, вправо за вокзалом, его вроде не было...

— Это новый Дом культуры. Красивый внутри, вот посмотришь... Ну, пойдем, папочка, нас ведь ждут...

— Пойдем, Оленька.

Оля с мужем жили недалеко от завода, в небольшом старом доме, в коммунальной квартире. Таня и Сергей встретили Курбатова на улице, у подъезда дома. Сергей, крепко расцеловавшись с тестем, сразу же взял у него чемодан. В маленькой комнате был накрыт стол, тихо шипел блестящий, слегка помятый самовар. Курбатов развел руками:

— Ого! Вы, я вижу, тут дорогое время не теряли... А самовар-то блестит, что солнце.

— Это наш фамильный, еще мама моя его ставила... — объяснил Сергей, поправляя очки. — Но у нас и чайник электрический есть, — добавил он, прищурившись: — не в провинцию приехали.

Все засмеялись.

Таня помогала мужу раздеться. Когда уселись за стол, Курбатов внимательно оглядел комнату:

— Тесновато у вас, ребята... А книг-то, книг!

— Да, тесно. Но нам с Сережей обещали дать квартиру в новом доме, он уже строится... Ведь у нас... у нас прибавление будет, папа. — Оля немного смутилась и, словно ожидая помощи, посмотрела на мать.

Таня тихо рассмеялась. Курбатов даже привстал со стула:

— Прибавление? Вот это замечательно! Что же вы, черти, молчали?.. Это отметить надо. Ну-ка, Сергей, достань скорей из чемодана бутылку... Я привез из Москвы, такого вина вы здесь не найдете!

Сергей извлек из чемодана большую, удлиненной формы бутылку и, разглядывая ее, причмокнул губами.

— Давай, давай, Сергей! Скорее рюмки... Да есть ли они у вас?.. А то, пожалуй, все деньги на книги тратите, черти!

— Рюмки есть, Яков Васильевич, что вы! — Сергей откуда-то извлек четыре рюмки и торжественно поставил на стол. Курбатов налил и поднял свою рюмку:

— Ну, за будущую внучку.

Таня сделала строгое лицо:

— За внука.

Курбатов опешил:

— Значит, семейное разногласие... Давненько у нас с тобой этого не было, Танюшка. Ну, пусть решает виновница торжества. Оля, твое слово...

— Нет, пусть решает муж...

Сергей смешно откашлялся и проговорил:

— За внука, за будущего космонавта!

Курбатов стукнул кулаком о стол:

— Пусть будет по-вашему. А то ведь некому будет лететь на Луну...

Все дружно выпили.

Наливая рюмки, Сергей сказал Курбатову:

— Завидую я вам, Яков Васильевич. Вы видели Юрия Гагарина и Германа Титова. Может, даже рядом сидели, познакомились...

Разглядывая молодое, мальчишески задорное лицо своего зятя, его поблескивающие за стеклами очков глаза, Курбатов ответил:

— Да, я их видел, хотя не познакомился... Славные, хорошие люди, герои; радостно на них смотреть, но не на них только я на съезде смотрел. Там были лучшие люди мира... Этого не забудешь никогда. — Курбатов замолчал и задумался.

— Да... Двадцать второй съезд партии... Этот съезд — особенный. Здесь всё нам стало ясно: и прошлое и будущее. Народ теперь знает и то, что пришлось пережить, и то, как надо строить свою жизнь. Шутка ли сказать — строим коммунизм! Недавно некоторые про «оттепель» писали. Ошиблись они. Да, ошиблись, не «оттепель» наступила в нашей стране, а весна. Вся страна сейчас, что сад цветущий. Только обыватель, закоренелый мещанин не видит этого... Это почувствовать надо! Нам-то, людям старшего поколения, современникам Ильича, дожить до такого времени — счастье... Понимаете вы это, молодежь?

Оля обняла за шею отца и поцеловала в щеку:

— Понимаем, дорогой, всё понимаем... Правда, есть еще и такие, что...

Сергей помог жене:

— Плохо понимают и даже не хотят понимать... но их мало.

В коридоре дважды зазвонил звонок.

— Это к нам, — сказал Сергей и пошел открывать. Оказалось, какой-то мужчина спрашивал Курбатова.

— Пригласить его? — спросил Сережа.

Курбатов подумал, спросил:

— А не усатый такой старикан?

— Нет, он без усов.

— Ну, пригласи... не знаю, кто это.

В комнату вошел старый, хорошо одетый человек, держа в руке кепку. Улыбнувшись, он спросил Курбатова:

— Не узнаешь, Яков?

Курбатов взглянул в лицо вошедшего:

— Постой, постой, да это же Мелентьев! Что же ты сделал над собой? Куда усы девал?

— Сбрил, Яков Васильевич; давно собирался, и вот, на старости лет... омолодился.

Таня взяла из рук Мелентьева кепку и пригласила его сесть за стол.

— Да садись ты, безусый энтузиаст, — поддержал жену Курбатов, — чего мнешься? Расскажи о Новогорске, давно я у вас не был. А как ты узнал, что я приехал?

Мелентьев сел и хитро прищурился:

— Слухами земля полнится. Новогорские старожилы всё узнают, а я к тебе с делом пришел.

— Вот, выпей сперва рюмку вина, а потом о деле скажешь.

Мелентьев аккуратно выпил, взял с тарелки бутерброд, поблагодарил и сказал:

— Рабочие меня послали... Ведь я на пенсии был, но не выдержал и пошел работать. Так вот, узнали рабочие, что ты приехал, и говорят: притащи его к нам, делегата, обязательно. Хотим знать, что на съезде было!.. Особенно интересуются насчет культа личности.

— Да, культ личности... культ личности... Раньше и слов-то таких не знали, а теперь не отделаться от них. Мало оказалось Двадцатого съезда, пришлось ставить точки над «и» на Двадцать втором... А помнишь, как мы с тобой на съезд ехали и ты говорил, что Сталин виноват? Как в воду глядел.

— Помню, Яков Васильевич. Тогда мы еще не всё знали. После съезда многое открылось. Вот и с Моло-

товым, Маленковым, Кагановичем и другими не знали. История ничего не прощает, а они отвечать не хотят перед народом. Но от народа не отвертись...

Оля, внимательно слушавшая разговор, вдруг спросила отца:

— Помнишь, папа, ты рассказывал мне историю Данилова... Выяснилось теперь, кто его убил?

Курбатов помрачнел и тихо сказал:

— Это страшное дело, доченька. До сих пор обстоятельства его не выяснены до конца. Не удалось мне ничего определенного узнать, но я еще узнаю... Мы всё узнаем.

Видя, что Мелентьев загрустил, Курбатов налил ему еще вина:

— Пей, дорогой... На завод я обязательно приду и о съезде расскажу. А теперь, может, прогуляемся по городу? Смотрите, солнышко появилось, распогодилось...

Предложение Курбатова понравилось, и все стали собираться на прогулку.

После долгих дней осенней слякоти погода действительно стала улучшаться.

Вечернее небо почти очистилось от туч, и в нем играли косые лучи заходящего солнца. Дул сильный, но теплый ветер.

Курбатов шел рядом с Мелентьевым и вдруг засмеялся:

— А помнишь, как мы с тобой шли по городу и я тебя агитировал на пост председателя? Много с тех пор воды утекло. И улицы Новогорска другими стали.

— Еще бы не помнить! Мне эти деревянные панели и мостовые немало крови испортили... А сейчас вспоминаешь будто дурной сон. За последний год знаешь сколько понастроила молодежь?.. А хорошая она у нас, молодежь, Яков Васильевич!

— Хорошая. И мы с тобой неплохие: что бы там ни говорили, а мы свое дело сделали... Посмотришь назад, в прошлое — и дух захватывает... Кипучие годы!.. Сколько трудов положено, сколько пережито, дорог пройдено!..

— Святая истина, Яков Васильевич! Детям, внукам нас упрекать не за что, мы сделали всё, что смогли...

Мелентьев стал рассказывать Курбатову о строи-

тельстве в городе. Рассказ его внезапно прервал выкрик Сергея:

— Смотрите! Смотрите! Венера! Вон над горизонтом...

Все посмотрели туда, куда указывала рука Сергея. Далеко, над самым горизонтом, мерцающим голубоватым светом горела большая звезда.

— Венера! — восторженно произнес Сергей. — Загадочная планета. Мы туда полетим. Вот увидите. Обязательно полетим!

Ленинград

1957—1964 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая *Далекая юность*

Часть первая	7
Часть вторая	149

Книга вторая *Испытание*

Часть первая	303
Часть вторая	434

Э п и л о г

Петр Григорьевич Куракин *„Кипучие годы“*

Редакторы *А. А. Девель и А. В. Амстердам*
Художник *В. А. Бендингер*
Художник-редактор *О. И. Маслаков*
Технический редактор *Т. А. Шермушенко*
Корректор *А. А. Милитаури*

Сдано в набор 10/III 1964 г. Подписано к печати 4/VII 1964 г.
Формат бумаги 84×108¹/₂. Физ. печ. л. 18,88. Усл. печ. л. 30,96
Уч.-изд. л. 32,93. Тираж 65 000 экз. М-31364. Заказ № 415.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Типография им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57
Цена 1 р. 14 коп.